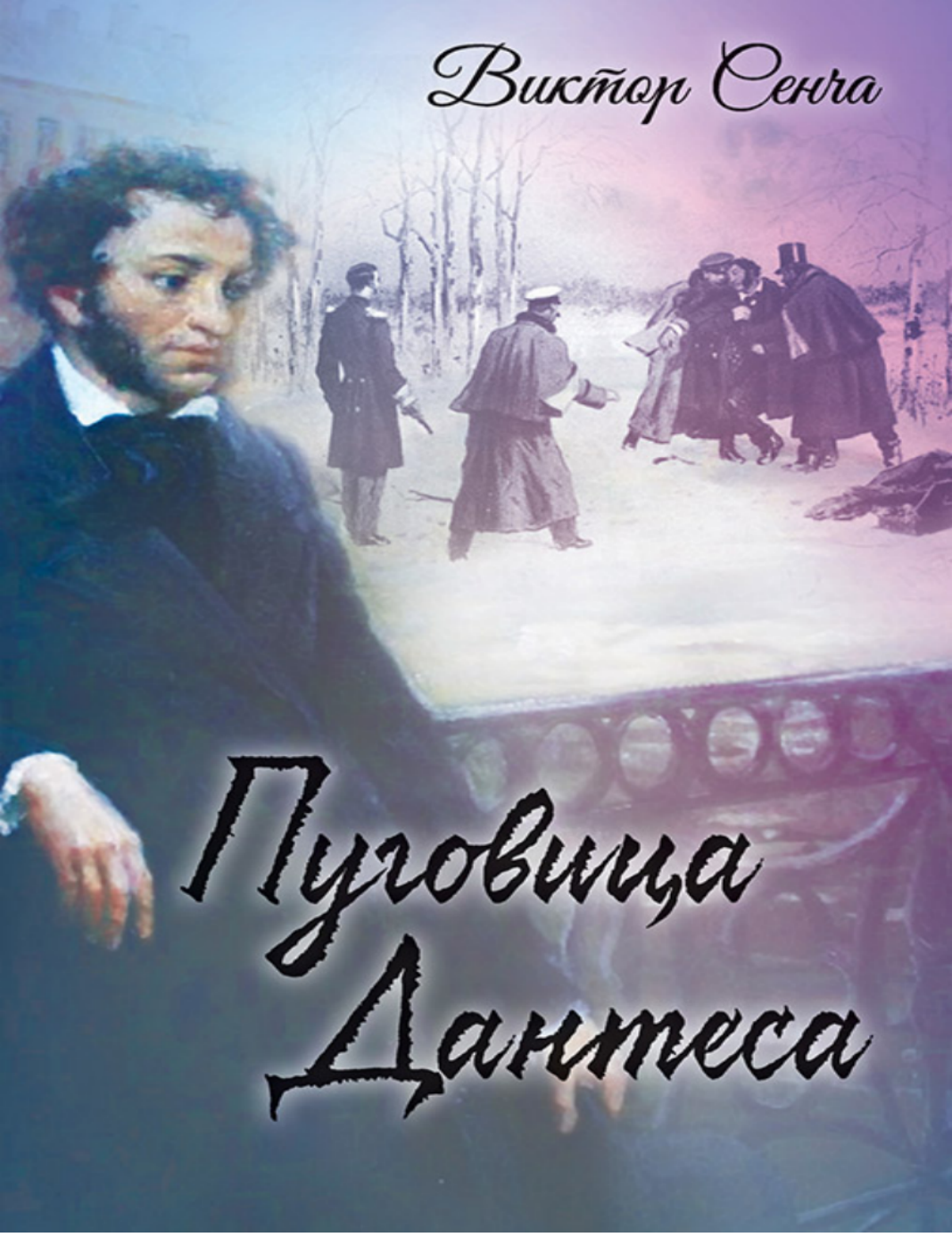
Виктор Сенча



Пуговица Дантеса

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Виктор Сенча – писатель, публицист; по образованию военный врач-эксперт и юрист. В своей книге «Пуговица Дантеса» исследует причины гибели великого русского поэта. И не только. Со смертью Пушкина его дуэль не закончится – она продолжится в рамках уголовного процесса военного суда, во время заседаний которого убийца будет выгораживать свою испачканную кровью честь. Долгое время так называемое «Подлинное военно-судное дело 1837 года» по факту дуэли Пушкина с Дантесом было засекречено. Что скрывалось за секретными печатями, читателю и предстоит узнать. Сама же пуговица убийцы Дантеса – как предмет – отнюдь не вымысел автора. Она встречается в воспоминаниях свидетелей, став со временем легендарным предметом-загадкой, вокруг которого сломаны тысячи исследовательских копий. И причиной этого стала её тайна, которую автору удалось раскрыть на страницах своей книги. Как и многие другие тайны, связанные с именем гения русской литературы А.С. Пушкина.

- Виктор Сенча
  - Вместо предисловия[1]
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Библиография
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56

- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65

Виктор Сенча
Пуговица Дантеса

Вместо предисловия [1]

Пора, мой друг, пора! покоя
сердце просит —
Летят за днями дни, и
каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с
тобой вдвоем
Предполагаем жить… И
глядь – как раз – умрем.
На свете счастья нет, но
есть покой и воля.
Давно завидная мечтается
мне доля —
Давно, усталый раб,
замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов
и чистых нег.

А. Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин… «Наше всё», как сказал однажды о поэте Аполлон Григорьев. Спорить с этим так же бессмысленно, как подвергать сомнению великодержавность России. Даже при написании первых строк абзаца для меня ограничиться одним лишь «Пушкин», признаюсь, выглядело бы неким «святотатством». И это вполне объяснимо. Во-первых, Александр Сергеевич был и остаётся не просто писателем: он — Поэт. Великий. Знаменитый. Любимый. А во-вторых, «наше всё» – это и есть Наше Всё. От Лукоморья, где дуб зелёный, до Онегина с Ленским, а также Пугачёвым.

Александр Пушкин для русского народа и отечественной литературы – нечто большее из всего того многого, оставленного нам предками (вспомним: *«Поэт в России больше, чем поэт»). Пушкин – это* Явление. Огромное и самобытное, почти неестественное, преобразовавшее не только нашу литературу, но и искусство в целом. И когда толкуют о гениальности Байрона, Гейне или, скажем, Уитмена, нам остаётся лишь пожимать плечами – единственное, что может себе позволить самодостаточный человек. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается скрытый феномен Пушкина: он сделал нас *самодостаточными.*

Считается, разделять чьё-либо творчество на раннее и позднее, пусть даже условно, не совсем этично. Творчество всегда едино. Другое дело, оно либо талантливо, либо – нет. Когда же речь заходит об исключительной одарённости, в таком случае имеет место только одно: с годами талант, подобно хорошему вину, лишь «загустевает», набирая необходимую зрелость. Начавшись с невинного стишка, творчество литератора порой способно дорасти до заоблачных высот. Если, конечно, успеет.

Как бы ни были гениальны произведения Пушкина-лирика и Пушкина-прозаика, к сожалению, можно лишь констатировать, что в свои тридцать шесть он сделал лишь самую малость из того, что мог бы. Он просто ничего не успел! И десятки пушкинских романов и сотни стихов так и остались ненаписанными… И в этом весь трагизм ранней смерти «гения русской литературы». Именно поэтому тайна гибели Поэта уже почти как два столетия не даёт нам покоя; каждый из нас никак не может смириться с тем, что «Онегина» с нами давно уже нет. Ведь этого, понимаем мы, не может быть – потому что не может быть никогда!

Когда же речь заходит о той страшной дуэли на Чёрной речке, нам с невероятной скрупулёзностью хочется разобраться, докопавшись до самой сути, в причинах давней трагедии. Как и почему Его не стало? – вот в чём вопрос. И напоследок (скорее, от отчаяния) не помешало бы указать пальцем – нет, даже не на непосредственного убийцу, – а на кого-то ещё. Например, на докторов, не сумевших спасти «солнце русской поэзии»; или, скажем, на Самодержца, хладнокровно наблюдавшего за травлей Пушкина, закончившейся трагедией.

О чём это я? Да всё о том же – о справедливости. Трудно смириться с непоправимым. Даже спустя почти два столетия. И, уверен, пройдёт ещё столько же (и десяток раз по столько!), а боль утраты от этого всё равно не утихнет. Подозреваю, она станет ещё острее и животрепещущей. Потому-то нас с такой силой тянет к истокам трагедии, разыгравшейся в январе 1837 года на окраине Петербурга. Впрочем, поединок Пушкина с Дантесом уже навсегда воспринимается исключительно в нарицательном значении: роковая дуэль…

* * *

…Всё произошло настолько внезапно, что никак не укладывалось в голове. Всего несколько секунд назад перед его глазами был виден ненавистный силуэт соперника. После сигнала

Данзаса они начали сближаться. Один шаг, второй…

Хотелось бежать, а не плестись. Чтоб одним выстрелом быстрее покончить с негодяем. Нет, сегодня не будет «благородных выпадов» в воздух или в близлежащие кусты, коими сопровождались его поединки с Кюхлей или задирой-генералом. То были игрушки, баловство, некое подражание *настоящей дуэли. Теперь другой расклад. Здесь, на Чёрной речке, всё по-настоящему. Либо он, либо – его. В любом случае, скоморошничать никто не собирается. И выстрелов в небо не будет! Сегодня все узнают, как он умеет стрелять. Хотя никто даже не догадывается, куда последует выстрел. Главное – успеть…*

О, эти муравьиные шажки! Они ни на йоту не приближают к подлому сплетнику. Выстрелить – и покончить со всем одним махом! А потом уехать в деревню вместе с Натали и детишками… Он и они. И никого больше. Одни! Тишина, уединение и свобода. Свобода! Что может быть лучше?! Прочь условности, этикет, ставшая навязчивой привычка оглядываться… Он будет спокойно писать – столько, сколько душе угодно. Лишь бы хватило времени. Время – вот что стало настоящим дефицитом. Будто рыба об лёд… Подмётные письма, тревожные переживания и думы… Эти думы буквально сводят с ума. Днём думы, а ночью – кошмары. Постепенно и сама жизнь превратилась в единый кошмар…

Ещё один шаг… Какой-то неловкий, и вновь муравьиный. Где-то рядом, сразу за мушкой длинноствольного кухенрейтора, чернеет контур врага. Промахнуться невозможно – на этот раз он просто не имеет на это права! Промах унизит ещё больше. Сегодня не ваш день, господин Дантес!..

Рядом на опушке воет собака; в стороне вдруг закаркал встревоженный ворон. Не каждый день в зимнюю стужу сюда наведываются люди. Не к добру. Старый ворон знает, чем заканчиваются подобные сходы…

Всё непременно закончится кровью, таковы условия дуэли. Иначе никак. Позор навета должен быть смыт кровью подлого клеветника! Виновник всех бед, он понесёт заслуженное наказание. Поэтому идти навстречу пистолету было не страшно. Хотелось одного – побыстрее выстрелить. Бежать и стрелять. Чтобы всё, наконец-то, закончилось, и все закрыли рты. Окропив снег, кровь врага смоет позор. Ну а теперь – не промахнуться…

Четвёртый шаг давался словно во сне… После пятого оказался у барьера – шинели Данзаса. Не сон ли это в самом деле? Пистолет от мастера Ульбриха – штука серьёзная, бьёт не щадя. Можно стрелять прямо с места. При точном попадании в грудь или голову шансов спастись никаких. Но в том-то и дело, что

издалека да при сильном волнении промахнуться проще простого. Поединок – игра нервов: можно победить и до выстрела… Очень важно показать противнику своё к нему пренебрежение. И только абсолютное спокойствие способно это продемонстрировать. Поэтому он будет хладнокровен, а стрелять начнёт, хорошо прицелившись. Ещё секунда – и всё закончится…

Противный треск спереди совпал с сильным ударом, отозвавшимся резкой болью в правом боку. Удар оказался такой силы, что в глазах закружилось, и всё полетело в тартарары. Когда он через несколько секунд приоткрыл веки, перед ним блестел иссиня-белый снег. Такой холодный и торжественный. Как саван… Под грудью лежала шинель секунданта, холодная и какая-то безжизненная. Где-то далеко противно кричал ворон…

От этого крика он мгновенно пришёл в себя. По-видимому, на какое-то время сознание покинуло тело. Но шум ветра и воронье карканье вернули к действительности, заставив вспомнить о дуэли. В правой руке чернел пистолет. О-пе-ре-дил… Тот, который стрелял в него, опередил. По-видимому, выстрелил уже на четвёртом шаге. Какая досада! Попробовал перевернуться с живота на бок, но тут же, застонав, затих. Нестерпимая боль резанула низ живота, ударила куда-то в ногу. Мутило. Рядом склонился подоспевший Данзас, с испуганным бледным лицом. Нет, дуэль продолжится… Он ещё жив, и есть силы сделать свой выстрел… Приподнялся на локте и еле сдержал стон. Как-то странно онемели ноги. Такое чувство, будто весь в чём-то липком… Кровь?..

Потянул из снега пистолет. За ним выстрел. Отказаться – показать свою слабость и неспособность защититься. Странно, голова теперь работала нормально. В отличие от тела. Ноги… И бок. А ещё это… липкое.

Рядом с лицом Данзаса мелькнуло другое – секунданта Дантеса, господина д'Аршиака. Невдалеке стоял ненавистный Дантес. Он его не видел – только чувствовал. Каждой клеточкой раненого тела. Кто-то предложил прекратить поединок. Это уж слишком!

– Attendez! je me sens assez de force pour tirer mon coup… [2]

Даже несколько слов, сказанных по-французски, для истекавшего кровью тела оказалось достаточно, чтобы едва вновь не потерять сознание. Голова закружилась, склоняясь на грудь. По крайней мере, он своё слово сказал: дуэль продолжится.

Недалеко возился взволнованный Данзас. Пистолет, который Пушкин продолжал сжимать в онемевшей руке, оказался забит снегом. Чувствительный к влаге, заряд мог подвести, поэтому следовало произвести замену. Хотя времени в обрез: лицо раненого,

потерявшего много крови, можно сравнить разве что со снегом. Правда, оно не отливало синевой, больше напоминая восковую, неживую маску.

Дантес нехотя возвращался к барьеру. Секундант Данзас занимался пистолетами. Последнее не понравилось г-ну д'Аршиаку, который начал было возражать против замены оружия. Однако Дантес подал тому знак о своём согласии.

Когда рука вновь почувствовала тяжесть пистолетной рукояти, волнение, наконец, улеглось. Он вдруг успокоился. Теперь можно стрелять. Значит – отомстить. В этот момент желание отомстить велико как никогда. Всё остальное не имеет никакого значения. Ни чудовищного ранения, ни страха. Только оно – это непреодолимое желание выстрелить. С трудом упёршись левой рукой в снег, который предательски проваливался, усиливая нестерпимую боль и мешая хорошенько прицелиться. Пистолет поднимался слишком медленно, напоминая пудовую гирю. Этот «ульбрих» был слишком тяжёлым, чтобы можно было прицелиться наверняка.

Что-то мешало – то ли слеза, скатывавшаяся с прицельного глаза, то ли дрожавшая мушка. Слеза не от боли – от холодного ветра, не прекращавшегося все последние дни. Слезящийся глаз долго не может отыскать цели. Цель – силуэт по другую сторону барьера. Попасть в человека, стоящего к тебе вполоборота на значительном расстоянии, не так-то просто. Ха, да он, этот франт-французишка, испугался! Именно сейчас, когда его противник почти недвижим валяется на снегу. Под прицелом страшно любому – даже самому отважному. Пусть побоится. Прикрывает грудь рукой, ёжится… Грудь ни при чём, ведь пуля уйдёт не туда… А ну-ка, господин Дантес, почувствуй вкус собственной крови!

Выстрел сильно отдал в руку, отозвавшись во всём теле нестерпимой болью. Но это раненого уже ничуть не занимало. Его пристальный взгляд был устремлён в одну точку – к Дантесу. Мгновенно рассеивавшийся пороховой дым открыл отрадную картину: противника не было. Француз повержен; недруг упал, сражённый ответным выстрелом. Его выстрелом!

– Bravo!..

И только теперь его горячая голова коснулась приятного холода синевшего в сумерках снега…

Глава I

«…Обычай поединка является среди цивилизации как символ того, что человек может и должен в известных случаях жертвовать самым дорогим своим благом – жизнью – за вещи, которые с материалистической точки зрения не имеют значения и смысла: за веру, родину и честь. Вот почему обычаем этим нельзя поступаться. Он имеет основание то же, что и война».

В. Спасович, известный царский адвокат

…1836 год для Пушкина не задался с самого начала. 29 марта умерла мать, Надежда Осиповна. Ещё не старая, она давно болела, по причине чего сын почти ежедневно появлялся у родителей, не решаясь ехать в Москву, где ждали неотложные дела, связанные с его новым журналом «Современник». Однако, несмотря на старания врачей, Надежда Осиповна скончалась.

По желанию покойной, Пушкин похоронил матушку в Святогорском Успенском монастыре рядом с её родителями – Осипом Абрамовичем Ганнибалом и Марией Алексеевной. Для поэта смерть матери стала тяжёлой утратой, заставившей задуматься о бренности собственного бытия. В те же дни, внеся в монастырскую кассу определённую сумму, он выбрал место и для себя. Ему нравилось местное кладбище – «ни червей, ни сырости, ни глины»… Боязнь найти последнее упокоение в «полосатом кафтане» на «тесном Петербургском кладбище» преследовала поэта все последние годы. Особенно терзала мысль о «полосатом кафтане», как Пушкин называл мундир камер-юнкера[3].

Князь П.А. Вяземский[4] *(из «Старой записной книжки»):*

«Александр Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих; но не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям, редко и бывал у них, когда живал с ними в одном городе. “Давно ли видел ты отца?” – спросил его однажды NN. “Недавно”. – “Да как ты

понимаешь это? Может быть, ты недавно видел его во сне?" Пушкин был очень доволен этою уверткою и, смеясь, сказал, что для успокоения совести усвоит ее себе.

Отец его, Сергей Львович, был также в своем роде нежный отец, но нежность его черствела ввиду выдачи денег. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. "Можно ли, – сказал Лев, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит 20 копеек?" – "Извините, сударь, – с чувством возразил отец, – не двадцать, а тридцать пять копеек!"» [1]

Как бы то ни было, по возвращении из Михайловского в Петербург писатель собран как никогда; он полон энергии и готов много писать. Но для начала следовало съездить в Москву, где его ждали архивы и была возможность остаться наедине со своими рукописями. Озадачивало другое: в семье должен был появиться четвёртый ребёнок. А при отсутствии хозяина все заботы по дому и хозяйству лягут на беременную супругу, которая, ко всему прочему, на всё лето вместе с детьми собралась на пригородную дачу. И он пишет ей каждые два-три дня. Понимая, как её муж страдает без семьи, Наталья Николаевна на каждое полученное тут же отправляет ответное письмо. Когда однажды она повременила с ответом, незамедлительно получила большое послание с упрёком:

«Что это, жёнка? так хорошо было начала и так худо кончила! Ни строчки от тебя; уж не родила ли ты? сегодня день рождения Гришки, поздравляю его и тебя. Буду пить за его здоровье. Нет ли у него нового братца или сестрицы? погоди до моего приезда. А я уж собираюсь к тебе. В Архивах я был, и принужден буду опять в них зарыться месяцев на 6; что тогда с тобою будет? А я тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму. Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Сижу дома – вижу только мужеск. пол. Пешком не хожу, не прыгаю – и толстею… Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности; я говорю: У меня дома есть красавица, которую когда-нибудь мы вылепим» [2].

Он вернётся в Петербург глубокой ночью 23 мая. Усталый, в придорожной пыли, улыбающийся. Причиной для радости стало прекрасное известие: в тот день супруга подарила ему дочку…

Ожерелье, подаренное мужем поутру, Наталью Николаевну «привело в восхищение». А сам хозяин семьи в эти дни писал Павлу Нащокину[5] *в Москву: «Дай Бог не сглазить, всё идёт хорошо» [3].*

Хорошей жизни оставалось не так уж много. До середины осени…

* * *

С летом в тот год не повезло. Затяжные дожди с сильным ветром загнали петербуржцев по домам. Погода напоминала октябрьскую; шептались о приближении конца света. Однако для Пушкина непогода была не в тягость. С утра он уединялся в дачном кабинете и с наслаждением работал.

Выход пушкинского «Современника», по мнению Александра Сергеевича, должен был многое изменить. По крайней мере, доходы от издательства журнала позволили бы существенно сбалансировать непосильные расходы по займам, которые значительно возросли. Непогода и постоянное присутствие рядом жены и непоседливых детишек каким-то необъяснимым образом вернули *вдохновение. Поэтому Пушкин много и с удовольствием пишет. Почти забыты выезды в город; семья всё время проводит на даче. Для знакомых и друзей у поэта имеется уважительная причина – траур по матушке; на что он и ссылается, отказываясь от очередного приглашения в гости. Даже день рождения императрицы, пышно отмеченный в Петергофе, обошёлся без присутствия уважаемого поэта. Лишь нечастые гости – Карл Брюллов, князь Пётр Вяземский и парижанин Леве-Веймар…*

Всё это – плохая погода и отсутствие посторонних – Пушкина даже радовало. Он трудился над историческим романом времён пугачёвщины. Даже когда ожили главные герои сочинения, название ему так и не было придумано. Впрочем, подобное автора ничуть не занимало – главное, понимал он, удалась сама суть, сердцевина, раскрывавшая подлинность описываемых событий. В перерывах работы над романом поэт находил отдохновение в стихах; в частности, продолжал «лакировать» «Медного всадника».

23 июля 1836 года в его сочинении, названном «Капитанская дочка», была поставлена последняя точка. Вскоре по Петербургу поползли слухи: Пушкин собирается выпустить новый роман…

Очередной успех окрылил надеждами. Захотелось, уехав с дачи на Каменном острове, вновь очутиться в Михайловском, где, накупив в лавке гусиных перьев, сесть за любимый письменный стол и… писать, писать, писать.

С Михайловским ничего не получилось. Впрочем, как и с написанием нового романа. Подвёл «Современник», который, к досаде, не оправдал надежд. Ожидаемых двух тысяч подписчиков

издатели не дождались; две трети нераскупленных экземпляров второго номера журнала недвижимым грузом осталось лежать на складе. Всё просто: поэта Пушкина читатель знал, а вот новый журнал (пусть даже пушкинский) – нет. Кто будет брать кота в мешке? Признание следовало завоевать, а с ним – и читателя. В том и состояла большая ошибка Пушкина, слепо надеявшегося заполучить никак не меньше двадцати пяти тысяч рублей. Отрезвление пришло, когда на горизонте зазияла финансовая яма…

Вновь пришлось лезть в долги. На этот раз выручил некто Соболевский, большой приятель, который, уезжая за границу, оставил Пушкину приготовленное для заклада столовое серебро. В другое бы время Александр Сергеевич от встречи с ростовщиком решительно отказался, но только не в этот раз. Пришлось плестись к ростовщику Кишкину, выдавшему под залог столовой утвари семь тысяч рублей. Мизер, но и такие деньги предоставляли временную передышку…

Всё это очень тревожило. «Передышки» быстро заканчивались. Ещё в феврале он заложил у ростовщика Шишкина кашемировую шаль жены. Наталье Николаевне эта шаль очень нравилась. В ней она выглядела как настоящая русская крестьянка. А те 1250 рублей, полученные от ростовщика, быстро закончились. Через пару месяцев он снесёт Шишкину старинный брегет и серебряный кофейник, оценённые хитрованом в какие-то 650 рублей.

А вот шаль было жалко…

Узнав о провале второго выпуска журнала, Наталья Николаевна решила помочь мужу, потребовав от своего старшего брата, Дмитрия Николаевича Гончарова, полагавшуюся ей долю после смерти деда в виде ежегодного содержания. Однако при жизни мужа она лишь раз получила требуемую сумму в размере 1120 рублей (четверть от годового содержания) [4].

Мытарства с деньгами сводят авторское вдохновение Пушкина почти на нет. Тем не менее 19 октября он заканчивает беловой текст «Капитанской дочки», стоившей ему огромных трудов. Одновременно готовит третий выпуск «Современника», сократив его тираж чуть ли не вдвое, чем удалось значительно сэкономить. В планах было опубликовать «Капитанскую дочку» в четвёртом номере. Роман покорил читателя. Тургенев, Карамзин, Вяземский – все в один голос: превосходно!

Теперь слово было за цензорами, с подачи которых роман мог быть просто-напросто утоплен. Но обошлось. Когда первая часть «Капитанской дочки» попала в руки известного цензора Корсакова, тот оказался буквально покорён прекрасным романом и уже на

следующий день прислал автору доброжелательный ответ.

«С каким наслаждением я прочёл его! – писал Пушкину о романе Корсаков. – Не просто прочёл – проглотил его! Нетерпеливо жду последующих глав…»[5]

В середине сентября Пушкины вернулись с дачи в Петербург, поселившись в доме княгини Волконской на Мойке. То спокойное лето на Островах, где семья провела дачный сезон, окажется самым светлым воспоминанием Александра Сергеевича и его супруги на фоне последующих, поистине ужасных и фатальных, событий.

С определённого времени в их жизни появился некто Жорж Геккерен[6]. Хотя весь светский Петербург знал этого человека как кавалергарда Дантеса…

* * *

14 февраля 1834 г.

«Определенный на службу по высочайшему приказу, отданному в 8 день сего февраля и объявленному в приказе по Отдельному гвардейскому корпусу 11 числа за № 20, бывший французский королевский воспитанник военного училища Сент-Сир барон Дантес в сей полк корнетом зачисляется в списочное состояние, с записанием в 7-й запасный эскадрон, коего и числить в оном налицо».

Из приказа по Кавалергардскому полку[6]

…Если кто-то считает, что Жорж Шарль Дантес родился с золотой ложкой во рту, то глубоко заблуждается: ложка (пусть и не золотая, а всего лишь посеребрённая) у него появится позже, причём не без участия Фортуны, сопровождавшей этого человека всю жизнь. Фортуна капризна и скупа, но если уж накладывает свою длань на чьё-либо чело, то это чело – исключительно слабака. Ибо сильный пробивает себе путь без всякой помощи – благодаря сильным мышцам, изворотливости ума и хорошей реакции. Ни тем, ни другим, ни даже третьим судьба Дантеса не наделила, за исключением разве смазливой мордашки, которая в его жизни сыграет не последнюю роль.

Родившемуся в многодетной семье барона Жозефа Дантеса, получившего свой титул в смутные времена Бонапарта, поначалу Фортуна не выказывала Жоржу особых знаков внимания. Даже в сен-сирской военной школе он пробыл не более года, на чём всё образование и закончилось. Правда, обучению юноши помешали

революционные события 1830 года, но это, в общем-то, не имело никакого значения. Когда же пришло время устраиваться в жизни, понадобились связи досточтимого батюшки.

Школа в Сен-Сире определила будущее Дантеса, которое могло быть связано только с военной службой. Проще всего было поступить в армию прусского короля. Так бы оно и произошло, если б не одно обстоятельство: незаконченное военное образование лишало возможности получить даже низший офицерский чин. Унтер-офицером – пожалуйста; но не выше. Однако в планы честолюбивого барона такая «низость» никак не входила. Пришлось подыскивать лазейки попроще. Тут-то и помогли связи отца.

Выручил наследник – прусский принц Вильгельм, – чьей протекции в отношении Дантеса перед русским императором Николаем Павловичем, с которым принц был в родственных отношениях, оказалось достаточно, чтобы уладить дело с военной службой в кавалергардском Ея Величества полку.

26 января 1834 года в дневнике Пушкина каким-то мистическим образом появляется запись: *«Барон Дантес и маркиз де-Пина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами. Гвардия ропщет» [7].*

Как бы то ни было, принятие Дантеса офицером в русскую гвардию явилось очередной улыбкой судьбы. Незадолго до этого смазливая мордашка француза смутила-таки капризницу Фортуну, которая приготовила для баловня сюрприз в виде голландского посланника Геккерена[7].

Дантес и Геккерен познакомились в гостинице одного немецкого городка. Юноша лежал в горячке, а дипломат, возвращавшийся из отпуска в Россию, остановился в той же самой гостинице. Вскоре они познакомились, а потом и подружились.

С самого начала эта дружба обещала быть особенного свойства. Долгое время об этом не принято было говорить, тем не менее абсолютно точно известно, что между Геккереном и Дантесом имела место гомосексуальная связь. Именно голландец и предложил молодому французу поехать с ним в Петербург.

Из воспоминаний однополчанина Дантеса князя А.В. Трубецкого[8]:

«За ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном, или Геккерн жил с ним… В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес

постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль. Он был очень красив…»[8]

Ничего удивительного, что после знакомства с голландским посланником никаких препятствий у офицера-недоучки для поступления на русскую военную службу не возникло. (Это ли не происки Фортуны?!) О французе было доложено государю, после чего уже в январе 1834 года (всего через три месяца после прибытия с Геккереном на пароходе в Кронштадт) Дантес был допущен к офицерским экзаменам при Военной академии. Причём с освобождением от экзамена по русской словесности и знанию Устава.

Поразительно! Без всякого образования, без знания языка страны, в которой этот малый собирался служить, и даже Устава армии Дантес не только блестяще «выдержал экзамен», но и был зачислен корнетом в Кавалергардский полк[9].

19 ноября 1836 г.

«Неоднократно поручик барон де Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе; хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей и он должен был находиться, но не менее того… на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на пять раз».

Из приказа по Кавалергардскому полку [9]

Жорж Дантес был ленив и глуповат. Зато молод, строен и красив. А ещё этот донжуан чертовски здорово отплясывал котильон, полонез и мазурку. Особенно мазурку, эту сводницу распутных сердец.

«Он отдавался танцам с жаром, неким вдохновенным восторгом, – писала Серена Витале. – Он никогда не был одним из тех холодных денди, что лениво переставляют ноги, будто выполняя утомительную работу. Каждый мускул его был напряжен, звук его каблуков четко и громко раздавался на паркетном полу, его ноги грациозно взлетали в антраша. Не был он также и одним из тех “супермодных” типов, которые являлись поздно и исчезали до мазурки – ключевой точки танцев, магического момента любовных свиданий; это был человек, который покидал бальную залу разгоряченным, с покрасневшим лицом и в изнеможении – только после котильона, и даже тогда его хватало на последнюю остроту, последний обжигающий взгляд, под воздействием которого веера двигались живее – и с

первым лучом рассвета дневники наполнялись отчетами об учащенном стуке сердца и обморочном состоянии» [10].

Этот плут был способен увлечься; но истинное наслаждение ему доставляло обратное – очаровывать; особенно замужних дам. Ведь семейная клетка, как известно, многих страшно тяготит: муж, дети, надоевший домашний халат и ночной чепец… Ах, как всё это далеко от истинной страсти, романтики и рыцарской бесшабашности! И это притом, что где-то там, за пределами ненавистной решётки, кипели страсти, стрелялись на дуэли и… признавались в любви. Как порою хотелось очутиться среди этого разгула, который манил запахом порока – известным искусителем замужних женщин всех сословий.

Когда соблазнителю чуть за двадцать, такой в обществе шуршащих юбок всегда становится кумиром, не увлечься которым способна разве что лишённая сердца. В двадцать четыре в тебя влюбляются все. И не только девицы, но и вполне респектабельные кокотки. Тут, главное, не переиграть и всю благосклонность обернуть исключительно в свою пользу. И пока Дантесу это удавалось. Его «послужному списку» из тех, кто удостоил француза, помимо томного взгляда, более ценным подарком, могли позавидовать самые известные кавалеры Петербурга. Молодые бонвиваны им восхищались, а осанистые главы семейств – откровенно побаивались.

– Дантес, говорят, вы хороши с женщинами, – смеясь, спросил его однажды граф Апраксин.

– Женитесь, граф, тогда и узнаете, – в пику тому ответил француз.

Однако если с женщинами у Дантеса всё обходилось относительно благополучно (не считая венерических болезней, заставлявших раз за разом обращаться к дорогим докторам), то в отношении военной службы дела шли не столь блестяще.

«Дантес, по поступлении в полк, оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером, – писал биограф Кавалергардского полка. – Таким он оставался в течение всей своей службы в полку: то он “садится в экипаж” после развода, тогда как “вообще из начальников никто не уезжал”, то он на параде, “как только скомандовано было полку вольно, позволил себе курить сигару”; то на линейку бивака, вопреки приказанию офицерам не выходить иначе, как в колетах или сюртуках, выходит в шлафроке, имея шинель в накидку». На учении слишком громко поправляет свой взвод, что, однако, не мешает ему самому «терять дистанцию» и до команды «вольно» сидеть «совершенно распустившись» на седле; «эти упущения Дантес совершает не однажды, но они неоднократно наперед сего

замечаемы были» [11].

В январе 1836 года Жорж Дантес получил очередное воинское звание – поручик.

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«В 1812 году граф Остерман сказал маркизу Паулуччи, если я не ошибаюсь: “Для вас Россия – мундир: вы надели его, и вы сбросите, когда будете в настроении это сделать. Для меня это – моя кожа”…» [12].

13 мая 1836 года в Кронштадте пришвартовался пароход «Александра», на котором из поездки на родину вернулся Якоб ван Геккерен. На его лице играла улыбка. Голландец радовался отнюдь не весеннему солнцу: в кармане сюртука прибывшего лежали бережно свёрнутые бумаги, удостоверяющие усыновление им французского подданного Жоржа Дантеса, поручика лейб-гвардии Конного полка. Через неделю голландский посланник во время приватной аудиенции доложит об этом лично императору[10].

С этого времени Дантеса следовало именовать Жорж Шарль де Геккерен…

Летом того года на балах, организуемых на минеральных водах, тон задавала супруга известного поэта, 24-летняя Натали Пушкина. Ею восхищались, ей аплодировали, в неё влюблялись. А ещё – открыто завидовали. Поэтому, когда в окружении замужней дамы появился Дантес, все взгляды так или иначе были направлены именно на них. А вдруг в семье Пушкиных случится адюльтер? Ведь за плечами «белокурой бестии» (так звали за глаза Геккерена-младшего), если верить слухам, было приличное состояние его приёмного отца, а ещё тянулся шлейф скандальных историй, связанных с замужними женщинами. Однако до большого скандала пока не доходило; вероятно, потому, что очередному мужу-рогоносцу, дабы в обществе не показаться смешным, проще было попросту отмахнуться.

Как уже было сказано, Наталья Николаевна была красива и изящна. В шестнадцать она уже разбивала сердца. Настоящую конкуренцию супруге поэта могла составить лишь другая красавица – Саша Алябьева, которой восторгались все, в частности сам Пушкин:

…Влиянье красоты

Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой…

Князь П.А. Вяземский сравнивал красоту Алябьевой avec une beaute classique, а красоту Гончаровой avec une beaute romantique. По мнению князя, Пушкину, первому романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице [13].

Долли Фикельмон[11], 25 октября 1831 года:

«Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете; она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое – ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное; я еще не знаю, как она разговаривает, – ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают, – но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, всё возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете» [14].

Из воспоминаний графа В.А. Соллогуба[12]:

«Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая; с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге… она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но её женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень многих молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видевших» [15].

Чем не королева красоты?..

* * *

…В конце лета Императорская гвардия (Кавалергардский полк) разместилась в Новой Деревне. Вслед за этим начались долгожданные балы, в частности – в здании минеральных вод близ каменноостровских дач. Там любила бывать императрица Александра Фёдоровна, поэтому быть приглашённым на бал на минеральных водах почиталось за честь.

К тому времени супруга Пушкина Наталья Николаевна, отойдя от родов, заметно похорошела, если не сказать больше – расцвела. Среди тех, кто восхищался красотой и изяществом замужней дамы, был и Жорж Дантес. Впрочем, к осени 1836 года этот молодой повеса – уже даже и не Дантес, а барон Геккерен – приёмный сын голландского посланника Якоба Геккерена де Беверваарда, или Геккерена-старшего. (Геккеренам, как понимаем, таким образом было легче скрывать свою гомосексуальную связь.)

У Дантеса-Геккерена имелась одна отличительная особенность, приводившая в замешательство даже искушённых в интригах кокоток, не говоря уж о девицах. Наглец по натуре, он обожал смущать дам, устремляя свой пристальный, немигающий взгляд на ту, которая удостаивалась его внимания. В такие минуты (чаще – секунды) в пронзительном взгляде француза читались даже не любовь или признание – в нём был *вызов. По сути, ожидание единственного ответа: «да!». Поэтому заглядевшиеся на красавца девицы тут же смущались; а вот дамы поопытнее намёк схватывали на лету, мечтая лишь о том, чтобы кавалер пригласил их на мазурку…*

Мазурка являлась венцом всех балов. Во-первых, существовало негласное правило, согласно которому на этот танец кавалер приглашал наиболее приглянувшуюся ему даму. А во-вторых, во время этого быстрого и озорного танца можно было незаметно для окружающих договориться о тайном свиданиц, передать записку приватного свойства и, наконец, даже щекотнуть нежную шейку избранницы щёткой усов. Ничего удивительного, что мазурку обожали все, за исключением, пожалуй, ревнивых мужей (как правило, из старых холостяков), хорошо понимавших, что к чему.

* * *

Итак, с некоторых пор Дантес-Геккерен решил приударить за Пушкиной. Пусть и красавица – зато невелика птица, жена какого-

то камер-юнкера, ха-ха. Подумаешь, невидаль – знавали и познатней…

Князь А.В. Трубецкой: *«Он был очень красив… И постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, и, как избалованный ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе» [16].*

По отзыву другого современника, «Дантес возымел великий успех в обществе; дамы вырывали его одна у другой» [17].

Отныне, где бы ни появлялись Пушкины, там обязательно возникала долговязая фигура Дантеса. Искушённый в любви и ревнивый по натуре, Александр Сергеевич быстро заприметил «пронзительный взгляд шаромыжника», направленный в сторону его жены. Однако поначалу ничто не предвещало беды. Мало ли, влюбчивый «вьюнош» оказался очарован Натали – дело привычное, не впервой. Финал предсказуем: знавшая себе цену Наталья Николаевна способна легко отвести грозу от семьи. Кто-кто, а Пушкин это прекрасно знал, поэтому в супруге был уверен, как в самом себе… Тьфу-тьфу, конечно, не как в самом себе, ибо если так, то… Словом, был уверен, как в усопшей матушке… Потому-то первое время ухаживания французика воспринимались им исключительно как забава и игра.

И всё-таки поэт сильно ревновал. И в этом не было ничего удивительного – ведь он был старше жены на целых тринадцать лет! Не так много, в сравнении, скажем, с прочими супружескими парами, где разница доходила и до трёх десятков лет, но всё же. Не очень-то хотелось, чтоб вслед тебе неслось страшное: «рогоносец».

Пушкин всегда чуть-чуть комплексовал. Даже тогда, когда сердце первой московской красавицы стало принадлежать ему – маленькому и некрасивому. Если верить воспоминаниям современников, поэт не любил стоять рядом со своей женой, говоря, что это для него «унизительно». Красота и молодость Наташи, а также её успех в свете, несомненно, беспокоили супруга.

И здравый смысл подсказывал: рано или поздно жена могла ошибиться. Каково это, имея маленького, неимпозантного вида мужа-«старика», повелевать сонмом молодых красавчиков и при этом сохранять незапятнанной собственную репутацию?.. Ведь одного благосклонного взгляда достаточно, чтобы поползла молва…

О, молва! Эта болтливая старуха, предвестник телеграфа, разбила сотни сердец, ещё больше – семей… Не бойся пистолета – бойся молвы! И если верить этой самой молве, Натали в глазах

общества была не столь уж безупречной. Однако Пушкин супругу понимал, ибо и сам, бывало, ошибался. Главное, твердил он в письмах, не делать опасных шагов… А если и кокетничать, то… аккуратно.

Из писем Пушкина жене: «Ты кругом виновата… кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом»… «Смотри, жёнка! Того и гляди, избалуешься без меня, забудешься без меня, забудешь меня – искокетничаешься»… «Не стращай меня, жёнка, не говори, что ты искокетничалась»… «Не кокетничай с Соболевским»… «Не стращай меня… не кокетничай с царём, ни с женихом княжны Любы»…[18]

Кокетничай, говорит Пушкин жене, но требую от тебя, помимо холодности, быть «благопристойною и важною». Именно эти качества, по мнению поэта, наиболее достойны хорошей и преданной супруги.

А вот ещё: «Ты кажется, не путём искокетничалась. Смотри: не даром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нём толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхав тебе задницу; есть чему радоваться. Не только тебе, но и Прасковье Петровне легко приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства» [19].

Как видим, главным для Пушкина в жене являлось присутствие бдительности при наличии некой комильфонтности – умения соответствовать вкусам и правилам приличия в обществе. И это у Натальи Николаевны неплохо получалось.

Правда, до поры до времени. Пока судьба не бросила к её ногам Дантеса…

Пушкин впервые увидел Натали в 1828 году в Москве. Как-то так получилось, что на балу у танцмейстера Иогеля очутились он и она. Первое впечатление поэта: Гончарова напоминала какую-то заводную куклу – прекрасную и почти неземную.

Чуть позже он добился согласия Гончаровой стать его женой. Во время венчания внезапно потухла свеча. А ещё – упали крест и обручальное кольцо. Пушкин похолодел, потом негромко произнёс:

– Плохое предзнаменование…

Об этом он будет долго вспоминать. Но твёрдо знал одно: свой выбор сделал правильно. И в который раз любовался своей Натали, которую про себя называл Татьяной Лариной…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Александр Булгаков рассказывал, что в молодости, когда он служил в Неаполе, один англичанин спросил его: “Есть ли глупые люди в России?” Несколько озадаченный таким вопросом, он отвечал: “Вероятно, есть, и не менее, полагаю, нежели в Англии”. – “Не в том дело, – возразил англичанин, – вы меня, кажется, не поняли: мне хотелось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?”

Вопрос, во всяком случае, не лестный для того, кто занимал посланническое место в Неаполе» [20].

«Коллекционировать» женщин Жорж Дантес начал давно. Так давно, что успел запамятовать, с чего всё началось. Но однозначно с бутылки бургундского и ночи в грязном борделе. А потом пошло-поехало: гувернантки, гризетки, madame, mademoiselle… И… monsieur. Дитя наполеоновских войн, он оказался на развилке Истории, где благодетель и разврат гуляли под руку. Вольные нравы Сен-Сира существенно подпортили характер Жоржа. Густые бачки, светлые вьющиеся волосы и красивые серые глаза влекли к нему женщин, как ос на патоку. Завзятый рассказчик и балагур, этот красавчик умел нравиться. И был избалован прекрасной половиной почти «до изнеможения».

Однако всякая медаль, как известно, имеет две стороны; парадный фасад – чёрный ход, а каждый шкаф – свои скелеты. У Дантеса «скелетов» было два. Во-первых, со своим приёмным отцом, как было сказано, его связывала плотская любовная связь. Ну а во-вторых, этот отчаянный гуляка был серьёзно болен. Дантес, как шептались, страдал болезнью, которая плохо поддавалась лечению. По крайней мере, Пушкин ничуть не сомневался, что донжуан поражён «болезнью любви». Деньги приёмного отца помогали проводить дорогостоящее лечение. Влиятельный Геккерен пресекал все пересуды о своём сыне, поэтому говорить о болезни Дантеса открыто было не принято. Однако Александр Сергеевич, будучи уверенным, что у его врага lues, в выражениях не стеснялся.

Хроническое заболевание раз за разом обострялось. Болезнь протекала тяжело, с высокой температурой и упадком сил, укладывая бедолагу на неделю-другую в постель. Так приходилось расплачиваться за геройство. Зато когда приступы благодаря вмешательству докторов отступали, кавалергард вновь, что называется, обретал себя, встречался с друзьями и подругами, появлялся в свете, заводил интрижки и, разумеется, новые романы…

Заболевание, которым страдал любвеобильный француз, оказалось слишком коварным, чтобы на него не обращать внимания. Сжигая организм изнутри, оно делало его настолько слабым, что француз практически лишался какой-либо защиты противостоять любой простуде. Насморк и кашель стали постоянными спутниками Дантеса. Но однажды, пройдясь на коварном невском ветру, он подхватил ещё одну страшную болезнь – плеврит. Кризис, правда, быстро миновал, однако очаг приобрёл хроническую форму. После этого стало окончательно ясно, что здоровье молодого француза серьёзно подорвано. Было время, когда его активная жизнь проходила от приступа до приступа, от обострения к обострению…

Из письма Ж. Дантеса Якобу ван Геккерену, декабрь 1835 года:

«Теперь, благодарение Богу, я совсем не страдаю. Да, я закутан во фланель, как женщина, выздоравливающая после родов, но в этом есть двойное преимущество сохранения тепла и заполнения пространства под одеждой, которая висит на мне как мешок из-за того, что я так страшно похудел. В этом письме я предлагаю тебе отчет о моей теперешней жизни: я каждый день ем дома, мой слуга договорился с поваром Панина, и мне присылают очень хорошие и обильные обеды и ужины за шесть рублей в день, и я уверен, что смена поваров идет мне на пользу, поскольку боли в желудке почти совершенно исчезли» [21].

За своё легкомыслие приходилось жестоко расплачиваться. Рано или поздно наступает время собирать камни…

* * *

Как было сказано, последней страстью Дантеса стала замужняя дама Натали Пушкина. Сам Александр Сергеевич к этому времени превратился в маститого, известного как в стране, так и за её пределами писателя и поэта. Под одной крышей сошлись Ум и Красота, Вулкан и Венера. Для стороннего наблюдателя семья Пушкиных являла собой образчик идеального брака – сочетание воздушного с плотским; хотя на самом деле чета, растившая четверых детей, переживала самый что ни на есть *семейный кризис. Уму очень не хватало душевной широты, интеллигентности; Красоте – публичности.*

Долли Фикельмон, сентябрь 1832 года:

«Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом, невозможно ни быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем, у нее не много ума и даже,

кажется, мало воображения» [22].

В какой-то момент супругам стало тесно. Вместо того чтобы полностью отдать себя Музе и Пегасу, поэт вынужден был раз за разом всё откладывать «на потом», чтобы обеспечить безбедное существование семьи и «достойное» появление очаровательной жены на очередном великосветском балу. Сама же Натали, как она считала, буквально задыхалась от «семейного быта». Она «жила от бала до бала»; ведь только там можно было показать себя во всей красе. В двадцать с небольшим есть что показать: блеск глаз, румянец щёк, пухлость губ и нежность кожи. О, как этих бессловесных свидетелей молодости и счастья не хватает потом, когда тебе, о ужас, за тридцать пять…

Судя по всему, на этот раз Дантес увлёкся по-настоящему. Если же верить его переписке с приёмным отцом, так оно и было. Завоевать сердце красавицы стало вожделенной мечтой француза.

Но для начала следовало войти в ближний круг Пушкиных. Несложная, на первый взгляд, задача имела одно отягчающее обстоятельство, имя которому – муж. Для любовника (пусть даже будущего) супруг обожаемой им женщины – всегда препятствие, своего рода букашка в глазу, а то и шмель на носу. Когда как – многое зависит от везения. В любом случае, самое лучшее – оказаться «другом семьи», которого все знают, любят, доверяют и даже прислушиваются к советам. Оказаться «своим» – для любовника всегда большая удача, потому как совсем рядышком, буквально за спиной муженька-рогоносца, можно вытворять что угодно…

Дантес был везунчиком и начал с того, что без всякой стыдливости (и даже осторожности) стал ухаживать за Натали. Кто знает, возможно, им двигали самые возвышенные чувства (сильное увлечение? любовь?). По крайней мере, так заставляют думать его письма барону Геккерену-старшему: «…Я безумно влюблен! Да, безумно, так как я не знаю, как быть; я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив…»[23]

Хочется верить, Дантес был охвачен подлинной страстью. Однако следует оговориться: эти строки написаны им в январе 1836 года, когда «даму сердца» наблюдал лишь со стороны – по сути, даже не будучи хорошо с ней знаком. «Это жеманница», – скажет он как-то Соллогубу, намекнув, что подобные женщины «манят, но не дарят». Несомненно одно: Натали Пушкина Дантесу

очень нравилась.

И снова бал; и снова – танцы! Главное, понимал француз, заручиться у дамы мазуркой. А уж та способна творить чудеса…

Но было ещё одно. В высшем обществе неизвестному иностранцу не так просто достигнуть определённого положения и тем более какой бы то ни было известности. Лишь женитьба на девице знатного рода или вхождение в определённый круг знакомых (например, масонов) могло существенно облегчить эту задачу. Однако Дантес решил распахнуть двери светского общества иным путём – единственным, на который он был способен. Громкий роман с женой известного поэта, пожалуй, мог сделать его имя более значимым – по крайней мере, среди так называемой «золотой» молодёжи. В любом случае, выбрав цель, отступать было поздно: его ухаживания за Натальей Николаевной уже успели привлечь всеобщее внимание. По городу поползли компрометирующие чету Пушкиных слухи…

Вот что при возвращении с очередного бала в феврале 1836 года писала в дневнике фрейлина императрицы Мари Мердер[13]:

«В толпе я заметила д'Антеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу, – он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившийся к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жою Пушкиной. До моего слуха долетело:

– Уехать – думаете ли вы об этом – я этому не верю – вы этого не намеревались сделать…

Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, – они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу. Барон танцевал мазурку с г-жою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту…» [24]

Однако близкие к семье Пушкиных люди воспринимали ухаживания француза не иначе, как волокитство, с её же стороны – нескрываемое кокетство…

Из воспоминаний Н.М. Смирнова[14] *(дипломата, мужа «черноокой» А.О. Россет) о Дантесе:*

«Он страстно влюбился в госпожу Пушкину… Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием (невзирая на то, что искренне любила своего мужа до такой степени, что даже была очень ревнива) …или из неосторожного кокетства, принимала волокитство Дантеса с

удовольствием…»[25]

Так это было взаимное влечение?..

И всё же Наталья Николаевна ответила французу отказом. Мазурка мазуркой, но супружеский долг превыше всего.

Весной 1836 года встречи Дантеса и Пушкиной, по сути, сведены на нет; причём по причине вполне банальной: Натали была беременна. Однако француз времени зря не терял – тот самый случай, закрой дверь – полезет в окна. Заведя знакомство с молодёжью из так называемого карамзинского кружка (Карамзин, Вяземский, Соллогуб и пр.), Дантес стал завсегдатаем и частым гостем близких друзей поэта – там, где чета Пушкиных бывала чаще всего.

Тем не менее вплоть до осени на любовном фронте Дантеса наступило относительное затишье…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«В Москве до 1812 г. не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли consommé[15]. На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил всегда хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон, по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа. Дмитриев[16] отказался от него. Василий Львович подбегает к нему и говорит: “Иван Иванович, да ведь это consomme”. – “Знаю, – отвечает Дмитриев с некоторою досадою, – что это не ромашка, а все-таки пить не хочу”…» [26]

Любовное затишье предполагает задуматься над суетностью бытия. Задумаемся и мы – например, над тем, был ли искренен Дантес? Да и вообще, любил ли он Натали?

Лично для меня ответ давно ясен: не любил. Француз просто-напросто открыто волочился. Его целью было добиться этой женщины любой ценой! Хотя бы для того, чтобы похвастаться перед друзьями-приятелями крупной победой – и только. А репутация женщины и всё остальное – это Дантеса ничуть не волновало.

Любила ли Наталья Николаевна Дантеса? Вот здесь сложнее. Скорее, обаятельный французик ей нравился; если хотите, импонировал. Будем справедливы, помимо детей и мужа, эта женщина, пожалуй, обожала только себя; особенно когда блистала на балах. Впрочем, она выказывала кавалергарду знаки

внимания – кокетство доставляло ей истинное удовольствие. Им обоим нравилось флиртовать друг с другом, не больше. А вот интимной близости быть не могло: всем было известно, что Натали находилась в «интересном» положении…

Волокитство споткнулось о Кокетство. В этом – Формула несостоявшегося романа между Дантесом и Натальей Пушкиной. Правда, цена этого мифического романа оказалась слишком высокой: не будь его, Россия не понесла бы столь невосполнимую утрату…

Натали не сразу поняла, что француз вёл двойную игру. У Дантеса имелась ещё одна тайна, которую он от всех тщательно скрывал. Волочась за замужней дамой, ловелас в то же время вынашивал планы иного свойства – он намеревался жениться. Нет, не на Пушкиной, с её ревнивым мужем и детьми! Признаваясь в любви к одной, он мечтал жениться на невинной девушке из высокородного семейства. И в этом был весь Жорж Дантес…

Имя девицы, вокруг которой увивался Геккерен-младший, молоденькая фрейлина Двора княжна Мария Барятинская. Её матушка, княгиня Мария Фёдоровна Барятинская (ур. графиня фон Келлер), была близка к императрице Александре Фёдоровне, а брат, А.И. Барятинский, в описываемое время являлся адъютантом наследника престола и его ближайшим товарищем[17]*. Княжна Мари, хотя и не блистала безупречной красотой, какой славилась Пушкина, зато была молода (на шесть лет младше Натальи Николаевны), знатна, богата, перспективна и умна. А ещё отличалась непомерным тщеславием, по причине чего не собиралась замуж абы за кого.*

И всё же Дантесу удалось Мари пленить. Сначала он захаживал в семью как товарищ её брата, поручика Кавалергардского полка князя Александра Барятинского, потом – уже ради самой девицы. На балах красавец выделывал такие «па» и так мило шутил, что не заметить его было просто невозможно. И княжна увлеклась. Её дневниковые записи первой половины 1836 года буквально испещрены именем Дантеса. Они же (записи) подтверждают, что француз был вхож в дом Барятинских и даже пользовался неким покровительством самой княгини. Известно, что с 23 по 30 марта 1836 года Дантес четырежды побывал у Барятинских! К слову, грозная княгиня незадолго до этого дала от ворот поворот другому кавалергарду – князю Трубецкому: лишь за то, что его матушка, видите ли, была сомнительного происхождения… Зато «тёмная лошадка» в лице приёмного сына голландского посланника не смущала вовсе. (Откуда привередливой княгине было знать о скрытых от людских глаз пороках

француза?)

Из записей Мари Барятинской, 24 июня 1836 года: «Танцевали. Я веселилась. Вальс с Дантесом, но не мазурка…» [27]

Мазурку с Дантесом Мари станцует месяцем позже – на балу в Ропше. Тогда же князь Трубецкой пригласит Барятинскую на первую кадриль…

3 августа 1836 года: «[Дантес] немного за мной ухаживал и сказал мне, что я была очень мила… Дантес с Геккерном меня очень смешили» [28].

Записи Мари подтверждают, что с какого-то времени к Барятинским зачастил сам посланник, поощрявший ухаживания приёмного сына.

Перелом в отношениях произошёл в последний июльский день 1836 года. Именно тогда на балу в Красном Селе впервые после многомесячного перерыва появилась… Да, вы угадали: Натали Пушкина. И запись в дневнике Барятинской весьма лаконична: «Я не очень веселилась на балу…» [29]

После того как в начале августа Кавалергардский полк расположился в Новой Деревне, летние балы стали давать на Островах, куда вслед за императрицей съезжалась вся столичная знать. Интересно, что именно с этого периода резко меняется интонация дневниковых записей Мари Барятинской. Написанные в порыве гнева, целые предложения оказались тщательно зачёркнуты; под густым слоем чернил сокрыта тайна девичьих страданий. Характерна запись от 17 августа, где княжна Мари, описывая бал в Павлине, после фразы «вначале я веселилась…» зачеркнула несколько строк; чуть ниже она зачеркивала уже целыми страницами… Несмотря на то что все нашли её «очень красивой», бал явно не задался.

Что-то случилось, какое-то коренное изменение в отношениях с французом. Нетрудно догадаться, кто явился причиной разрыва…

Тем не менее Дантес делает вид, что ничего не произошло, и продолжает наносить Барятинским визиты. Когда он вдруг замечает холодность со стороны Мари и всего семейства, в бой вступает тяжёлая артиллерия в лице Геккерена-старшего. В сентябре «старик»[18] лично навещает Барятинских, уверяя их в искренности чувств сына. Покачнувшееся было шаткое равновесие доверия было восстановлено. Правда, ненадолго: вскоре вновь заговорили об ухаживаниях Геккерена-младшего за Натали Пушкиной.

Так получилось, что ни Барятинская, ни Пушкина даже не догадывались, что каждой из них отведена роль некой актрисы из «запасной сцены». Какая из этих сцен была настоящей, не знал,

пожалуй, и сам Дантес. Француз явно заигрался, компрометируя обеих женщин. Он хотел встречаться с одной, а жениться на другой – той, которая бы укрепила его положение в обществе.

Когда гонишься за двумя зайцами, вероятность схватить хвост одного из них столь же мала, как ухватить зубами проплывающую щуку. При всей своей наглости и циничности, Дантес был слишком молод, чтобы оказаться хорошим охотником или рыбаком. Он слишком уверовал в своё незаслуженное везение…

А почему бы и нет? Доподлинно известно, что Дантес не только ухаживал за княжной Барятинской и волочился за госпожой Пушкиной. У этого плута имелась ещё одна тайна: он жил, как теперь сказали бы, в гражданском браке с некой… Впрочем, об этой незнакомке можно только гадать, ведь имя дамы тщательно скрывалось. И это заставляет задуматься.

Возможно, женщина была слишком известна в обществе, чтобы неосторожное слово могло её сильно скомпрометировать. Хотя могло оказаться как раз наоборот: у Дантеса имелась связь с простолюдинкой, что являлось ещё большей причиной скрывать эти отношения – на сей раз чтобы не быть скомпрометированным самому и отцу. Ясно одно: у Дантеса была тщательно скрываемая от посторонних глаз «жёнка». И не просто была: любовница… вынашивала от француза детей.

Из письма Дантеса Геккерену от 1 сентября 1835 года:

«Бедная “жена” в глубоком отчаянии; бедная женщина только несколько дней назад потеряла одного ребенка, а теперь есть угроза потери еще одного» [30].

Слишком ушлым оказался этот кавалерийский поручик. Деньги и высокое покровительство сделали вчерашнего недоучку отпетым негодяем…

* * *

30 августа 1836 г.

«…Спешу тебя уверить, что перелом ключицы мне никакой боли не причиняет, мучает же лишь одна тугая перевязка, но и к ней начинаю привыкать, впрочем, – ни лихорадки, ни других каких-либо последствий от нашей кувыркколлегии во мне не осталось…»

Из письма императора Николая Павловича к князю Паскевичу [31]

В отличие от своего батюшки, тщедушного и низкорослого

Павла I, российский император Николай Павлович Романов отличался отменным здоровьем и атлетическим телосложением. Он имел правильные черты лица и при росте 189 см – широкие плечи и могучую грудь. Даже приближённые сомневались, не носит ли император ради эффектного внешнего вида ватные вкладки под мундиром. Спор разрешил лейб-медик Николая доктор Карель (сменивший в пятидесятые годы на этом посту Н.Ф. Арендта), обследовавший приболевшего императора.

«Теперь, когда мне пришлось подвергать его перкуссии и аускультации, – писал Карель, – я убедился, что всё своё, природное…» [32]

О темпераменте Николая вообще говорить не приходится: об этом прекрасно знала придворная когорта фрейлин, которая после интимного общения с «Дон-Кихотом самодержавия» с лёгкой руки последнего выдавалась за князей, графов и просто знатных (пусть и не всегда молодых) вельмож. Ну а об уникальной эротической коллекции живописи, собранной сладострастным монархом, мечтали лучшие галереи мира. Впрочем, это – так, к слову.

О волокитстве Дантеса вскоре стало известно и при Дворе (наверняка кто-то нашептал императрице). Николай сделал вид, что новость ему не интересна, хотя на самом деле это было не так: очаровательная Натали царю нравилась. И он очень не любил, когда вокруг понравившейся ему женщины увивались навязчивые хлыщи, компрометируя не столько себя, сколько даму. Поэтому настойчивость француза Николая Павловича, этого видавшего вида бонвивана, слегка раздражала. «Играть можно – но не заигрываться!» – не раз говорил он. И был прав. Натали заигралась.

Хотя в последнее время императору было не до чьих-то шашней – всё чаще и чаще Николая беспокоили головные боли. Не помогали ни анисовые капли, ни холодные примочки. Давала знать недавняя травма…

Проблемы со здоровьем по-настоящему у Николая Павловича начались вскоре после того, как он присягнул на императорский трон. К приступам мигрени, не дававшим покоя с юности, ещё прибавились сильные боли в темени. В ночь с 9 на 10 ноября 1829 года в одном из залов Зимнего дворца с грохотом рухнула на пол большая китайская фарфоровая ваза. Выйдя на шум, Николай поскользнулся на паркете и упал навзничь. Падение оказалось неудачным: царь сильно ударился головой о стоявший поблизости шкаф, потеряв на какое-то время сознание. Никем не замеченный, самодержец пролежал на полу не менее четверти часа. Несколько дней, проведённых в постели под наблюдением опытных докторов, помогли восстановиться; правда, не полностью: отныне головные

боли беспокоили императора почти постоянно.

Через несколько лет – очередное происшествие, едва не ставшее для Николая фатальным. В конце августа 1836 года проездом из Пензы в Тамбов недалеко от местечка Чембара[19] *на середине горы кучеру не удалось сдержать лошадей, и те понесли. В результате экипаж опрокинулся набок. Царственный пассажир получил множественные ушибы, при этом оказалась сломана ключица. Пострадал и сидевший рядом А.Х. Бенкендорф; но больше всех досталось камердинеру, сидевшему вместе с кучером на козлах. Ему-то первому по указанию царя и оказывалась помощь.*

Перевязку императору сделал уездный доктор Цвернер, причём настолько удачно, что дело быстро пошло на поправку. Дабы не обидеть местного лекаря, Николай согласился провести пару недель в уездном училище под наблюдением заботливого Цвернера. И результат не заставил себя ждать: кость срослась вполне благополучно[20].

А вот головные боли остались…

* * *

Незаметно пролетело ненастное лето. Сентябрьские затяжные дожди возвестили о приходе осени…

11 сентября 1836 года Кавалергардский Ея Величества полк, покинув Новую Деревню, вернулся на зимние квартиры, расположенные на Шпалерной улице. 12 сентября Пушкины выехали с дачи на Каменном острове и поселились *«на Мойке близ Конюшенного мосту в доме княгини Волконской».*

Летние дачные балы заметно сблизили Натали и Дантеса. И щепетильные ценители мазурки и котильона это отметили первыми. Хотя приёмному сыну посланника балы уже оказали важную услугу; оставалось лишь закрепить занятые позиции. В «карамзинском кругу» Дантеса теперь хорошо знали, с ним считались; и это притом, что по-русски француз не знал ни бельмеса, предпочитая с «ультрафешенеблями» общаться исключительно на родном языке, благо прекрасное образование «фешенеблей» позволяло им хорошо понимать собеседника и свободно разговаривать. Одним словом, в обществе француз стал душой общества и при этом никого не тяготил. За единственным исключением – поэта Пушкина.

Ещё с весны Александр Сергеевич стал замкнут и нервозен. Иногда, пристально глядя на жену сбоку, как бы на миг окаменевал, мучимый тягостными мыслями. Пушкин ревновал. Причём чрезвычайно болезненно. Лишь познавший муки

ревности знает, какие страдания приносит эта несносная садистка. Справедливости ради следует заметить, что основания для ревности на самом деле были. Натали была слишком молода и неискушённа в таких деликатных вопросах, как неприкрытое ухаживание стороннего мужчины. Дантес же действовал нагло и самоуверенно, полагая, что ещё немного – и крепость падёт, как это обычно бывало с прочими замужними дамами.

Константин Данзас:

«И барон Геккерен, и усыновленный барон Дантес вели жизнь совершенно светскую – рассеянную. Часто посещали дома Пушкиных, Карамзиных, князя Вяземского. Но после одного из балов на минеральных водах, где были госпожа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина. Слухи эти долетели до самого Александра Сергеевича, который перестал принимать Дантеса» [33].

Пушкин всё видел и всё прекрасно понимал. Но эти чудовищные слухи сводили его с ума. Дантеса уже было не остановить. Будто нарочно, он старался появляться там, где находились Пушкины, преследуя чету, как некая зловещая тень. А так как Дантесу-Геккерену был хорошо известен круг друзей и знакомых поэта, быть «тенью» оказывалось не так уж и сложно.

Из письма Софьи Николаевны Карамзиной, 19 сентября 1836 года:

«…Среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями), мои братья, Дантес… Получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен… Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же штуки, что и прежде, – не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий…»[34]

Пушкин раздражён и даже растерян. По сути, он на грани истерики. Ведь нужно было быть просто слепцом, чтобы не замечать, как за его (его!) женой открыто волочится «какой-то шаромыжник» – то ли д'Антес, то ли Геккерн – чёрт бы их побрал, этих шельм!..

Его воротит и от друзей, и от знакомых, не говоря уж о французе. Да, он целиком и полностью доверяет своей жене, не

допуская мысли о каких-либо шашнях между Натали и этим «шаромыжником»[21]. Слухи – всего лишь слухи. Бред! Но… Но сердце вновь и вновь сжималось от стальных тисков, а голову заволакивал туман. Мука!..

И всё же Пушкин продолжает верить жене; и даже отпускает одну на балы. Хотя от этого ещё тяжелее. Ведь она не одна: где Натали – там обязательно Дантес! Петербург гудит. Всё громче и громче. А ведь для ревнивого мужа и шёпот – гудок! Колокольный звон, набат!..

От происходящего поэт лишается покоя. Волокитство французика уже всем бросалось в глаза; слыша слащавый голос ловеласа, хотелось ощущать в руке стальную рукоять пистолета. А она! Хороша кокетка! Похоже, окончательно увлеклась…

Графиня Фикельмон, январь 1837 года:

«Она веселилась от души… пока один француз по фамилии Дантес, кавалергардский офицер… не стал за ней ухаживать. Он был влюблён в течение года… живо ею восхищаясь… Но он постоянно встречал её в свете, и вскоре… стал более открыто проявлять свою любовь… То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать проявления этой необузданной любви. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность… вопреки всем светским приличиям, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине. Казалось при этом, что она бледнее и трепещет под его взглядами, но было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека и он был решителен в намерении довести ее до крайности» [35].

Вот ещё один очевидец – князь Пётр Вяземский:

«В зиму 1836–1837 года мне как-то раз случилось пройтись несколько шагов по Невскому проспекту с Н.Н. Пушкиной, сестрой её Е.Н. Гончаровой и молодым Гекерном; в эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы. Отношения Пушкина к жене были постоянно дружеские, доверчивые до конца его жизни. В реляциях отца моего к друзьям видно, что это невозмутимое спокойствие по отношению к жене и вселяло в нее ту беспечность и беззаботность, с которой она относилась к молодому Гекерну после его женитьбы» [36].

В первых числах ноября 1836 года Мария Барятинская на предложение руки и сердца ответила Дантесу отказом… [22]

* * *

Жорж Дантес был взбешён! Надо же, эта дурнушка Мари возьми и откажись… И шут бы с ней, но и с Натали – такой близкой и такой далёкой, – тоже ничего не получалось. Теперь понятно, что Пушкина просто издевалась. Лишь *кокетничала. И в то же время держала его на коротком поводке, продолжая одаривать благосклонностью. Не отталкивала – уже хорошо. Когда не отталкивают – всегда есть шанс надеяться. И француз выжидал, не стесняясь ни мужа, ни окружающих…*

В самый ответственный момент в интригу вмешался «верный друг» Геккерен-старший, взявший на себя рискованное объяснение. Произошло это в конце октября на каком-то из вечеров. Дантес в то время болел (у него было обострение плеврита), однако посланник заявил Пушкиной, что его сын «умирает из-за неё», поэтому, исходя из фабулы голландца, молодого человека следовало спасать. И чтобы это сделать, замужней даме надлежало… «изменить своему долгу».

Вмешательство посланника не было случайным. Как мы помним, он всегда появлялся в самые трудные моменты жизни «сынка» – в те самые моменты, когда вопрос можно было уладить уговорами, обещаниями, посулами, деньгами и даже угрозами. Всё это указывает лишь на одно: незадолго до этого между Дантесом и Натали произошло окончательное объяснение, точкой в котором, надо думать, стало слово «нет». Потому-то поведение посланника возмутило Наталью Николаевну до глубины души. Мало того, что посторонний человек вмешивался в личную жизнь замужней женщины, так ещё и открыто склонял её к супружеской измене! Было ещё одно: Геккерен-старший, которого знали при дворе, был чуть ли не вдвое старше Натали, и грязное предложение сильно напугало Пушкину. Она оказалась оскорблена и испугана одновременно. Женщине вдруг со всей ясностью стало понятно, в какой ловушке она оказалась. Ведь рассказать всё мужу значило бы изначально сознаться в измене, которую та не совершала! Геккерены загнали бедняжку в почти безвыходное положение. В шахматах это называется пат. Будучи опытным «шахматистом», Геккерен-старший не желал ограничиться патом: его устраивала только победа. Мат!

Наивная Натали! Она ни о чём не догадывалась. Откуда ей было знать, что произошедшее – искусно подстроенная западня…

Александр Карамзин – брату Андрею, 13 марта 1837 года:

«…Дантес был пустым мальчишкой, когда приехал сюда, забавный тем, что отсутствие образования сочеталось в нем с природным умом, а в общем – совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, он был бы добрым малым, и больше ничего; я бы не краснел, как краснею теперь, оттого, что был с ним в дружбе, – но его усыновил Геккерен, по причинам, до сих пор еще совершенно неизвестным обществу (которое мстит за это, строя предположения). Геккерен, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно умом и душой Дантеса, у которого первого было много меньше, нежели у Геккерена, а второй не было, может быть, и вовсе. Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерен сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились анонимные письма. (Если Геккерен – автор этих писем, то это с его стороны была бы жестокая и непонятная нелепость, тем не менее люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он!)» [37].

1 ноября 1836 года у Александра Пушкина было приподнятое настроение. В этот день он должен был читать друзьям готовившийся к печати свой роман «Капитанская дочка». В связи с тем, что было воскресенье, на чтении обещал присутствовать и находившийся в Царском Селе при наследнике Василий Андреевич Жуковский, друг и большой почитатель творчества поэта[23]*. Пушкину было важно услышать мнение товарищей, слишком много сил он вложил в этот роман. А потому волновался.*

Впрочем, все опасения автора оказались напрасны – роман был принят с восторгом!

П.А. Вяземский: «Пушкин читал у меня новый роман “Капитанская дочка”, повесть из времени пугачёвщины. Много интереса, движения, простоты. Он будет весь напечатан в № 4 “Современника”»[38].

Пушкин был счастлив!

Тот день станет последним счастливым днём в его жизни…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«И овцы целы, и волки сыты, было в первый раз сказано лукавым волком, или подлой овцой, или нерадивым пастухом. Счастливо то стадо, вокруг коего волки околевают с голода. […]

*Е*** говорит, что в жизни должно решиться на одно: на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты» [39].*

Считается, «точкой кипения», переполнившей чашу терпения Пушкина и заставившей его драться с Дантесом, послужило свидание его супруги с французом, якобы состоявшееся незадолго до рокового поединка. И в этой связи следует отметить два обстоятельства. Во-первых, свидание действительно имело место быть. И во-вторых, состоялось оно не накануне дуэли, а намного раньше. Мало того, даже известна дата этого свидания – 2 ноября 1836 года[40].

Произошло что-то серьёзное? Произошло. И эта тайная история напрямую связана с именем одной дамы – *Идалии Полетики*[24].

Красавица Идалия (ур. Оботей), как поговаривали, являлась побочной дочерью графа Г.А. Строганова, согрешившего в годы бурной молодости с некой Юлианой да Ега. По линии бабки она была троюродной сестрой Гончаровым, поэтому в семье Пушкиных Полетику принимали на правах своей. По крайней мере, здесь её всегда воспринимали как искреннего друга. Так было до тех пор, пока отношения между Пушкиным и Дантесом не вылились в открытую вражду. И в этом поединке Идалия Полетика выбрала сторону француза. Не исключено, чашу весов перевесило то обстоятельство, что муж последней, полковник Кавалергардского полка, являлся приятелем Дантеса. Как бы то ни было, поведение дальней родственницы очень напоминает предательство, истоки которого до конца не выяснены и поныне.

Хотя предположения имеются. Например, доподлинно известно, что, будучи неравнодушна к Пушкину, она так и не смогла стать его любовницей, в то время как Дантес, повеса, не обременённый семейными обязательствами, легко увлёк дамочку в канапе, сделав преданным союзником в борьбе с неприступной четой. И Полетика не подвела.

Месть униженной женщины порой бывает страшнее стилета. В случае с Пушкиным месть оказалась поистине фатальной…

Несмотря на то что в этой тёмной истории много неясного,

канва событий такова. Полетика пригласила Наталью Николаевну к себе на квартиру (находившуюся в казармах на территории Кавалергардского полка). Когда та явилась, хозяйки дома не оказалось, зато гостью поджидал кое-кто другой… Далее предоставим слово тем, кто знал об этом не понаслышке, а, скорее всего, от самой Пушкиной.

Из письма барона Фризенгофа (мужа сестры Натали – Александры Николаевны) от 14 марта 1887 года: «…Ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колена, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала» [41].

Почти то же самое рассказывала и княгиня В.Ф. Вяземская[25]:

«Мадам [Полетика] по настоянию Геккерна пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу [на глаз] с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастию, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней» [42].

Наталья Николаевна была настолько потрясена случившимся, что поначалу так и не решилась рассказать обо всём мужу. (Со слезами на глазах она смогла об этом сообщить по секрету лишь княгине Вяземской, а чуть позже – и сестре Александре.) Однако шила в мешке не утаишь: вскоре об этом узнал и Пушкин. Трудно передать ту бурю чувств, которая овладела рассерженным мужем. Первыми приняли удар листы писчей бумаги.

Из неотправленного письма Пушкина барону Геккерену:

«…Вы, барон, – Вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну; всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, истощенный лекарствами, вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней…»[43]

Задуманный Геккеренами «мат» сорвался. Любезность Натали быстро сменилась холодностью. Французу было указано на дверь; Пушкины прекратили все сношения с «шаромыжником». Даже в собственных глазах Дантес оказался унижен и растоптан…

До рокового вызова Дантеса оставалось три месяца…

* * *

«…Для министров (не военных), обер-камергеров, гофмаршалов, старших распорядителей, главных виночерпиев… предписанная форма платья предполагает темно-зеленое сукно с красным воротником и соответствующими манжетами. Фасон, используемый в настоящее время, имеет расшитый золотом воротник, манжеты и отделки карманов: широко для упомянутых деталей и по краям, узко на швах и фалдах; на груди вышиты узоры; золотые пуговицы с гербом.

…Для церемониймейстеров, камергеров и камер-юнкеров предписана идентичная форма, но без вышивки на швах. … Предписана каждодневная форма, со шпагой, подобная парадному мундиру, за исключением того, что вместо вышивки на груди будет столько же шевронов, сколько пуговиц, плюс еще три на рукавах и четыре на фалдах…»

Из Указа Его Императорского Величества
от 11 марта 1831 г.

Братья Аркадий и Клементий Россеты (из рассказов, записанных П.И. Бартеневым):

«В Петербурге жила некая княгиня Наталья Степановна и собирала у себя la fine de la société; но Пушкина не приглашала, находя его не совсем приличным. Пушкин об ней говорил: «Ведь она только так прикидывается, в сущности она русская труперда и толпёга; но так как она все делает по-французски, то мы будем ее звать: là princesse-tolpege[26]*»[44].*

Рассказывая о Наталье Николаевне, невозможно не сказать пару слов о её старших сёстрах – Екатерине и Александре. Так уж вышло, что именно младшенькая, Натали, первой выйдя замуж, уехала в столицу, где заблистала в Аничковом дворце. Она так приглянулась государыне (и государю), что для возможности красавицы появляться на великосветских балах её муж в декабре 1833 года был пожалован в придворное звание камер-юнкера.

Видя такое дело, сёстры Натали – Азинька и Коко – вслед за

младшенькой запросились в блистательный Петербург, где, как были уверены, их ждали не только балы, но и выгодные партии. Поэтому, несмотря на протесты строгой маменьки, засобирались к сестричке. Уже осенью 1834 года обе стрекозы поселились под одной крышей с Пушкиными.

Из воспоминаний О.С. Павлищевой (родной сестры поэта):

«…Александр представил меня своим женам: теперь у него целых три. Они красивы, его невестки, но они ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей. У нее теперь прекрасный цвет лица и она чуть пополнела: единственное, чего ей не хватало» [45].

Справедливости ради следует заметить, сёстры сильно уступали в красоте младшенькой. И если старшая, высокая и статная «южанка с чёрными волосами» вскоре будет принята во фрейлины императорского двора (правда, уже после смерти Пушкина, в 1839 году), то средняя, слегка косенькая и с восковой кожей лица в сравнении с Натали, как шептались, являла собой «нечто карикатурное».

Однако у Гончаровых имелась надёжная опора в лице их тётушки – Екатерины Ивановны Загряжской, – энергичной фрейлины Высочайшего двора, заменившей племянницам добродетельную матушку. И это не пустые слова. Достаточно прочесть одно из писем Александра Сергеевича (от 21 сентября 1835 г.), чтобы понять, какую роль Загряжская играла в доме поэта, которого финансовые издержки жены порой доводили до отчаяния: «У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Всё держится на мне да на тётке. Но ни я, ни тётка не вечны» [46].

Теперь о старшей сестре Гончаровых, Екатерине Николаевне. Будучи незамужней девицей, Коко, как звали её в семье, не была обременена никакими обязательствами, поэтому даже не находила нужным скрывать, что Дантес, с его простотой общения, шутками-прибаутками и весёлыми выходками, ей очень нравится. Игривость француза со старшей сестрой никто не воспринимал всерьёз, ведь подобным образом он вёл себя и с прочими девицами. Возможно, именно поэтому в семье просмотрели главное – зарождающиеся отношения.

Однако Александра Пушкина, как мы понимаем, волновали отношения совсем иного толка – француза и его жены; сама же Наталья Николаевна была уверена, что кроме неё, первой красавицы великосветских балов, претенденток рядом не было, не говоря уж о сестре, всегда отличавшейся целомудренностью. Но,

как говорится, и на старуху бывает проруха: Екатерина страстно влюбилась. А потом стала невольной пособницей лагеря Геккеренов. Она всячески способствовала тайным свиданиям Натали с Дантесом – и всё для того, чтобы лишний раз повидаться с предметом своей любви. И в какой-то момент флирт с французом (ни от кого не скрываемый) перерос в нечто большее, что не удалось углядеть остальным.

Впрочем, к этим отношениям нам ещё придётся вернуться…

* * *

А потом… Потом наступило 4 ноября.

Этот день стал для Пушкина самым чёрным в его недолгой жизни. По крайней мере, последний год поэта можно с полным правом разделить на период до 4 ноября и после. Тот день дал отмашку роковой дуэли…

В первой половине дня на квартиру на Мойке, 12, было доставлено три конверта без обратных адресов. Это были *анонимные письма.*

Одно из них, адресованное непосредственно Александру Сергеевичу, около девяти утра вручил хозяину письмоносец. Другое какое-то время спустя принёс посыльный от Елизаветы Михайловны Хитрово[27]*. Всеми уважаемая княгиня (к слову, одна из дочерей фельдмаршала Кутузова), получив странный конверт, тут же его вскрыла и… очень удивилась. В конверте оказался свёрнутый лист, адресованный отнюдь не ей, но А.С. Пушкину. В то утро княгиня как раз писала письмо поэту, в котором выражала собственное мнение по поводу противоречивого стихотворения «Полководец», прославлявшего героя Отечественной войны Барклая-де-Толли. И вот едва она закончила писать, как принесли злополучный конверт.*

Преданный друг поэта, княгиня каким-то шестым чувством поняла, что послание – наверняка козни недругов. Любые нападки на любимого поэта она воспринимала как атаку на себя. Женщина достаточно умная, Елизавета Михайловна вложила своё письмо вместе с листком, адресованным Пушкину, в конверт и отправила с посыльным на Мойку.

Ещё один экземпляр пасквиля в то же утро Пушкину доставил В.А. Соллогуб. 23-летний Владимир Соллогуб, начинающий писатель и чиновник в Министерстве внутренних дел, в этот день гостил у своей тётушки, Александры Ивановны Васильчиковой, на Большой Морской. Именно она, графиня Васильчикова, получила адресованное ей письмо.

– Представьте, милый друг, – рассказывала она племяннику, – я получаю сегодня утром пакет, распечатываю его, а там… там другое запечатанное письмо, на имя Александра Сергеевича Пушкина. И что, скажите на милость, мне теперь с этим письмом делать?..

Соллогуба слова тётушки сильно взволновали. Дело в том, что с Пушкиным, которого он почти боготворил, молодого графа связывало не простое знакомство. По случайному недоразумению (по крайней мере, так считал сам Соллогуб), он едва не сошёлся с «гением русской словесности» на дуэли. Причём из-за какой-то нелепости, ничего не значащих слов, сказанных молодым человеком в ответ на шутку супруги поэта, Натальи Николаевны, в адрес одной из девушек, покорившей сердце юноши.

– Давно ли вы замужем? – дерзко спросил Соллогуб Натали, давая понять, что замужней даме и самой-то чуть за двадцать.

Но потом его неожиданно понесло, и граф начал разговор о Ленском, искусном танцоре и любимом кавалере императрицы. А вот этого, по всей видимости, делать не стоило. Щепетильный Пушкин в словах сопляка усмотрел грязный намёк и вызвал того на дуэль. Позже сроки поединка были перенесены, а потом конфликт и вовсе удалось замять.

Произошло это в доме Нащокина в Москве, где Пушкин остановился на некоторое время. Когда туда из Твери специально приехал Соллогуб, в доме ещё спали. Боясь сойти за труса, встретив Пушкина, Соллогуб тут же напомнил тому о поединке и стал уточнять, кто будет секундантом поэта. Однако, перейдя к разговору о литературе, они быстро отвлеклись, и в конце разговора Пушкин сказал:

– Голубчик, неужели вы думаете, что мне так хочется стреляться? Но что делать… Я имею несчастье быть человеком публичным, а это, знаете ли, похуже, чем быть публичной женщиной…

Сошлись на том, что Пушкина устроит письмо с извинениями в адрес жены.

А потом они стали закадычными друзьями; часто гуляли по Невскому, хрустя на ходу французскими булками (к вящему удивлению местных щёголей), и разговаривали всё о том же – о литературе.

И вот Соллогуб получает загадочное письмо. Как и княгиня Хитрово, он не стал читать послание, адресованное другому лицу, а, вложив его обратно в конверт, немедленно отправился к Пушкину.

Из воспоминаний Владимира Соллогуба:

«…Я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько

содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:

– Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елисаветы Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, над безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой. Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами… Он подозревал одну даму, которую мне и назвал» [47].

Во всех трёх конвертах содержались письма одинакового содержания, написанные по-французски, нарочито изменённым почерком. Это был самый настоящий пасквиль – наглый и цинично-оскорбительный.

Вот его содержание: «Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в Великий Капитул, под председательством высокопочтенного Великого Магистра Ордена, его превосходительства Д.Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена. Непременный секретарь граф И. Борх» [48].

Вот оно как, ро-го-но-сец! Заместитель великого магистра Ордена Рогоносцев… Лучше б сразу – Ванька Каин! А то и Малюта Скуратов вкупе с палачом Сансоном… По крайней мере, было бы легче, терпимее… Ведь как он всегда презирал и смеялся (да нет – хохотал!) над всеми этими нарышкиными и борхами! Обер-егермейстер при Высочайшем дворе Дмитрий Львович Нарышкин… Его дражайшая красавица-супруга, княгиня Мария Антоновна Святополк-Четвертинская, долгие годы являлась официальной фавориткой императора Александра… Титулярный советник граф Иосиф Михайлович Борх, чиновник министерства иностранных дел, был известен тем, что свою жену, графиню Любовь Викентьевну Голынскую[28]*, совсем не любил, за что та отвечала тем же, почти открыто живя… с кучером. Не смешно ли?..*

«Историограф» Ордена… Это о ком – о нём, о Пушкине?! Удар сильный, почти хук слева, поставленный на то, чтобы даже не унизить – уничтожить! И трудился над пасквилем Враг. Изощрённый, непримиримый, низменный. Который, перед тем как нанести *смертельный удар, долго готовился. И всё же он, этот вражина, себя, несомненно, выдал. Это человек из близкого окружения; из тех, кто постоянно вертится рядом. Вертится*

ненавидя. И прекрасно знает, что Пушкин интересуется и пишет об истории. Отсюда и это – «историограф». Поэтому догадаться об авторе не составляет труда: он – тот, которого ненавидит сам адресат. Маска сброшена: Дантес!

Как выяснилось позже, подобные анонимки получили ещё как минимум четверо друзей и знакомых Пушкина – Вяземские, Карамзины, Виельгорские, братья Россеты. По убеждению неизвестного анонима, все эти люди, получив письма, должны были, как и Соллогуб, принести их конечному адресату – Пушкину. Однако каждый из них, терзаемый нехорошими предчувствиями, распечатал послание, прочёл и… оставил у себя.

Александру Сергеевичу Пушкину было нанесено публичное оскорбление. То была наглая пощёчина, осмелиться на которую, как он был уверен, мог лишь один человек – Жорж Дантес.

Вечером того же дня Пушкин отправил по почте Геккерену-младшему письмо. Он вызывал француза на дуэль…

Глава II

«…Доказывать нелепость дуэля не стоит, в теории его никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бретёров и учителей фехтования, но в практике все подчиняются ему для того, чтоб доказать, черт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца или его почётной смертью, или тем, что делает из него почетного убийцу…»

А.И. Герцен

…С юношеских лет он отличался драчливым и задиристым нравом. И ничего удивительного в том, что, став взрослым, поэт вступал в конфликты не только с теми, кто ему не нравился, но даже с близкими друзьями. Именно эта черта характера делала Александра Сергеевича этаким двуликим Янусом, в котором нежная, поэтическая душа уживалась с другой – гневливой и вспыльчивой. По той же причине после выпуска из Лицея Пушкин долго не мог решить, куда ему податься – на штатскую или военную службу. Однако муштра и подневольная жизнь, а также отсутствие на тот момент крупных военных кампаний делали военную службу малопривлекательной, поэтому с планами стать генералом пришлось распрощаться. Тем не менее это не значило, что для поэта армия являлась каким-то пустым звуком – она незримо постоянно присутствовала рядом с ним. Как минимум – в его воображении:

Мне бой знаком – люблю я звук мечей:
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.

Но по-настоящему ощутить себя военным он мог, если вдруг заваривалась серьёзная каша, связанная с личным конфликтом, решить который был способен поединок.

Дуэль – в переводе с латинского «единоборство, поединок».

Самой жестокой из всех видов европейской дуэли всегда считалась русская дуэль, получившая наибольшее распространение в России со второй половины XVIII века и прочно вошедшая в обиход российского дворянства на целое столетие.

В отличие, скажем, от французского поединка, который из-за большой барьерной дистанции в 30–40 шагов носил, скорее, ритуальный характер, русская дуэль была намного серьёзней и драматичней, а основой её являлось абсолютное равенство шансов соперников независимо от общественного положения, звания и чина. Кроме того, если в Европе оскорбленный имел кое-какие преимущества, например выбор оружия или право первого выстрела, то в России, как правило, полагались на жребий: на поле чести, у барьера, каждый имел равные права получить или дать удовлетворение своему противнику, одинаковые шансы пролить свою кровь, отстаивая честь и достоинство.

Русская дуэль – понятие особое. Поединок являлся некой конечной судебной (правильнее было бы сказать – внесудебной) инстанцией, ставившей окончательную точку над «і». В России не было судов Линча – дуэль решала то, что не мог решить ни один суд. И поединок рассматривался как элемент правосудия дворянского сословия, но никак не самосуд. Во главе угла стояла презумпция правоты: выигрывал тот, кто прав. Вина неправого смывалась кровью. Именно поэтому русская дуэль отличалась неслыханной бескомпромиссностью.

К слову, американская дуэль из-за своей безнравственности была далека от русского дуэльного кодекса. Как правило, оскорблённый соперник, желающий удовлетворения, выбирал оружие и имел право выбора некоторых условий дуэли. Получив оружие, соперники чаще всего удалялись в лес, где и начиналась смертельная охота друг на друга. Разрешалось прятаться, подстерегать противника в засаде и даже… стрелять в спину. Вот такие «правила»…

Следует заметить, в николаевской России узаконенного дуэльного кодекса как такового не существовало. Кодекс чести заключался в некой общепринятой традиции, основанной на прецедентах предыдущих поединков, с новыми поправками и дополнениями[29]*. Когда с первым европейским дуэльным кодексом ознакомились русские дуэлянты, они только рассмеялись. По их мнению, настоящим поединком в нём и не пахло: что ни строчка – то очередная насмешка над «истинными правилами», по которым стрелялись в Российской империи.*

Взять хотя бы это, основополагающее: «За одно и то же оскорбление удовлетворение можно требовать только один раз…»

Насмешка. Русские стрелялись – пока было желание и возможность. Слова смертельно раненного Пушкина при возвращении с дуэли: «Когда поправимся, начнём сначала».

Смерть в европейской дуэли изначально исключалась: «Ни в коем случае не должны секунданты предлагать дуэль “на жизнь или смерть” или соглашаться на неё». Русские покатывались с хохота: так для чего вообще стреляться?! Ведь в том-то и заключалось истинное правосудие, что правый, оставшись в живых, должен был победить. Страх быть убитым уже сам по себе являлся наказанием. А уж там – как судьбе угодно…

Вот ещё одно, связанное с европейским малодушием: «Кто выстрелил, тот должен остановиться и выждать выстрел в совершенной неподвижности».

Как бы не так! В России подобное правило соблюдалось разве что во время поединков с иностранцами. (Это условие было соблюдено при последней дуэли Пушкина с Дантесом.)

И всё же русская дуэль порой напоминала преднамеренное убийство. Так, стрелявший первым рисковал быть расстрелянным в упор. Этому способствовала одна особенность русской дуэли, согласно которой дуэлянт, имевший право на выстрел, мог подозвать выстрелившего первым (и промахнувшегося) к барьеру и пустить ему пулю буквально в лоб. Именно поэтому бретёры высокого класса никогда не стреляли первыми. Так поступали самые хладнокровные, к коим относился и Пушкин. Правда, поэт вместо выстрела частенько отхлёстывал соперника колкой эпиграммой…

В Европе, как уже было сказано, стрелялись с 30–40 шагов. Но опять же – только не русские! В Петербурге открыто смеялись над французами и обычно стрелялись с 8–10 шагов, причём до результата – ранения или смерти. Если отдельные безумцы хотели умереть с особым шиком, они выбирали наиболее отчаянный вид русской дуэли – через платок: противники брались свободной рукой за два противоположных конца обычного платка, по жребию выбирали пистолеты, один из которых был заряжен, другой – нет. Потом отдалялись друг от друга на максимально возможное расстояние (как правило, не более 3 шагов) и по команде нажимали на курок. По сути, такой поединок – разновидность «русской рулетки». В народе это называлось «приставить пистолет ко лбу». Правда, подобным образом стрелялись не так уж часто (и это понятно, ведь как минимум один из дуэлянтов оказывался убитым), зато стреляться с тридцати шагов считалось совсем уж последним делом; такие «дуэлянты» удостаивались насмешек.

Но главное отличие европейской и русской дуэлей заключалось

всё же в другом. Европейцы рассматривали поединок как демонстрацию готовности к смерти, в то время как для русских это была реальная готовность умереть. Как результат – показатель дуэльной смертности. Так, в тридцатые-сороковые годы во Франции в результате поединка ежегодно гибло не более шести человек [1]. В России – десятки погибших (Пушкин и Лермонтов в их числе). Для европейца погибнуть на дуэли считалось фатальной случайностью; а вот для русского выжить было большой удачей. И в этом, пожалуй, основное отличие европейского поединка от отечественного…

* * *

Наивно было бы полагать, что русская дуль была схожа чуть ли не с кулачным боем, где всё решали ловкость, хитрость, изворотливость и, конечно, физическая сила. Ничего подобного! Общих правил, принятых в Европе, придерживались и в России.

Как писал военный следователь русской императорской армии полковник П.А. Швейковский, «*поединок есть условленный бой между двумя лицами смертоносным оружием для удовлетворения поруганной чести, с соблюдением известных установленных обычаем условий относительно места, времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя» [2].*

Такое определение подчёркивало следующие условия поединка.

Во-первых, поединок по своей сути являлся следствием взаимного соглашения, своего рода договора сторон, когда одна из них предъявляла вызов, другая этот вызов принимала.

Во-вторых, поединок – это бой, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, во время которого противники обменивались ударами (в случае с холодным оружием) или выстрелами. Даже если выстрел следовал лишь с одной стороны (когда, к примеру, у противника пистолет давал осечку), дуэль, как правило, считалась состоявшейся. «Этим условием боя дуэль, в тесном смысле слова, отличается от пари на смерть, от смерти по жребию и т. д.», – пояснял П.А. Швейковский [3].

В-третьих, дуэль подразумевала единоборство (что звучит уже в самом названии поединка) между двумя лицами, один на один, при равенстве шансов каждой из сторон. Последнее означало равенство оружия (его одинаковость) и правил нападения и защиты (одинаковость опасности). Стрелялись за кого-то в исключительных случаях – когда вызываемый был серьёзно болен или находился в преклонном возрасте.

В-четвёртых, если целью дуэли являлось удовлетворение

поруганной чести, то средством – смертоносное оружие. И это понятно: отсутствие такого оружия дискредитировало бы дуэль как понятие. Предпочтение отдавали так называемому благородному оружию, к каковым из огнестрельных причислялся гладкоствольный пистолет, а из холодных – сабля, шпага, шашка или палаш.

В-пятых, вызов (устный или письменный) обычно делался через третьих лиц – так называемых секундантов. По французским обычаям, дуэль без свидетелей вообще не считалась таковой [4]. В секунданты избирались лица, не имеющие никакого отношения к скандальному делу, послужившему поводом к поединку; то были пользовавшиеся всеобщим уважением люди. Они же вели переговоры, занимались примирением сторон и распоряжались ходом поединка. К слову, ближайшие родственники не могли быть секундантами.

Секунданты определяли время и обозначали место поединка. Они же заряжали оружие; причём на месте поединка обязательно свидетельствовали это оружие. Потом бросали жребий на оружие и место у барьера. В их же ведении было удостовериться в наличии или отсутствии на груди у противника «предмета, могущего парализовать удар или оказать сопротивление пуле».

Категория лиц, не имевшая права принять участие в поединке: простолюдины, скомпрометировавшие себя ранее лица (шулеры, а также те, кто когда-либо отказался от дуэли), умалишённые, несовершеннолетние…

Были ещё моменты. Так, опоздание к месту поединка могло рассматриваться другой стороной либо как проявление неуважения, либо – неприкрытой трусости. Поэтому стороны были обязаны прибыть к месту дуэли вовремя. Промедление более 15 минут сверх назначенного срока расценивалось как уклонение от поединка, о чём секунданты составляли соответствующий протокол.

Уклонившийся от дуэли уже не мог считать себя «человеком чести». И вход в определённые круги такому был заказан…

«Я ненавижу дуэли, – говорил Николай I. – Это варварство; на мой взгляд, в них нет ничего рыцарского». Надо думать, император в своих словах был искренен: дуэли он ненавидел. И этому имелась своя причина. Личная. Честь офицера и просто порядочного человека в глазах царя была ничем в сравнении с личной преданностью трону вообще и Его Императорскому высочеству в частности. По крайней мере, для Николая это являлось главным. Что до остального – честь, совесть, общественное мнение, – всё это рассматривалось не более чем сантименты…

В 1829 году император официально ликвидировал полномочия офицерских собраний выносить приговоры по делам чести. Суд чести офицеров как таковой канул в Лету. Наступала новая эра – Эра Вседозволенности. Для русского офицерства это означало только одно: любой, совершивший низкий поступок в глазах другого, мог безнаказанно увернуться, оставшись при своём мнении. Дуэль как способ наказания стремительно теряла своё нравственно-воспитательное значение. И тем значимее становилась в обществе.

Сойтись на поединке для русского офицера (и любого порядочного дворянина) являлось не просто поступком, но делом чести, ради которого человек был готов не просто рискнуть, но и сложить голову. И клали! Сотни дворянских сынов из уважаемых семей – Васильчиковы, Воронцовы, Гагарины, Голицыны, Репнины, Толстые… Сколько их полегло не на поле брани, а у дуэльных барьеров! Но иначе они не могли. То была обратная сторона общественного положения: честь требовала жертвы. Кодекс чести чтился превыше всего! Уклонившихся от поединка в русском обществе не то что не уважали – частенько таким и руки не подавали. Свою честь следовало отстаивать у барьера…

* * *

Император Николай Павлович не случайно ненавидел дуэли: таким образом он защищал от нелепой смерти не только офицерские ряды, но и членов собственной семьи – наследников и великих князей. Ведь с каждым из них по причине неприязни к царской фамилии можно было вполне «легально» разделаться, вызвав на поединок. Чтобы этого не произошло, Николай категорически запретил цесаревичу и всем родственникам принимать вызовы на дуэли. Именно поэтому отказ любого из Романовых от поединка не считался актом бесчестия, связанным со слабодушием или трусостью.

Правила в августейшей семействе были просты: каждый должен был вести себя с приближёнными и прочими подданными так, чтобы ни у кого даже не возникло мысли дерзнуть прислать вызов. На деле же происходило проще – вспыхнувший инцидент тут же заминался. С годами всё это вылилось в хорошо усвоенные правила приличия: Романовых не вызывать!

Но даже при таком положении вещей случались досадные ситуации. В январе 1869 года, уже в бытность императором сына Николая – Александра II, – произошёл неприятный инцидент.

В Петербург из Америки вернулись офицеры Главного артиллерийского управления подполковник Александр Павлович Горлов и поручик Карл Иванович Гуниус, привезшие образцы ружей, сконструированных оружейником Берданом (знаменитые впоследствии «берданки»). Тогда же они были вызваны на доклад к молодому цесаревичу (речь о будущем царе Александре III). Ружья наследнику не понравились, поэтому он разнёс обоих экспертов. Когда поручик Гуниус попытался было возразить Александру (а уж он-то знал толк в оружии!), тот грубо обругал подчинённого. Откланявшись, офицеры покинули дворец.

Выпускник Михайловского артиллерийского училища и боевой офицер, воевавший против горцев на Кавказе, Гуниус не смог стерпеть обиды. Вскоре цесаревич получил письмо, в котором поручик просил того принести извинения за свою несдержанность. В противном случае, говорилось в послании, не имея возможности вызвать обидчика на дуэль, отправитель письма вынужден будет покончить с собой. Ответа от наследника не последовало. Через двадцать четыре часа поручик Гуниус застрелился.

Император был не на шутку разгневан! Он потребовал от сына публичных извинений семье погибшего, а также приказал тому сопровождать тело погибшего офицера вместе с траурной церемонией до самого кладбища. Приказ отца Александр Александрович исполнил в точности.

Урок не прошёл даром. В последующем «царь-миротворец» вёл себя с подчинёнными более сдержанно; по крайней мере, старался не оскорблять и не унижать своих подданных…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Мало иметь хорошее ружье, порох и свинец; нужно еще уметь стрелять и метко попадать в цель. Мало автору иметь ум, сведения и охоту писать; нужно еще искусство писать. Писатель без слога – стрелок, не попадающий в цель. Сколько умных людей, которых ум притупляется о перо. У иного зуб остер на словах; на бумаге он беззубый. Иной в разговоре уносит вас в поток живости своей; тот же на бумаге за душу вас тянет. Шаховский, когда хочет вас укусить, только что замуслит» [5].

Александр Сергеевич Пушкин к поединкам относился с исключительным «пиететом»: поэт верил в их справедливый вердикт. Если проследить его путь от Лицея до Кишинёва, то

поединки в жизни юного дарования сопутствовали ему достаточно часто. Исследователи творчества Александра Сергеевича считают, что поэт мог погибнуть гораздо раньше – лет в двадцать; и всё потому, что поединки будто притягивали этого человека. Как-то он вызвал своего товарища, Вилли Кюхельбекера[30]*. Причиной ссоры явилось безобидное на первый взгляд четверостишие:*

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно…
И стало мне, мои друзья,
Так кюхельбекерно, так тошно.

Произошло это в восемнадцатом, когда оба поэта были молоды и горячи. Стрелялись на Волковом поле, то ли у кладбищенской сторожки, то ли в полуразрушенном фамильном склепе. Секундантом Кюхельбекера был Антон Дельвиг. Нелепая история, когда по разным сторонам барьера оказались товарищи. «Кюхля» стрелял первым. Когда он стал целиться, Пушкин крикнул:

– Дельвиг, стань на мое место, здесь безопаснее!..

Кюхельбекер разнервничался, рука его дрогнула, он промахнулся.

Одарив друга острой эпиграммой, поэт бросил пистолет и пошёл обниматься. Но «Кюхля» сердито увернулся:

– Стреляй, давай! Стреляй!.. – возмутился он.

Пушкину убивать друга, конечно же, не хотелось. С помощью секундантов насилу удалось убедить упрямца, что в ствол пистолета набился снег. С тем и разошлись…

Зато ссора в театре с неким майором Денисевичем едва не закончилась реальным поединком. Но и тут пронесло: в последний момент военный, как ни странно, проявил слабость и в присутствии двух секундантов отозвал свой вызов обратно.

«У Пушкина каждый день дуэли», – писала в марте 1820 года Вяземскому Е.А. Карамзина, явно преувеличивая. Тем не менее – не бывает дыма без огня…

В 1817 году известный дипломат и литератор Александр Грибоедов оказался втянут в неприятную и громкую историю, связанную с дуэлью, которую позже назовут «четверной». Для самого писателя история оказалась особенно неприятной потому, что именно он стал причиной возникновения скандала.

Прелюдия такова. Дипломат как-то привёз на квартиру своего приятеля графа Завадовского некую танцовщицу Истомину.

Девица провела в доме графа не час и не два, а целых двое суток, что, в общем-то, являлось вполне обычным делом в отношениях между молоденькими актрисками и их покровителями не самой первой свежести. И всё бы ничего, если бы эта самая танцовщица не имела ревнивого любовника в лице Василия Шереметева, штабс-ротмистра Кавалергардского полка. Познав о связи Истоминой с Завадовским, Шереметев вызвал графа на дуэль. Секундантом Завадовского вызвался Грибоедов, Шереметева – некто Александр Якубович, корнет лейб-уланского полка.

Как вспоминал свидетель дуэли, доктор Ион, «Грибоедов и не думал ухаживать за Истоминой и метить на ее благосклонность, а обходился с ней запросто, по-приятельски и короткому знакомству. Переехавши к Завадовскому, Грибоедов после представления взял по старой памяти Истомину в свою карету и увез к себе, в дом Завадовского. Как в этот же вечер пронюхал некто Якубович, храброе и буйное животное, этого не знают. Только Якубович толкнулся сейчас же к Васе Шереметеву и донес ему о случившемся…»

Условия дуэли были жесточайшими. С самого начала стало ясно, что поединок будет фатальным и закончится трагически.

Из воспоминаний доктора Иона:

«Барьер был на 12 шагах. Первый стрелял Шереметев и слегка оцарапал Завадовского: пуля пробила борт сюртука около мышки. По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться к дулу противника… Он подошел. Тогда многие стали довольно громко просить Завадовского, чтобы он пощадил жизнь Шереметеву.

– Я буду стрелять в ногу, – сказал Завадовский.

– Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя, – сказал ему Шереметев, услышав эти переговоры. – Зарядите мои пистолеты, – прибавил он, обращаясь к своему секунданту.

Завадовскому оставалось только честно стрелять по Шереметеву. Он выстрелил, пуля пробила бок и прошла через живот, только не навылет, а остановилась в другом боку. Шереметев навзничь упал на снег и стал нырять по снегу, как рыба. Видеть его было жалко. Но к этой печальной сцене примешалась черта самая комическая. Из числа присутствующих при дуэли был Каверин, красавец, пьяница, шалун и такой сорви-голова и бретёр, каких мало… Когда Шереметев упал и стал в конвульсиях нырять по снегу, Каверин подошел и сказал ему прехладнокровно:

– Вот те, Васька, и редька!» [6].

Но на этом, как оказалось, история не закончилась. Ведь в деле

с Истоминой были замешаны двое: один (Грибоедов) привёз танцовщицу, другой (Завадовский) с ней развлекался. Поэтому ещё до первой дуэли (Завадовского с Шереметевым) было решено, что будут драться и секунданты. Отсюда и название – «четверная дуэль».

Однако с этим поединком пришлось повременить. Петербургская дуэль закончилась трагически. Смертельно раненного поручика Шереметева пришлось везти в город (через сутки он скончается). Увидев умирающего товарища, Якубович стреляться отказался, тем более что следовало немедленно сопровождать раненого.

Продолжение «четверной дуэли» состоялось лишь в следующем году, в Грузии, куда разжалованный Якубович был выслан за тот самый поединок (после тяжёлого ранения товарища с досады выстрелил по Завадовскому, прострелив тому шляпу). Там-то он вновь и встретил Грибоедова. Ненависть офицера за погибшего товарища была столь велика, что он решил выместить её на секунданте. И Александр Сергеевич понимал, что поединок для него может закончиться весьма плачевно – если не смертью, то уж тяжёлым увечьем точно.

«Это был замечательный тип военного человека, – вспоминал о Якубовиче Пётр Каратыгин[31]*. – Он был высокого роста, смуглое его лицо имело какое-то свирепое выражение; большие черные навыкате глаза, словно налитые кровью, сросшиеся густые брови; огромные усы, коротко остриженные волосы и черная повязка на лбу, которую он постоянно носил в это время, придавали его физиономии какое-то мрачное и вместе с тем поэтическое значение» [7].*

Поначалу стреляться собирались без секундантов. Якубович попросил своих товарищей, Муравьёва и Унгерна, быть просто свидетелями: во-первых, засвидетельствовать ход дуэли; а во-вторых, в случае необходимости оказать помощь раненому. Было ещё третье: раз поединок планировался «до крови», в таком случае наказанию могли быть подвержены как дуэлянты, так и секунданты. А при официальном отсутствии таковых их нельзя было наказать. Однако под давлением секунданта Грибоедова, его сослуживца Амбургера, условия дуэли были изменены: секундантом Якубовича стал Муравьёв.

Николай Муравьёв[32]*: «Я предлагал драться у Якубовича на квартире, с шестью шагами между барьерами и с одним шагом назад для каждого; но секундант Грибоедова на то не согласился, говоря, что Якубович, может, приметался уже стрелять в своей комнате… 23-го я встал рано и поехал за селение Куки отыскивать удобного места для поединка. Я нашел Татарскую*

могилу, мимо которой шла дорога в Кахетию; у сей дороги был овраг, в котором можно было хорошо скрыться. Тут я назначил быть поединку. Я воротился к Грибоедову в трактир, где он остановился, сказал Амбургеру, чтобы они не выезжали прежде моего возвращения к ним, вымерил с ним количество пороху, которое должно было положить в пистолеты, и пошел к Якубовичу… Мы назначили барьеры, зарядили пистолеты и, поставя ратоборцев, удалились на несколько шагов. Они были без сюртуков. Якубович тотчас подвинулся к своему барьеру смелым шагом и дожидался выстрела Грибоедова. Грибоедов подвинулся на два шага; они постояли одну минуту в сем положении. Наконец Якубович, вышедши из терпения, выстрелил. Он метил в ногу, потому что не хотел убить Грибоедова, но пуля попала ему в левую кисть руки. Грибоедов приподнял окровавленную руку свою, показал ее нам и навел пистолет на Якубовича. Он имел все право подвинуться к барьеру, но, приметя, что Якубович метил ему в ногу, он не захотел воспользоваться предстоящим ему преимуществом: он не подвинулся и выстрелил. Пуля пролетела у Якубовича под самым затылком и ударилась в землю; она так близко пролетела, что Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел на свою руку, – однако крови не было» [8].

Как позже признается сам Грибоедов, намерения прострелить голову соперника у него вовсе не было; он пытался поразить плечо Якубовича, в которое и целился. Но, как известно, «пуля-дура», поэтому недруг лишь чудом избежал смерти.

«Свою» пулю Александр Якубович словит позже, во время столкновения с горцами на Кавказе: «пуля, ударив в лоб, прошла над правым глазом через весь череп». Однополчане поначалу думали, что смельчака убило наповал, однако тот чудесным образом выжил.

Всеобщую же известность этот человек получит не как секундант и нашумевший дуэлянт, но как заговорщик, якобы планировавший покушение на самодержца (на деле же Якубович оказался не более чем болтливым рассказчиком с богатым воображением). Финал прозаичен: сибирская каторга и бесславная смерть…

Известно, что Пушкин встречался с Грибоедовым и долго с ним беседовал. Говорили они и о нашумевшей «четверной дуэли». Именно эти беседы изменили отношение поэта к Якубовичу, который ранее представлялся ему в романтическом ореоле.

После трагической гибели в 1829 году в Тегеране

дипломатической миссии во главе с А.С. Грибоедовым Пушкину суждено будет встретить скорбную процессию, сопровождавшую тело дипломата в Петербург. Вскоре после этого появятся первые наброски пушкинского «Выстрела», где один из героев будет очень напоминать Якубовича.

Дуэль и дуэльный кодекс постепенно занимают важное место в жизни и творчестве писателя. «Дуэль – возмездие, дуэль – наказание» и есть жизненное кредо самого Пушкина.

* * *

В девятнадцатом поэт вызвал на дуэль лицейского приятеля барона Модеста Корфа, к тому времени – служащего по министерству юстиции[33]. Корф всегда относился к Пушкину с некой почтительной осторожностью. И его воспоминания об однокашнике говорят сами за себя:

«Вспыльчивый до бешенства, с необузданными африканскими (как его происхождение по матери) страстями, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу, Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении. Беседы ровной, систематической, связной у него совсем не было; были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это только изредка и урывками, большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания» [9].

В этот раз причина, на первый взгляд, была никчемная: Никита Козлов, слуга поэта, напившись в стельку, в прихожей Корфа учинил скандал и разодрался с камердинером хозяина, за что последний, дабы не буянил почём зря, дебошира хорошенько отмутузил. Козлов пожаловался Пушкину. Поэт вспылил и предложил барону разобраться у барьера. В ответ Корф заметил:

– Вашего вызова из-за такой безделицы не принимаю. И не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер…

Пушкин оскорбился ещё больше, но потом они всё-таки помирились…

У Пушкина было своё собственное видение чести русского дворянина. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с одним его письмом, адресованным некоему г-ну Дегильи, уклонившемуся от дуэли. Вчитаемся, постараемся в каждой строке письма

разглядеть нечто большее, нежели простое обращение к трусоватому французу:

«К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера. Недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую.

Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта.

Все, что случилось, я предвидел заранее и жалею, что не побился об заклад.

Теперь все кончено, но берегитесь.

Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете.

Пушкин. 6 июня 1821.

Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли».

Всё ясно, настоящий дворянин никогда не станет уклоняться от поединка. Подобное – прерогатива исключительно труса. В этом-то, по мнению поэта, и заключался внутренний стержень «истинного дворянина», человека чести. И он, этот стержень, есть право дворянина: вопреки государственным запретам иметь возможность вызвать на дуэль другого дворянина. Таким образом, человек чести имел право на дуэль и не мел такого права от неё уклониться. Сказанное – квинтэссенция дуэльного кодекса русского дворянина, или человека чести, которым руководствовался Александр Пушкин.

Право дуэли уравнивало богатого и бедного, знатного и не очень, генерала и поручика, министра и простого чиновника. При условии, что каждый из них дворянин.

«Право на поединок, – писал Я. Гордин, – стало для русского дворянина свидетельством его человеческого раскрепощения. Право на поединок стало правом самому решать – пускай ценой жизни – свою судьбу. Право на поединок стало мерилом… общественной ценности личности. Оказалось, что для нового типа дворянина самоуважение важнее жизни. […] Право на дуэль всю жизнь оставалось для Пушкина гарантией окончательной независимости, последней, но незыблемой опорой… Дуэль оказалась для Пушкина узаконенной требованиями чести формой мятежа с оружием в руках» [10].

Для чего Пушкину нужны были все те никчемные, на первый взгляд, дуэли? Ведь он никого не убил. И даже (кроме Дантеса) никого не ранил! Хотя в двадцатые годы между Пушкиным-

бретёром и Пушкиным-поэтом знавшие его смело ставили знак равенства. Отгадка проста: Пушкин-дворянин стремился защитить в себе человека «дворянского авангарда». Первый поэт России не мог быть дворянином-посредственностью. Первый поэт обязан был быть человеком чести.

Ничтожного камер-юнкера мог обидеть каждый. А вот Пушкина – далеко не любой. Мало того, многие его откровенно побаивались. Ничего удивительного: ведь трусливый и подлый сильно рисковал быть вызванным к барьеру. А русская дуэль, как мы теперь понимаем, требовала людей особого свойства, коих с каждым годом становилось всё меньше и меньше. Общество тянется к некоему стандарту, и его зачастую раздражают бунтари и всякого рода гордецы-одиночки, для которых понятия «достоинство» и «честь» не пустые слова. Гораздо проще было иметь дело с теми, кто попроще и для которых вызов на дуэль считался почти самодурством.

Для Пушкина же дуэль с годами стала своего рода способом выражения борьбы со всем несправедливым и подлым. «Этому малому – умереть на дуэли», – шептались за спиной современники. И об этих перешёптываниях поэт прекрасно знал. Как знал и другое, о чём прочие даже не догадывались: умереть на дуэли являлось его самой заветной мечтой…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«В одно из своих странствований по России Пушкин остановился обедать на почтовой станции в какой-то деревне. Во время обеда является барышня очень приличной наружности. Она говорит ему, что, узнав случайно о проезде великого нашего поэта, не могла удержаться от желания познакомиться с ним, отпуская различные приветствия, похвальные и восторженные.

Пушкин слушает их с удовольствием и сам с нею любезничает. На прощанье барышня подает ему вязанный ею кошелек и просит принять его на память о неожиданной их встрече. После обеда Пушкин садится опять в коляску; но не успел он еще выехать из селения, как догоняет его кучер верхом, останавливает коляску и говорит Пушкину, что барышня просит его заплатить ей десять рублей за купленный им у нее кошелек. Пушкин, заливаясь звонким своим смехом, любил рассказывать этот случай авторского разочарования» [11].

В двадцатом состоялась дуэль поэта с Кондратием Рылеевым,

к слову, тоже поэтом[34]*. Инициатором поединка явился Пушкин, воспринявший близко к сердцу слух (пущенный графом Фёдором Толстым), будто «Пушкина высекли в Тайной Канцелярии за оскорбление Государя в стихах». А Рылеев имел неосторожность повторить это в одной из светских гостиных.*

Стрелялись с дистанции в пятнадцать шагов. Оба сильно нервничали, особенно Рылеев. Он и выстрелил первым, но промахнулся. Прицелившись в товарища по перу, Пушкин вдруг поймал себя на мысли, что, нажми он на курок, и противник будет повержен. После чего демонстративно… выстрелил в воздух. Расстались довольно холодно.

Один их канонов дуэльного кодекса гласит: «Если кто-либо из дуэлянтов, выстрелив в воздух, успеет это сделать до выстрела своего противника, то он считается уклонившимся от дуэли».

Как видим, от дуэлянта требовалось много выдержки и самообладания. Выстрел в воздух мог обернуться большими неприятностями: бравировавший у барьера по-настоящему рисковал жизнью. Не каждый, над чьей головой пролетала пуля, находил в себе силы не отвечать на выстрел, стреляя в воздух.

Александр Бестужев-Марлинский считался признанным «дуэлянтом чести». Было время, его имя гремело по всей империи. Этот бретёр мог вызвать на дуэль из-за сущей безделицы, пустяка. Например, за неосторожно брошенное в свой адрес слово, не говоря уж об откровенном хамстве или прилюдном оскорблении. Тем не менее во время поединка этот сорвиголова вёл себя столь отважно, что иногда казалось, будто своя жизнь для него ничего не значила. По крайней мере, в трёх дуэлях с участием Бестужева после выстрелов противников он отстрелялся в воздух.

Пушкин Бестужевым восторгался! По мнению поэта, такие люди являлись олицетворением кодекса чести, следовать которому надлежало каждому дворянину. Стоит ли говорить, что этот знаток русской дуэли частенько выступал в роли секунданта в поединках, где стрелялись другие.

Очень часто дуэль проявляла истинный характер человека, выставляя напоказ как благородство, так и самые низменные качества.

19 марта 1820 года у барьера сошлись будущий декабрист и герой романа Дюма «Учитель фехтования» корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка Иван Анненков с корнетом лейб-Гусарского полка Владимиром Ланским. Во время бала кавалергард-повеса ради озорства надумал приударить за молоденькой женой Ланского. Последний, возмущённый нахальством «сопляка», вызвал

Анненкова на дуэль. Дело не стали откладывать в долгий ящик, решив драться прямо в парке за домом.

Первым стрелял обиженный муж, для которого поединок являлся справедливым актом отстаивания семейной чести. Ничего удивительного, что Ланской выстрелил в воздух, ожидая точно таких же действий и от своего противника. Однако Анненков повёл себя совсем не так, как того ожидали соперник и секунданты: встав к барьеру, он, вытянув руку с пистолетом, долго прицеливался, а потом нажал на курок. Через минуту двадцатилетний Ланской был мёртв. Кавалергард же спокойно покинул место дуэли.

Примечательно, что убийца за своё преступление (будем называть вещи своими именами) не понёс никакого серьёзного наказания. Впрочем, сам Анненков воспринял три месяца гауптвахты как личную обиду на власть, примкнув к декабристам. К слову, четыре года спустя на дуэли погибнет младший брат Ивана Анненкова, Григорий, смерть которого старший не раз называл отмщением свыше за убийство Ланского…

* * *

Начало девятнадцатого века ознаменовалось дуэлями, связанными с семейными делами, называемыми *«жениховскими». Суть этих поединков в следующем: когда посватавшийся жених по той или иной причине увиливал от брака, рискуя нанести серьёзный репутационный урон девице, на которой накануне собирался жениться, в ответ на подобную дерзость честь семьи отстаивал кто-либо из ближайших родственников невесты, как правило, один из братьев.*

Подобные дуэли отличались неслыханной жестокостью: стрелялись, как правило, до серьёзного ранения, чаще – со смертельным исходом. Причина такой жестокости вполне объяснима: бескровный исход дуэли не решал проблемы.

Бестужев-Марлинский был секундантом в «жениховской» дуэли Кондратия Рылеева с женишком своей сестры. По-видимому, молодой повеса после помолвки попытался уклониться от обязательств. Это и возмутило Рылеева.

Из воспоминаний брата Бестужева – Михаила:

«Дуэль была ожесточенная, на близкой дистанции. Пуля Рылеева ударила в ствол пистолета противника и отклонила выстрел, направленный прямо в лоб Рылееву, в пятку ноги» [12].

К счастью, оба дуэлянта остались живы.

Ещё один пример «жениховской» дуэли.

В декабре 1807 года стрелялись лейб-гвардии Преображенского полка полковник Дмитрий Арсеньев и граф Хрептович. Известный храбрец и герой войн, егерский полковник Арсеньев посватался к фрейлине великой княгини Анны Федоровны Каролине Марии фон Ренни, которая, ответив взаимностью, дала своё согласие на женитьбу. Следует заметить, полковник, помимо храбрости, мог предложить невесте разве что ещё личную порядочность – не более. Потому как, будучи горд и честен и отличаясь скромностью в быту, за душой ничего не имел.

И вот незадолго до назначенной свадьбы девушке делает предложение другой претендент – богатый польский аристократ, некто Хрептович. Девица Ренни и рада бы дать поляку от ворот поворот, но расчётливая мать убеждает её отказать Арсеньеву в своей руке и принять предложение Хрептовича. В результате Арсеньев вызвал Хрептовича на дуэль.

Секундантом у Арсеньева был граф М.С. Воронцов. В жесточайшем поединке Дмитрий Арсеньев погиб на месте. Петербург был потрясён! Прежде всего произошедшей несправедливостью. Никто не сомневался, что полковник был прав, тем не менее дуэльная рулетка оказалась слепой и жестокой. Хоронили погибшего в присутствии многочисленной молодёжи, открыто осуждавшей «хладнокровного убийцу». Хрептовичу оставалось лишь по-тихому убраться из столицы…

А произошло следующее: несмотря на гибель, Арсеньев вышел победителем, так как его противник оказался опозоренным. И такие дуэли – ради обесчещения недруга даже путём собственной гибели – окажутся очень популярными в России. Подобная идейность делала русскую дуэль как жестокой, так и справедливой; её непредсказуемость превращала поединок в серьёзное испытание…

* * *

В январе 1822 года Пушкина вызвал к барьеру полковник Семён Старов. Повод: «хамство», увиденное офицером в поступке молоденького поэта, поменявшего на танцах заказанную каким-то подпоручиком кадриль на мазурку. За своего подчинённого вступился сам командир 33-го егерского полка, в отношении которого поэт повёл себя довольно дерзко, что и привело к ссоре.

Боевой офицер, участник Отечественной войны, Старов был серьёзным противником, тем более что за его плечами насчитывался не один кровавый поединок. Условия дуэли

определили нешуточными: стреляться до результата. Последнее означало тяжёлое ранение или гибель одного из соперников.

Из воспоминаний генерала Липранди:

«Погода была ужасная; метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета, и к этому довольно морозно… Первый барьер был на шестнадцать шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже и просил поспешить зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: "И гораздо лучше, а то холодно". Предложение секундантов прекратить было обоими отвергнуто. Мороз с ветром… затруднял движение пальцев при заряжании. Барьер был определен на двенадцать шагов, и опять два промаха. Оба противника хотели продолжать, сблизив барьер; но секунданты решительно воспротивились, и так как нельзя было помирить их, то поединок был отложен до прекращения метели» [13].

Решено было продолжить в зале дворянского клуба, но стараниями секундантов дело удалось уладить миром. Пушкин был страшно недоволен. Единственным утешением для него стали слова полковника о том, что его противник «так же хорошо стоял под пулями, как хорошо пишет…»

Следует отдать должное Пушкину, хладнокровия и выдержки ему было не занимать. И в этом проявлялся сильный характер. Лучше всех рассказал об этом всё тот же Иван Петрович Липранди:

«Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертию, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью, при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным, как лед. На моем веку, в бурное время до 1820 года, мне случалось не только видеть множество таких встреч, но не раз и самому находиться в таком положении, а подобной натуры, как у Пушкина, в таких случаях я встречал очень немного» [14].

Как закончил известный бретёр и «человек чести» Кондратий Рылеев, хорошо известно – виселицей в составе пяти организаторов декабрьского восстания 1825 года. Однако незадолго до казни, в сентябре того же года, Рылеев в очередной раз заставил говорить о себе весь Петербург, приняв участие в нашумевшей дуэли.

Сестра подпоручика Семёновского полка Константина Чернова Екатерина влюбилась во флигель-адъютанта Владимира

Новосильцева. Как и положено, после определённого периода ухаживания молодой человек просил руки девушки у её родителей (к слову, отец Катеньки был генерал-майором); те дали своё отеческое благословение. О сватовстве Новосильцева заговорили в обществе. Дело шло к свадьбе, когда вдруг заупрямилась матушка жениха, строгая графиня Екатерина Владимировна (из рода Орловых), заявившая, что брать в снохи незавидную невесту не намерена. Да и если пройтись по родословной, наставляла она сына, эта Чернова не чета нам, Новосильцевым! Молодой граф матушку почитал, а потому был вынужден пойти на попятную.

«Оба были юноши с небольшим 20-ти лет, но каждый из них был поставлен на двух, почти противоположных, ступенях общества, – писал князь Е.П. Оболенский. – Новосильцев – потомок Орловых, по богатству, родству и связям принадлежал к высшей аристократии. Чернов, сын бедной помещицы Аграфены Ивановны Черновой, жившей вблизи села Рождествена в маленькой своей деревушке, принадлежал к разряду тех офицеров, которые, получив образование в кадетском корпусе, выходят в армию. Переводом своим в гвардию он был обязан новому составу лейб-гвардии Семёновского полка, в который вошло по целому баталиону из полков: императора австрийского, короля прусского и графа Аракчеева» [15].

Чернов-младший воспринял поведение Новосильцева явным оскорблением их семьи и вызвал графа на дуэль. Однако тот вызов отклонил, объявив Чернову в присутствии военного генерал-губернатора и некоторых известных особ, что никогда не оставлял намерения жениться на Екатерине. Чернову же ничего не оставалось, как извиниться за свои сомнения в честности графа. В то же время графиня Новосильцева письменно изъявила родителям Чернова согласие на брак своего сына с их дочерью.

Тем не менее дело шло к разрыву. Воспользовавшись своими связями, Новосильцев обратился к фельдмаршалу Сакену, который принудил отца девушки, генерала Чернова, жениху отказать, дабы скандал не вышел за рамки приличия. Однако через какое-то время уже сам Новосильцев вызвал Чернова на поединок, обвинив последнего в распространении слухов относительно насильственного принуждения жениться. Чернов возмутился; Новосильцев же объявил при посредниках, что он женится-таки на его сестре. Но теперь уже Черновы не желали Новосильцева видеть своим зятем. Узнав о письменном отказе отца (как мы помним, под давлением начальства), подпоручик Чернов сделал Новосильцеву повторный вызов, который был принят.

Чернов являлся двоюродным братом Кондратия Рылеева; кроме того, в его друзьях значился и другой известный бретёр –

Александр Бестужев. Ничего удивительного, что эти двое с огромным энтузиазмом взялись за организацию «справедливого» боя. Узнав о предстоящем поединке, в дело вмешался московский генерал-губернатор, после чего дуэль была расстроена. Правда, ненадолго.

Дуэль была назначена на 10 сентября, в шесть утра, на пистолетах, за Выборгской заставой.

Условия поединка, как и следовало ожидать, были очень жёсткими:

«Мы, секунданты нижеподписавшиеся, условились:

1) Стреляться на барьер, дистанция восемь шагов, с расходом по пяти.

2) Дуэль кончается первою раною при четном выстреле; в противном случае, если раненый сохранил заряд, то имеет право стрелять, хотя лежащий, если же того сделать будет не в силах, то поединок полагается вовсе и навсегда прекращенным.

3) Вспышка не в счет, равно осечка. Секунданты обязаны в таком случае оправить кремень и подсыпать пороху.

4) Тот, кто сохранил последний выстрел, имеет право подойти сам и подозвать своего противника к назначенному барьеру.

Полковник Герман

Подпоручик Рылеев

Ротмистр Реад

Подпоручик Шипов» [16].

Что ни строчка – то явная опасность для жизни каждого из дуэлянтов. Количество выстрелов не ограничивалось, следовательно, кто-то должен был погибнуть, в лучшем случае – тяжело ранен. Очевидным было и другое: каждый хотел убить соперника.

Стрелялись на три шага. Секундантом Чернова был Рылеев. Сомнений в том, что один из дуэлянтов будет убит, ни у кого не было. По крайней мере, в записке, написанной перед поединком подпоручиком Черновым, вполне определённо говорится следующее:

«…Стреляюсь на три шага, как за дело семейственное; ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей преступил все законы чести, общества и человечества. Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души» [17].

Подойдя к барьерам, оба выстрелили одновременно. Каждый из

выстрелов оказался смертельным: погиб и Чернов, и Новосильцев. Похороны подпоручика Новосильцева стараниями декабристов (дуэль произошла незадолго до известных событий на Сенатской площади) вылились в настоящую демонстрацию, ставшую, к слову, первой политической демонстрацией.

Кондратий Рылеев напишет известные стихи «На смерть Чернова»:

Клянемся честью и Черновым,
Вражда и брань временщикам.
Царей трепещущим рабам.
Тиранам, нас угнесть готовым.

Нет! Не Отечества сыны
Питомцы пришлецов презренных.
Мы чужды их семей надменных:
Они от нас отчуждены.

Так, говорят не русским словом.
Святую ненавидят Русь.
Я ненавижу их. Клянусь,
Клянуся честью и Черновым…

Рылеев, Якубович, Анненков… Куда ни ткни – упрёшься в декабриста. Через одиннадцать лет очередная дуэль всколыхнёт общество: в январе 1837-го на поединке погибнет Александр Пушкин. Такой же, как считали при Дворе, возмутитель спокойствия и неудавшийся декабрист. По крайней мере, именно так нам твердили со школьной скамьи…

Глава III

…Сначала эти разговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука.
Всё это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов…

А.С. Пушкин

…Если рассуждать об Истории и историках, то роль последних, как бы кто ни хотел, сводится исключительно к философскому подведению итогов прошедшей эпохи, причём порой – в пользу действующей власти. Говоря проще, когорта учёной братии призвана наводить глянец на парадном фасаде Истории. В противном случае не было бы вообще ничего – одни руины и полное забвение.

Неудивительно, что с декабристами историки явно перестарались: безжалостно отсекая одно, они беспричинно выпячивали другое, получив в результате нечто неопределённое. Ведь если царские офицеры силой пытались свергнуть законную власть, то в таком случае подобный процесс следовало бы назвать вполне определённо – военный переворот. И даже если переворот этот осуществляли сугубо штатские лица, всё равно не обошлось бы без душка государственной измены. Власть должна быть легитимной. Так что в попытке государственного военного переворота 14 декабря 1825 года со стороны заговорщиков, как и следовало ожидать, не было проявлено ни должного героизма, ни стойкости духа, ни решимости. Так что же было? Отвечу: бунт кучки застоявшихся от безделья неудачников, замешанный на презрении к власти и близорукой самонадеянности. Однако из затеи ничего не вышло; как результат – кровь невинных солдат и осознание собственной никчемности.

Кому впервые пришла мыслишка назвать Пушкина декабристом, судить не берусь. Хотя одно можно сказать определённо: это опять-таки явное лукавство. Вольное ли, невольное, но однозначно целенаправленное. Так вот, Пушкин не был декабристом! Прошу, уважаемый читатель, запомнить это. Другое дело, что многие из тех, кто числился в тайных

антиправительственных организациях, были ему хорошо знакомы, а с некоторыми он даже находился в дружеских отношениях. Но если бы при жизни Александра Сергеевича спросили о его отношении к мятежникам, не сомневаюсь, поэт ответил бы коротко и ясно: «Боже упаси!»

Впрочем, сохранилось вполне лаконичное мнение Пушкина по данному вопросу: *«И я бы мог с ними, как шут…» Согласитесь, человек, сказавший такое, разве мог быть декабристом? Не иначе, как только в богатом воображении каких-нибудь марксистов-ленинцев…*

Для сомневающихся же придётся рассказать и о «стоянии» на Сенатской площади 14 декабря, и о самих декабристах. Не обо всех, конечно; но тех, у кого на шее затянется петля, обойти никак не получится…

…В первых числах декабря 1825 года французский посол в Санкт-Петербурге граф де ла Ферроне намеревался вручить российскому императору верительные грамоты, а заодно и поздравительное письмо от короля Карла X. «Вашего Императорского Величества добрый брат Карл», – напишет в конце французский монарх. Правда, умышленно не указав при этом имени царя, которому предназначалось послание. Пьер-Луи-Огюст Феррон (он же граф де ла Ферроне) был слишком искусным дипломатом, чтобы не понимать, что в России назрел серьёзный политический кризис. Поэтому посол привёз из Парижа сразу две верительные грамоты: одна адресовалась императору Константину, другая – императору Николаю. Кто знает, как там сложится у этих русских?..

Но сложилось – как и должно было сложиться: в пользу среднего из братьев, Николая Павловича[35].

Смерть императора Александра в захолустном Таганроге для всех стала полной неожиданностью. На берег Азовского моря августейшую чету заставил приехать давний недуг императрицы Елизаветы Алексеевны – прогрессирующая чахотка. Однако беда пришла откуда не ждали: в дороге заболел сам государь. Утром 19 ноября 1825 года Александр Павлович скончался…

После смерти Александра I российский трон должен был достаться его брату – великому князю Константину Павловичу, следующему по старшинству. И здесь неожиданно возникли серьёзные проблемы.

В Петербурге о смерти императора узнали лишь через неделю после случившегося. Из дневниковых записей Николая I от 27 ноября 1825 года:

«…Во время молебна Гримм [камердинер Марии Фёдоровны] стучится в дверь, выхожу тотчас; в библиотеке батюшки; по фигуре Милорадовича вижу, что все потеряно, что все кончено, что нашего Ангела нет больше на этом свете!» [1]

В тот же день Николай в Малой церкви Зимнего дворца принёс присягу на верность новому императору Константину Павловичу. Около двух часов пополудни собрался Государственный совет, на котором доверенное лицо Александра I князь А.Н. Голицын вскрыл запечатанные конверты, в одном из которых содержался Манифест Александра I от 16 августа 1823 года[36]. Зачитанное князем Голицыным многих удивило: «…Вследствие того, на точном основании акта о наследовании престола наследником нашим быть второму брату нашему, великому князю Николаю Павловичу».

Дело в том, что цесаревич Константин, расставшись к тому времени со своей фавориткой (Жозефиной Фридрихс) и разведясь с законной супругой – великой княгиней Анной Фёдоровной, принцессой Саксен-Заальфельд-Кобургской (единственный в Романовском семействе развод!), – вопреки желанию своих царственных родственников, в 1820 году… женился по любви. Его избранницей стала графиня Жанетта Грудзинская, получившая в браке имя светлейшей княгини Лович (по названию дарованного Константину в честь бракосочетания имения Лович).

«Жанетта Антоновна не была красавица, но была красивее всякой красавицы, – писал П. Вяземский. – Белокурые, струистые и густые кудри её, голубые выразительные глаза, улыбка умная и приветливая, голос мягкий и звучный, стан гибкий и какая-то облегающая её нравственная свежесть и чистота. Она была Ундиной. Всё соединялось в ней и придавало ей совершенно особенную и привлекающую внимание физиономию в кругу подруг и сверстниц её» [2].

В соответствии с Законом о престолонаследии Российской империи (основанным на Акте Павла I о престолонаследии от 5 апреля 1797 года) член императорской фамилии, вступивший в морганатический брак, терял право на престол за себя и за потомков от этого брака. В связи с тем, что Манифест о передаче прав наследования престола не был вовремя обнародован (о существовании этого документа знал лишь узкий круг лиц), возникла некая заминка в виде «династического кризиса», ставшая причиной декабрьского «разброда и шатания».

Явившийся на заседание Государственного совета военный генерал-губернатор Петербурга Милорадович объявил, что великий князь Николай Павлович и войска столичного гарнизона уже присягнули на верность Константину. Тогда члены Госсовета обратились к Николаю Павловичу для разъяснения ситуации.

Николай был неумолим: для общего спокойствия приносить присягу Константину!

И Россия стала присягать великому князю Константину Павловичу[37]*. Наместник в царстве Польском, Константин оказался в своеобразной западне: ему присягали, в то время как было дано обещание Александру не претендовать на российский престол. Не легче было и Николаю: преждевременно присягнув Константину, после ознакомления с Манифестом он поставил всех в неловкое положение. Государство очутилось в политическом клинче. Во-первых, несмотря на обнародование Манифеста Александра I от 16 августа 1823 года, никто не отменял Акта Павла I о престолонаследии. Во-вторых, Александр был мёртв. И его договорённость с Константином выглядела некой «домашней сделкой», которой для монархического государства было явно недостаточно. Константин имел полное право занять трон. Тем более что на верность ему уже присягнул основной претендент – младший брат Николай.*

Но всё оказалось не так просто. Если Константин действительно не желал стать императором, он должен был отказаться от прав на престол официально. Лишь в этом случае Манифест обрёл бы вполне законную форму. А вот этого-то цесаревич не делал – он явно медлил и, находясь в Варшаве, с интересом наблюдал за происходящим в Петербурге.

* * *

«Династическим кризисом» вовремя воспользовались те самые заговорщики, которых позже и назовут *декабристами. В начале двадцатых годов в России создаётся несколько тайных обществ, целью которых становится свержение самодержавия, отмена крепостного права и изменение устоев российского общества.*

В феврале 1821 года появляется так называемое «Южное общество». Организация включала в себя три управы, расположенные в нескольких украинских местечках, центральной из которых являлась Тульчинская, где в ту пору размещался штаб 2-й армии. Возглавлял Тульчинскую управу полковник Павел Иванович Пестель – адъютант главнокомандующего армией, героя Отечественной войны 1812 года фельдмаршала П.Х. Витгенштейна. Во главе так называемой Васильковской управы стояли Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Михаил Павлович Бестужев-Рюмин; Каменской – Василий Львович Давыдов и генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский.

Всеми управами руководила Директория – «тройка» особо доверенных лиц, председателем которой был избран Павел Пестель (члены – генерал-интендант 2-й армии А.П. Юшневский и Н.М. Муравьев; после отъезда последнего в Петербург третьим членом Директории был избран С.И. Муравьев-Апостол).

Именно Пестель («сущий Робеспьер», как назвал его следователь по делу декабристов Боровков) составил знаменитую программу «Южного общества» – так называемую «Русскую правду». Документ ставил перед заговорщиками две главные цели: свержение самодержавия с одновременным установлением в стране республиканской формы правления, а также отмена крепостного права. В переходный период Пестель предлагал вручить власть Временному верховному правлению с диктаторскими полномочиями (диктатором, конечно, полковник видел только себя!). Высшим законодательным органом должно было стать однопалатное народное вече, исполнительным – Державная дума, блюстительным – Верховный собор. Ну и о будущей столице Российской республики: ею должен был стать Нижний Новгород.

По «Русской правде», в России уничтожались сословные привилегии; все россияне мужского пола с 20 лет наделялись избирательными правами; каждому гарантировалась свобода слова, занятий, вероисповедания; вводился общий и равный для всех граждан суд присяжных. На веки вечные отменялось крепостное право; крестьяне освобождались с землей без выкупа, наполовину урезалось помещичье землевладение.

Несколько позже, осенью 1822 года, сложилось и «Северное общество», основу которого составляли офицеры-гвардейцы столичного гарнизона. Руководила обществом так называемая Дума, «правителем» (председателем) которой стал капитан Генерального штаба Никита Михайлович Муравьев (члены – М.С. Лунин и Н.И. Тургенев).

Из-под пера Муравьёва вышла «Конституция Никиты Муравьёва», ставшая программным документом «Северного общества». В отличие от «Русской правды», в «Конституции» Муравьёва самодержавие предлагалось заменить не республикой, а конституционной монархией, с той же столицей (Нижний Новгород) и двухпалатным народным вече в качестве высшего законодательного органа; высшая же исполнительная власть вручалась царю. В случае несогласия последнего с конституцией в России мог быть введён парламент и должность президента. По большому счёту, не так уж утопично. Другое дело, что преждевременно.

Сословия, по Муравьёву, уничтожались; все россияне

становились равными перед законом, с 21 года получали избирательные права (при наличии имущественного ценза); гражданам гарантировались демократические свободы и национальное равенство; отменялось крепостное право. Таким образом, «Конституция» существенно ограничивала самодержавие и помещичье землевладение, давая населению больше прав.

Тем не менее внутри Северного общества из-за возникших противоречий выделились два крыла: умеренное, конституционно-монархическое во главе с Н. Муравьёвым, Н. Тургеневым и князем Трубецким, и радикальное, республиканское, возглавляемое Кондратием Рылеевым (туда же примкнули И.И. Пущин, Е.П. Оболенский, П.Г. Каховский, братья А.А. и Н.А. Бестужевы). Республиканцы выступали за освобождение крестьян с землей и за бесцензовую конституцию.

Как видим, между «северянами» и «южанами» имелись серьёзные противоречия. Поэтому для более тесного взаимодействия между Севером и Югом Пестель организовал в Петербурге особую, четвёртую, управу Южного общества во главе с Муравьёвым-Апостолом.

С весны 1824 года оба общества начали готовиться к совместному выступлению. Более активным был Пестель. Он даже вёл переговоры с польским тайным «Патриотическим обществом» и с французскими карбонариями; кроме того, состав «Южного общества» значительно пополнился и за счёт «Общества соединенных славян», основу которого составляли в основном младшие (армейские, а не гвардейские) офицеры. Главной целью этого общества было создание республиканской федерации славянских стран (России, Польши, Богемии, Моравии, Сербии, Молдавии, Венгрии и пр.).

Почти весь двадцать пятый год декабристы активно готовились к выступлению. Причём у заговорщиков имелось сразу несколько планов восстания. Один из них (так называемый второй Белоцерковский), составленный Муравьёвым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, был одобрен Директорией «Южного общества» и согласован с уполномоченным от «Северного общества» князем Трубецким.

Согласно этому плану, летом 1826 года, во время царского смотра войск 3-го корпуса 2-й армии под Белой Церковью, караульные офицеры «Южного общества», переодетые в солдатские шинели, должны были, застрелив императора Александра, поднять корпус; после чего войска двинулись бы на Петербург. В то же время в столице планировалось восстание «Северного общества». В результате государственного переворота назначалось Временное правительство, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Заговорщики рассчитывали, что только на Юге их поддержат до 70 тысяч человек…

Помимо военной силы, заговорщикам требовались влиятельные люди, способные в нужный момент оказать посильную помощь. Причём – не только среди военных, но и гражданских, в частности среди лиц из состава дипломатического корпуса. Известно, что за полгода до восстания декабристы пытались склонить на свою сторону влиятельного дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. Для этого в июне 1825 года в Киев, где остановился писатель, съехалась вся мятежная верхушка – князь Трубецкой, Бестужев-Рюмин, Артамон Муравьёв, Сергей и Матвей Муравьёвы-Апостолы. Уговаривали больше недели. Тщетно! Будучи далеко не глупым, Грибоедов быстро смекнул, что будущее восстание обречено на провал. Он покинул Киев, даже не попрощавшись с заговорщиками…

* * *

Теперь о том, что из себя представляли эти самые декабристы.

Статистика – вещь бесстрастная, хотя, спору нет, довольно-таки вертлявая. В былые годы, насколько помню, всегда твердили, что участники декабрьского восстания являлись чрезвычайно достойными людьми, из которых чуть ли не каждый если и не герой Отечественной войны 1812 года, то, по крайней мере, её участник. Враки! Участников, как и героев, в той заварушке оказалось не так уж много, сущие единицы. Доподлинно известно, что из ста шестнадцати осужденных по делу декабристов лишь *двадцать восемь принимали непосредственное участие в Отечественной войне [3]. (Навскидку получается – только каждый четвёртый.)*

Так кем же они были, декабристы? Как оказалось, обычными людьми той поры – вернее, дворянами своего времени.

С кого начнём? Конечно же, с «чёрного полковника» Павла Ивановича Пестеля (1793–1826), «несостоявшегося Бонапарта» декабрьских событий 1825 года. Сын сибирского генерал-губернатора, он при крещении получил имя Пауль Бурхард (семья исповедовала лютеранство). Имея за плечами хорошее домашнее образование, в течение пяти лет обучался в немецком Дрездене; после возвращения в Россию продолжил обучение в столичном Пажеском корпусе, после окончания которого был определён прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк.

Участник Отечественной войны 1812 года, принимал участие в сражении при Бородине и битве при Лейпциге. В Бородинском бою был тяжело ранен, награждён золотой шпагой за храбрость. По выздоровлению стал адъютантом графа Витгенштейна. Масон. Один из учредителей «Союза спасения» и «Южного общества».

На момент описываемых событий Пестель являлся командиром Вятского пехотного полка. «…Он на всё годится, – восхищался подчинённым фельдмаршал Витгенштейн. – Дай ему командовать армией или сделай его каким угодно министром, он везде будет на своем месте».

О Павле Ивановиче Пестеле говорить можно много, рассказывая хорошее и плохое. Но одно известно точно: полковник был казнокрадом. Не секрет, что, командуя полком, командир части изъял из полковой казны… 60 тысяч рублей! Много это или мало? Если учесть, что штоф водки в те годы стоил не дороже 20 копеек, получается, не просто много – неприлично много! Пестелю чудесным образом удалось создать самую настоящую мошенническую схему финансирования части. Как выяснила следственная комиссия, деньги в Вятский пехотный полк поступали двумя потоками, один из которых прямёхонько стекал в кармашек командира. Кроме того, имели место и махинации с казёнными деньгами Киевской губернии, где был расквартирован полк. Когда и этого показалось мало, не побрезговал святая святых – денежным довольствием подчинённых, которое стал нагло удерживать. Причём не только у солдат, но даже у офицеров.

Впрочем, не он один. Примерно тем же занимался ещё один декабрист – генерал-интендант 2-й армии Алексей Юшневский: у того счёт шёл на сотни тысяч…

Наверное, можно было бы за них заступиться: не для себя же, в конце-то концов, старались – для дела. Только кто, скажите мне, беря «для дела», не оставляет «по чуть-чуть» для себя, любимого? Воровать изначально низко, о чём и предупреждает библейская заповедь…

Флигель-адъютант Следственной комиссии по делу о финансовых злоупотреблениях во 2-й Южной армии П.Д. Киселёв писал о Пестеле: «Действительно много способностей ума, но душа и правила черны, как грязь» [4].

Следует заметить, именно генерал Киселёв во многом поспособствовал тому, чтобы офицера штаба 2-й армии Пестеля отправили командовать захолустным полком. Как развернулся Павел Иванович на новом месте службы – мы уже знаем.

Вот что вспоминал в своих «Записках» подпоручик 8-й

артиллерийской бригады декабрист Иван Горбачевский:

«Вятского полка командир Пестель никогда не заботился об офицерах и угнетал самыми ужасными способами солдат, думая сим возбудить в них ненависть к правительству. Вышло совершенно противное. Солдаты были очень рады, когда его избавились, и после его ареста они показали на него жалобы. Непонятно, как он не мог себе вообразить, что солдаты сие угнетение вовсе не отнесут к правительству, но к нему самому: они видели, что в других полках солдатам лучше, нежели им; следовательно, понимали и даже говорили, что сие угнетение не от правительства, а от полкового командира» [5].

Как известно, Павла Пестеля арестовали по доносу одного из ротных командиров его полка – некоего капитана Майбороды. То, что полковник вовлёк подчинённого в тайное общество, оказалось для последнего не самым страшным. Намного страшнее выглядели действия исключительно уголовного характера, связанные с двойной финансовой канцелярией, организованной командиром. Именно Майбороде Пестель поручил получение в Московском комиссариатском депо 6000 рублей, выделяемых для всех видов довольствия военнослужащих части (это был так называемый «параллельный» финансовый поток, предназначенный лично командиру). Капитан быстро понял, что, ввяжись он в эту авантюру, каталажкой не отделаешься – путь прямиком на каторгу. Он просто-напросто испугался! И накануне восстания пошёл писать рапорт…

Теперь видим, что на своих подчинённых командиру полка было, в общем-то, глубоко наплевать. Как и на прочих соотечественников, коих, писал «чёрный полковник», следовало разделить на разряды: первый – коренной русский; второй – из племён, населяющих территорию страны; третий – из проживающих в России иностранцев. Вот вам и Пестель! Мало того, что казнокрад, так ещё и человеконенавистник…

Князь Сергей Петрович Трубецкой (1790–1860), хотя и являлся гвардии полковником, по своей родословной и положению в обществе разительно отличался от пестелей, каховских и прочих кюхельбекеров. Правнук генерал-фельдмаршала Никиты Юрьевича Трубецкого, сын действительного статского советника и нижегородского губернского предводителя дворянства князя Петра Сергеевича Трубецкого, первоначальное образование получил в стенах фамильного дворца. Прекрасно владел немецким, английским и французским языками. В шестнадцать переехал в Москву, где слушал лекции в местном университете, позже жил в Париже.

Отечественную войну 1812 года Трубецкой встретил поручиком Семёновского полка. Участвовал в сражениях при Бородине, Малоярославце, Люцене, Бауцене, Кульме. В бою под Лейпцигом был ранен в ногу. При возвращении домой стал активным членом масонской ложи «Трёх добродетелей». Стоял у истоков «Союза спасения», преобразованного в «Союз благоденствия».

После отказа великого князя Константина Павловича занять трон был назначен заговорщиками «Диктатором». Во время событий на Сенатской площади дежурный штаб-офицер 4-го пехотного корпуса Трубецкой дал «слабину»: спрятавшись за углом, наблюдал за происходящим со стороны. А потом… принёс присягу императору Николаю. Н-да…

При обыске в бумагах «диктатора» жандармы обнаружат некий «Манифест к русскому народу», при ознакомлении с которым сомнений в заговоре не осталось вовсе. Мятежники планировали, свергнув законную власть, разогнать постоянную армию, ликвидировать крепостное право и так далее… Но главное заключалось даже не в этом: в случае успеха власть передавалась в руки двух-трёх человек из числа заговорщиков. Интересно, что бы сотворила с государством военно-масонская кучка в составе казнокрада Пестеля, трусоватого Трубецкого и, скажем, того же Сперанского? В любом случае, ничего хорошего. Просто море крови, пролившееся вследствие Октябрьского переворота 1917-го, залило бы Россию столетием раньше.

И самое ужасное: всё это оказалось бы *бессмысленным!*

Подполковник Сергей Иванович Муравьёв-Апостол (1795–1826), родившись в семье дипломата и сенатора, образование получил в Париже. Впервые заговорил по-русски уже в отроческие годы: выходит, самый настоящий «варяг».

В армии (начал службу в корпусе инженеров путей сообщения) – с 1810 года. Ветеран Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813–1814 годов; принимал участие в сражениях при Витебске, Бородине, Тарутине, Малоярославце, Красном, Бауцене, Лейпциге, Фер-Шампенуазе, Париже, за что был награждён боевыми наградами. Вместе с князем Трубецким состоял в масонской ложе «Трёх добродетелей». Один из основателей «Союза спасения» и «Союза благоденствия»; после роспуска последнего вступил в «Южное общество», войдя в его «директорат». Глава Васильковской управы, которая при нём стала самой многочисленной в «Южном обществе».

Имена Сергея и Матвея Муравьёвых-Апостолов были названы в известном доносе капитана Майбороды, после чего 29 декабря в соответствии с приказом Петербургского следственного

комитета оба были арестованы командиром Черниговского полка подполковником Густавом Гебелем. После освобождения офицерами части Муравьёв-Апостол возглавил начавшееся восстание Черниговского полка. При подавлении мятежа Сергей Иванович был тяжело ранен, арестован и отправлен в Петербург.

Так что же предлагал этот «варяг», разговаривавший с заметным англо-саксонским акцентом? Ликвидировать крепостное право, а каждому крестьянскому двору выделить по две десятины земли. Интересно, сам «проектант» понимал, сколько это? Думаю, нет. Для любопытных поясню: десятина – что-то близко к одному гектару; две – два гектара. Вот и считайте. Двор – семья в среднем от шести-семи до пятнадцати едоков (с детьми и дедками-бабками); плюс скотина, без неё – никак, с голоду помрёшь. На всё про всё – две десятины – и для людей, и для скотины. Не маловато ли?.. Откуда было знать ему, любителю «французских булок», что булочки эти начинаются не в булочной, а в чистом поле?.. Вот такой «эксперт» русского быта… Расстройство одно.

Капитан Генерального штаба Никита Михайлович Муравьёв (1795–1843) являлся одним из главных идеологов декабристского движения. Заслуга этого человека в том, что он стал автором первой русской Конституции.

Был превосходно образован, владел семью иностранными языками. Обучался на физико-математическом отделении Московского университета. С февраля 1812 года – коллежский регистратор в Департаменте Министерства юстиции. В начале войны 1812 года убежал из дома в действующую армию, в которой был зачислен прапорщиком свиты по квартирмейстерской части; прошёл всю кампанию 1813–1814 годов. Участник сражений при Дрездене и Лейпциге. 1 августа 1814 года переведён в Генеральный штаб. Участвовал в военных действиях против Наполеона Бонапарта, возвратившегося с острова Эльбы (был в числе прикомандированных к дежурному генералу главного штаба русских войск в Вене А.А. Закревскому). В июне 1815 года в свите офицеров Генерального штаба прибыл в Париж.

В 1818 году унаследовал от деда миллионное состояние (поместья в 14 уездах, расположенных в одиннадцати губерниях); ещё через пять лет, женившись на богатой графине А.Г. Чернышевой, внучке русского фельдмаршала, стал одним из состоятельнейших офицеров русской армии. Масон. Стоял у истоков создания «Союза спасения» и «Союза благоденствия» (совместно с С.П. Трубецким и А.Н. Муравьёвым участвовал в создании устава этого Союза – так называемой «Зелёной книги»). Ратовал за установление республиканского правления путём

военного восстания. В отставке с 1820 года, однако уже в декабре 1821 года возобновил службу в Генеральном штабе.

В декабре 1825 года Муравьёва не было в Петербурге: он находился в отпуске по семейным обстоятельствам и вместе с женой уехал в орловское имение Чернышёвых Тагино. (Имя Никиты Муравьёва как одного из руководителей тайного общества было названо в доносе капитана Майбороды.) Там же, в селе Тагино, его и арестовали 20 декабря 1825 года. Был приговорён к каторжным работам сроком на 20 лет…

А вот и главный вопрос: и чего, спрашивается, не хватало в жизни этому баловню судьбы?..

Подпоручик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин (1801–1826) на момент восстания 14 декабря 1825 года являлся одним из руководителей Васильковской управы «Южного общества» и восстания Черниговского полка. Сын надворного советника Павла Николаевича Бестужева-Рюмина. Получив домашнее образование, слушал лекции известных профессоров Московского университета. С 1818 года – юнкер Кавалергардского полка; через два года – в Семёновском полку, где подружился с Сергеем Муравьёвым-Апостолом, командиром 3-й фузелёрной роты. После расформирования Семёновского полка был переведён в Полтавский пехотный полк. С 1823 года – активный член «Южного общества». Незадолго до восстания вместе с Муравьёвым-Апостолом составил так называемый «Православный катехизис», который был прочитан восставшим солдатам.

Ещё про одного декабриста-дуэлянта мы уже говорили – я об Иване Анненкове. Славный был малый – безжалостный убийца, мот и кутила; не нюхавший пороха барчук, детство и юность проведший в московском доме своей деспотичной матушки в Москве на углу Петровки и Кузнецкого моста. Красавец-кавалергард, которому в жизни не хватало лишь некой «перчинки». Получит и «перчинку», и ту самую «кузькину мать», которая так близка русскому человеку, за чьё счастье якобы кавалергард и ушёл на рудники.

А вот на другом дуэлянте хотелось бы остановиться подробнее – поговорим о Кондратии Рылееве.

Отставной подпоручик Кондратий Фёдорович Рылеев (1795–1826) родился в обедневшей дворянской семье. Первым и самым строгим воспитателем будущего поэта и декабриста явился безжалостный отцовский ремень, которым батюшка порол сына почём зря. (Отец нашего героя являлся управляющим делами князя Голицына.) Дабы избавить сына от побоев, маменька определила

Кондратия в кадетский корпус. Там-то и родились его первые отроческие стихи.

Военную службу Рылеев начал в конной артиллерии, в составе которой совершил поход в Швейцарию и Францию. С 1818 года в отставке. После женитьбы поэт переехал в Петербург, где вошёл в масонскую ложу «Пламенеющая звезда». Через три года был избран от дворянства заседателем уголовной палаты. В это же время сдружился с Пушкиным, Бестужевым-Марлинским, Булгариным.

Благодаря своим масонским связям был принят правителем канцелярии Российско-Американской компании, где познакомился с М.М. Сперанским и графом Н.С. Мордвиновым. В 1823 году совместно с А. Бестужевым осуществил выпуск первого номера ежегодного альманаха «Полярная Звезда»; одновременно вступил в «Северное общество» (уже через год был избран его директором).

Несмотря на то что накануне восстания Рылеев сложил свои полномочия «диктатора», на Сенатской площади 14 декабря, в отличие от большинства видных заговорщиков, он всё-таки побывал. Правда, толку от этого оказалось мало – оттуда он просто-напросто сбежал…

Самой отвратительной фигурой во всей этой уголовно-авантюрной компании является, несомненно, Каховский.

Отставной поручик Пётр Григорьевич Каховский (1797–1826) происходил из обедневших дворян Смоленской губернии. Хорошо владел несколькими европейскими языками, что для дворянина тех лет являлось делом вполне обычным. Когда французские войска вошли в покинутую Кутузовым Москву, Петруша находился среди воспитанников пансиона при Московском университете. Быстро сойдясь с наполеоновскими солдатами (помогло знание французского языка), сорванец увлёкся «реквизициями» и, как поговаривали, вместе с оккупантами занимался откровенным мародёрством.

В 1816 году Каховский поступил на военную службу – юнкером в лейб-гвардии Егерский полк. Но долго там не задержался: за «шум и разные неблагопристойности в доме коллежской асессорши Вангерстейм, за неплатёж денег в кондитерскую лавку и леность к службе» был разжалован в рядовые. В 1817 году солдата Каховского отправили на Кавказ, где за отличие в службе он вновь стал юнкером, а потом и поручиком. Причём офицерское звание этому малому удалось заполучить не без помощи серьёзного покровителя, коим оказался генерал-лейтенант Алексей Петрович Ермолов, на тот момент – командир Отдельного Грузинского корпуса. Оказалось, что легендарный военачальник приходился

Каховскому двоюродным дядюшкой, по причине чего был вынужден, что называется, вытаскивать племянничка за уши. Другое дело, что не помогла даже столь высокая протекция: в 1821 году нерадивый поручик выйдет «по болезни» в отставку.

В 1825 году несостоявшийся военный приезжает в Петербург, намереваясь то ли выгодно жениться, то ли… отправиться в Грецию, чтобы сражаться за независимость свободолюбивых эллинов. Однако ни с тем, ни с другим ничего не вышло. Зато окажется в печально известном «Северном обществе». Там-то Рылеев и наметит этого неудачника цареубийцей.

Вообще, о декабристах можно рассказывать долго. Например, о забияке Якубовиче, мечтавшем «расквитаться» с Александром I, незаслуженно сославшим «героя» на Кавказ; или о Николае Тургеневе, в порыве патриотического воодушевления пообещавшем освободить своих крепостных, но так этого и не сделавшем; или о поручике Оболенском, первым воткнувшем штык в генерала Милорадовича… Можно поговорить и о сотне других, осужденных за своё «геройство» – попытку государственного переворота. Только стоит ли? Ведь «геройства»-то как такового вовсе не было – одна лишь авантюра.

И последнее. А ведь царя-то батюшку горе-герои *хотели убить. Особенно в этом вопросе усердствовали двое военных – полковник Павел Пестель и капитан Никита Муравьёв. Они и додумались сколотить некую группу цареубийц. Кто-то подсказал, что неплохо бы отобрать людишек, непричастных к тайным обществам. Чтоб со стороны – никчемных и безродных. Тогда-то Рылеев и пригрел «сирого» Каховского. А когда «запахло жареным», потребовал от того расплаты за столь «щедрое» гостеприимство: пробравшись в Зимний дворец, ещё до присяги разделаться с Николаем. Вроде обещал. Обещанием меньше, обещанием больше… Тем не менее в день восстания двух человек на Сенатской площади всё же застрелил…*

Зато Пестель оказался настоящим «диктатором» в другом, самочинно определив расстрельщиками царской семьи подпоручика лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Михаила Лунина и некоего гусара – юнкера Лосева. И всё бы ничего, только эти двое о столь «высокой чести» до декабрьских событий ничегошеньки не знали. Причём юнкер Лосев ни о каких заговорщиках вообще не слышал. Об этом стало известно, когда Пестелем и всеми остальными по-настоящему занялась Следственная комиссия. Как и следовало ожидать, бедолагу Лосева отпустили с миром, а вот Лунина за давнишние шашни с заговорщиками отправили на

сибирскую каторгу. Ну а Пестеля… повесили. Спору нет – поделом.

* * *

О заговорщиках было известно давно; знал о них и почивший в Бозе император Александр Благословенный, которому ещё при жизни поступали доносы. Наиболее подробный из них был получен в Таганроге уже после смерти царя: доносил член «Южного общества» командир 1-й гренадерской роты Вятского пехотного полка капитан Аркадий Майборода. Личность достаточно тёмная (проходя службу в лейб-гвардии Московском полку, в мае 1820 года он совершил растрату в тысячу рублей, за что и был уволен из гвардии), очутившись в подчинении полковника Пестеля, он быстро смекнул, что «тёмные делишки» начальника закончатся для него лично (Майбороды) тюремным казематом, поэтому из двух зол выбрал меньшее – написал на командира рапорт-донос. В результате им было названо почти полсотни имён активных заговорщиков, включая весь состав Директории «Южного общества» и Думы «Северного общества»[38].

Работала и разведка декабристов. Действительный статский советник масон Семён Краснокутский служил обер-прокурором в 1-м отделении пятого департамента Сената; капитан Нижегородского драгунского полка Александр Якубович был дружен с петербургским генерал-губернатором Милорадовичем; герой Отечественной войны 1812 года Гавриил Батеньков имел выход на члена правительства Михаила Сперанского. Когда стало известно, что на 14 декабря назначена *переприсяга, стало понятно, что медлить нельзя. Накануне, 10 декабря, в результате голосования диктатором восстания был избран полковник лейб-гвардии Преображенского полка князь Трубецкой.*

Тринадцатого вечером заговорщики собрались на квартире Рылеева.

– Ножны сломаны, господа, – сказал Рылеев. – Увы, сабель уже не спрятать…

Наутро следующего дня было решено начать…

Программным документом восстания должен был стать уже упоминаемый нами «Манифест к русскому народу», автором которого являлся князь Трубецкой. В случае успеха военного переворота ближе к весне 1826 года созданное мятежниками так называемое Временное правительство обязано было обеспечить созыв Учредительного собрания («Великого собора»), от решения

которого зависели основные вопросы революции, коих, по большому счёту, осталось бы всего два: быть России республикой или конституционной монархией – раз; второй – условия освобождения крестьян – с землей или без.

По замыслу заговорщиков, основные силы повстанцев (лейб-гвардии Московский, Финляндский и Гренадерский полки) во главе с диктатором Трубецким выйдут на Сенатскую площадь у здания Сената, чтобы принудить сенаторов отказаться от переприсяги Николаю и издать «Манифест к русскому народу». В то же время Измайловский полк и Гвардейский Морской экипаж под руководством капитана Якубовича займутся захватом Зимнего дворца; там же предполагалось арестовать Николая и всю царскую семью (её участь должен был решить «Великий собор»). Северян должны были поддержать южане, о чём тех специальной депешей предупредил князь Трубецкой. В общей сложности декабристы рассчитывали поднять шесть гвардейских полков численностью до шести тысяч человек…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«После несчастных событий 14 декабря разнеслись и по Москве слухи и страхи возмущения. Назначили даже ему и срок, а именно день, в который вступит в Москву печальная процессия с телом покойного императора Александра I. Многие принимали меры, чтобы оградить дома свои от нападения черни; многие хозяева домов просили знакомых им военных начальников назначить у них на этот день постоем несколько солдат. В это время какая-то старуха шла по улице и несла в руке что-то съестное. Откуда ни возьмись мальчик, пробежал мимо нее и вырвал припасы из рук ее. “Ах ты бездельник, ах ты головорез, – кричит ему старуха вслед. – Еще тело не привезено, а ты уже начинаешь бунтовать”…» [6]

Четырнадцатого декабря выпало на понедельник. Впрочем, это ничего не меняло – по крайней мере, в планах Николая. В этот день должна была состояться переприсяга. Накануне вечером предполагалось заседание Государственного совета, на котором Николай Павлович хотел лично довести до членов Госсовета обстоятельства своего воцарения, причём – в присутствии младшего брата Михаила, «личного свидетеля и вестника воли цесаревича Константина».

Однако Михаил Павлович, находясь в пути из Варшавы в Петербург, запоздал, поэтому заседание Государственного совета

состоялось без него, в полночь с 13 на 14 декабря.

В этот раз всё следовало сделать правильно. Но главное, заблаговременно. Нервы Николая Павловича в эти дни напоминали натянутые струны. Ночь на четырнадцатое он провёл почти без сна; чуть свет – вновь на ногах.

– Сегодня вечером, быть может, нас обоих не будет более на свете, – сказал присутствовавшему при переодевании Бенкендорфу. – Что ж, по крайней мере, мы умрём, исполнив свой долг…

На семь утра была назначена аудиенция в Зимнем дворце с высшим офицерским составом. Зачитав «Манифест» о восшествии на престол, новый император спросил:

– Не имеют ли место какие-либо сомнения?

Генералы молчали. Выдержав паузу, Николай продолжил:

– После этого вы отвечаете мне головой за спокойствие столицы! Что до меня, если буду императором хоть час, покажу, что был того достоин…

В семь с небольшим Николай принял присягу. Далее всё пошло по накатанному: гвардейское начальство и командиры отдельных частей принимали присягу на верность новому императору в Главном штабе; одновременно присягал Сенат. В церквах читался «Манифест» о вступлении на престол императора Николая Павловича. До десяти часов переприсяга проходила спокойно.

Первые тревожные вести принёс командующий гвардейской артиллерией генерал-майор И. Сухозанет:

– В казармах конной артиллерии замешательство, – доложил он Николаю. – Несколько офицеров пришлось арестовать…

Однако император повёл себя странно. Он приказал арестованным вернуть сабли, а в казармы к бунтовщикам отправить прибывшего накануне великого князя Михаила Павловича.

Когда с докладом явился начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-майор А. Нейдгардт, стало ясно, что серьёзной заварухи не избежать.

– В лейб-гвардии Московском полку беспорядки! В моём присутствии ротный штабс-капитан Щепин-Ростовский саблей тяжело ранил командира полка генерала Фредерихса… Ранен командир батальона полковник Хвощинский… Бунт!..

Из «Записки о штабс-капитане лейб-гвардии Московского полка князе Щепине-Ростовском» (по материалам Разрядной комиссии Верховного уголовного суда):

«…Кн[язь] Щепин-Ростовский возбуждал нижних чинов своей

роты не присягать, говоря: “Ребята, всё обман! Нас заставляют присягать насильно, государь Константин Павлович не отказался от престола, а находится в цепях, его высочество шеф тоже в цепях”. С сим же намерением ходил и по другим ротам, приказывал людям брать боевые патроны и зарядить ружья… […] …Кн[язь] Щепин-Ростовский нанес генерал-майору Фридрихсу сильный удар саблею по голове и поверг его на землю… Бросился на бригадного командира Шеншина, ударом руки поверг его на землю и нанес несколько ударов саблею; сделал три кровавые раны полковнику Хвощинскому, ранил гренадёра Красовского в живот и унтер-офицера Мосеева в голову, причем кричал на солдат: “Зарублю!” и отнял одно знамя… […] …Во все время происшествия Щепин возбуждал нижних чинов к буйству, к уклонению от присяги…» [7]

И это притом, что незадолго до бунта прибывший во дворец в парадной форме генерал Милорадович уверял государя в «совершенном спокойствии». Кто знает, возможно, Милорадович надеялся на то, что «пронесёт». Не пронесло. В том числе – к великой досаде самого генерал-губернатора.

Из воспоминаний Петра Каратыгина:

«Наступило утро рокового дня; казалось, что все шло обычным своим порядком: на улицах ничего особенного не было заметно. В этот день был именинник наш директор, Аполлон Александрович Майков, который хотел справлять свои именины у дочерей своих Азаревичевых, живших с матерью на казенной квартире в доме Голлидея, в 2-м этаже (в том самом доме, где и мы жили). Над ними была тогда квартира танцовщицы Катерины Телешовой, которую генерал-губернатор, гр. Милорадович, довольно часто посещал. Часов в 10 с половиной графская карета, четверней, подъехала к крыльцу со двора и граф, в полной парадной форме, в голубой ленте, вышел из нее и пошел, по обыкновению, прежде наверх к Телешовой, а потом обещал зайти на пирог к имениннику. Видя генерал-губернатора в то утро совершенно спокойным, мы тоже начали успокаиваться и были почти уверены, что нелепые вчерашние слухи не имели никакого основания, иначе как бы мог, в такой важный день и час, губернатор столицы быть в гостях у частного лица? Неужели бы эти зловещие городские слухи не дошли до него? Но не прошло и четверти часа, по приезде графа, как во двор наш прискакал во весь карьер казак; соскочив с лошади, он побежал наверх, в квартиру Телешовой, и через несколько минут карета подъехала к подъезду, и граф быстро сбежал с лестницы, бросился в карету, дверцы которой едва успел захлопнуть его лакей, и карета стремглав помчалась за ворота. Мы побежали

смотреть в окна, выходившие на Офицерскую улицу, и тут увидели батальон Гвардейского Экипажа, который шел в беспорядке, скорым шагом, с барабанным боем и распущенным знаменем; батальоном предводительствовал знакомый нам капитан Балкашин. Уличные мальчишки окружали солдат и кричали: "ура!"…» [8]

А в гвардейских частях гарнизона в то время творилось непонятное: кто-то кричал, что их предали; кто-то призывал заряжать ружья и умереть за Константина и Конституцию – его жену…

Николай отправляет дежурного генерала в расположение лейб-гвардии Преображенского полка, офицера-ординарца – за конём. Командиру Кавалергардского полка полковнику С. Апраксину приказывает выводить присягнувший ему полк в полную боевую готовность. После этого отправляется к главному караулу, где несла службу 9-я рота лейб-гвардии Финляндского полка. (Немаловажный факт: всеми караулами в столице тогда командовал полковник А. Моллер, являвшийся, к слову, членом тайной организации; однако в последний момент выступить против новой власти он не решился.) Приказав солдатам караула зарядить ружья, Николай повёл их на площадь. Выставив караульный взвод под командованием петербургского коменданта генерала Башуцкого перед главными дворцовыми воротами, Николай Павлович в одном мундире лейб-гвардии Измайловского полка с «лентой через плечо, как был одет к молебствию», вышел на Дворцовую площадь.

Зачитав «Манифест», наследник престола обратился к собравшимся людям:

– Как видите, я не отнимаю престол у брата…

Из толпы послышались крики: «Ура!», «Ура императору Николаю Павловичу!»…

В это самое время из-под арки Главного штаба прискакал на разгорячённом коне начальник Главного штаба Гвардейского корпуса генерал Нейдгардт:

– Ваше Высочество, московцы на Сенатской площади! Построили оборонительное каре…

Толпа заволновалась:

– Защитим тебя, государь! Не дадим в обиду! Отгоним ворогов…

Николай расчувствовался.

– Не могу поцеловать вас всех, – крикнул он. – Так вот, за всех! – сказал Николай и поцеловал нескольких людей из толпы, бывших от него ближе остальных.

Приблизившись к батальону преображенцев, император

скомандовал им строиться в колонну для атаки и зарядить ружья, а потом, вскочив на коня, сам повёл гвардейцев на Адмиралтейскую площадь.

Пётр Каратыгин: «…Мы все вышли на улицу. С Гороховой шла значительная часть Московского полка, также с барабанным боем и распущенными знаменами; густая толпа разного сброду и особенно пропасть мальчишек окружали солдат и горланили: “ура!” Якубович пожал руку моему брату и побежал вперед, вскоре мы потеряли его из виду; поворотив за угол на Морскую, мы увидели Якубовича уже без шинели, с обнаженной саблей, впереди полка: он сильно кричал и махал своею саблею. Мы взялись с братом за руки, чтоб толпа не оттерла нас друг от друга, и пришли на Дворцовую площадь – и там увидели нового императора, в полной парадной форме, перед батальоном Преображенского полка. Он был бледен, но на лице его не было заметно ни малейшей робости; он торопливо отдавал какие-то приказания своим адъютантам и окружавшим его генералам» [9].

В какой-то момент к Николаю подошёл генерал Милорадович:

– Государь, – обратился он по-французски. – Если они поставили меня в такое положение, остается только действовать силой!

– Не забудьте, граф, что вы ответствуете за спокойствие столицы… Возьмите Конную гвардию и с нею ожидайте на Исаакиевской площади около манежа моих повелений. Я буду на этой стороне с преображенцами близ угла бульвара…

– Слушаюсь, Ваше Величество!..

Запрыгнув вместе с адъютантом в подвернувшиеся сани обер-полицмейстера Шульгина, Милорадович отправился на Сенатскую площадь. Однако проехать туда оказалось невозможно: дорога была перекрыта. До конногвардейских казарм пришлось ехать кружным путём. Добравшись до казарм, генерал приказал строиться. Однако конногвардейцы мешкали. Не дождавшись окончания построения, Михаил Андреевич, вскочив на коня, в сопровождении адъютанта Башуцкого поскакал на Сенатскую площадь…

* * *

С первых же минут у восставших всё пошло наперекосяк.

Во-первых, солдаты толком не понимали, что вообще происходит. Им было всё равно, за кого выступать – за Константина или за его «жёнку Конституцию» («красивая,

говорят, баба!»); зато совсем не всё равно было другое: проливать собственную кровушку. Этого вовсе не хотелось. Ни за князей, ни за сумасбродных командиров. Хотя кровь уже пролилась, и они это видели. Как направо и налево махал саблей князюшка Щепин-Ростовский, удивило даже видавших виды ветеранов. *Страх заставлял «бравых ребятушек» нехотя вываливаться из тёплых казарм на пронзительный невский ветер. А потом строиться и плестись на Сенатскую площадь…*

Декабрист Иван Якушкин: «Рано утром 14-го Александр Бестужев заехал к Якубовичу с тем, чтобы вместе с ним ехать в Московский полк. Якубович сказал ему: “Такое предприятие несбыточно; ты – молодой человек, не имеешь никакого понятия о русском солдате, а я знаю его вдоль и поперек” и пр. Якубович был великий хвастун и при всяком случае отпускал самые отчаянные фразы, не имея притом никакого политического убеждения, но на Кавказе он служил отлично; Ермолов не раз давал ему очень важные и весьма опасные поручения; он там прославился смелыми своими набегами на горцев… Александр Бестужев отправился один в казармы Московского полка, где все было уже готово к присяге: на дворе были выставлены знамена и налои. Бестужев пробежал прямо в роту своего брата, которая уже была в сборе, и начал уверять солдат, что их обманывают, что цесаревич никогда не отрекался от престола и скоро будет в Петербурге, что он его адъютант и отправлен им нарочно вперед и т. д., после чего с теми же словами он отправился в роту Щепина. Скоро потом роты получили приказание выходить для принесения присяги. Александр Бестужев последовал за ними, и, когда оба батальона выстроились, он продолжал громко и смело уверять солдат, что их обманывают. Генерал Фридрикс, полковой командир Московского полка, подошел было к Александру Бестужеву с строгим видом, но Бестужев из-под шинели показал ему пистолет, и Фридрикс удалился…» [10]

Во-вторых, среди самой верхушки заговорщиков начались разброд и шатание. «Цареубийца» Каховский и не думал становиться «убийцей тирана». Даже притом, что кровь кипела и безумно хотелось кому-нибудь «выпустить кишки»; правда, было бы неплохо, если б жертва оказалась познатней. В день восстания отставной поручик поднимал Гвардейский флотский экипаж и одним из первых прибыл на Сенатскую площадь. Раздосадованный вялостью единомышленников, он, как хищник, высматривал добычу и нервно ходил вдоль выстроившегося у Медного всадника каре.

Якубович… Бегал, бегал с саблей, призывая «умереть как один за Конституцию», а потом вдруг… куда-то пропал. А ведь

клятвенно обещал взять Зимний и пленить «императора-самозванца»! Не взял и не пленил. Вообще ничего не сделал. И всё же он, как чудодейственный болванчик ванька-встанька, вынырнет совсем в другом месте (впрочем, об этом чуть позже).

Иван Якушкин: «Якубович жил на Гороховой; завидя Александра Бестужева впереди Московского полка, он вышел к нему навстречу с обнаженной саблей, на конце которой красовалась его шляпа с белым султаном. Александр Бестужев, хотя был старее его чином, опустил перед ним саблю и передал ему начальство над войском. Якубович повел это войско на Сенатскую площадь, где оно и построилось тылом к Сенату, Галерной и Синоду. Вскоре потом Якубович сказал Бестужеву, что он чувствует сильную головную боль, и исчез с площади. У него была жестокая рана на лбу, почему он всегда носил черную повязку. Потом он стоял в толпе около императора, с какою целью, никому не известно» [11].

Вообще, поведение вожаков восстания напоминало некую химическую реакцию в виде процесса растворения. Все постепенно «растворялись». Первым исчез именно громче всех бряцавший оружием Якубович. Потом полковник Булатов, помощник диктатора князя Трубецкого, отказался поднимать восстание в Петропавловской крепости. А ещё, видя такое дело, окончательно сдрейфил и сам Трубецкой. Спрятавшись за угол Главного штаба, князь внимательно приглядывался к тому, что творилось вокруг него. Солдаты гибли, а «диктатор» приглядывался. Как обычно…

К слову, Рылеев «растворился» как раз по той причине, что якобы побежал искать Трубецкого. Не нашёл. А как его найдёшь, если тот затерялся в толпе? Поэтому, «не найдя», Кондратий Фёдорович на Сенатскую площадь, где к тому времени будет свистеть шрапнель, больше не явится.

Иван Якушкин: «Пущин и Рылеев приезжали утром на сборное место, но, не нашедши там никаких войск, отправились в казармы Измайловского полка. На пути они встретились с мичманом Чижовым, только что вышедшим из казарм; он их уверил, что никакая попытка поднять Измайловский полк не может быть удачна. Они возвратились вспять; на этот раз нашли на сборном месте двух Бестужевых и Щепина впереди солдат. Пущин примкнул к ним, а Рылеев сказал, что он отправится в Финляндский полк, и потом никто уже его более не видал» [12].

Почувствовав реальную опасность, главные заговорщики стали разбегаться…

* * *

Справедливости ради следует заметить, трусами оказались не все. Человеком слова показал себя поручик Панов. Он обещал повести солдат на Зимний дворец – и повёл. Ему бы в Бородинском сражении отстаивать Багратионовы флеши – глядишь, получил бы Георгия; а на деле – влип по самую макушку. Двадцатидвухлетний смельчак ведёт девятьсот гренадёр во дворец (именно в Зимний Николай перевёз из Аничкова дворца цесаревича Александра и всю семью). Караульных, преградивших было путь, гренадёры просто смели. Ещё немного – и мятежники во дворе.

А там – Сапёрный батальон. Тысяча солдат с заряженными ружьями. Сапёры во время тех событий – негласная личная гвардия Николая. Во главе – герой Отечественной войны полковник Геруа, за плечами которого не одно сражение. Так что вид «сопляка» с обнажённой саблей не произвёл на сорокалетнего ветерана ни малейшего эффекта. Вместо испуга на лице офицера появилась усмешка: видывал и не таких вояк.

И Панов дрогнул. Этот безусый поручик вдруг понял, что лечь им здесь как один, не прорваться. А потому отвёл гренадёр на площадь. Позже, на следствии, Николай Панов будет оправдываться: во двор Зимнего дворца солдат привёл, мол, по ошибке, перепутав ворота…

А на Сенатской площади тем временем начиналось самое драматичное. У памятника Петру Великому выстроились в боевом каре три гвардейских полка – Московский, Гренадерский и Морской экипаж. Поначалу настроение в строю было бодрым и приподнятым. Как вспоминали очевидцы, лейб-гвардии Драгунского полка штабс-капитан Александр Бестужев на глазах у всех точил саблю о гранит всадника-памятника. Этим он давал понять, что заварушка будет нешуточной…

Первыми на Сенатскую площадь пришли гвардейцы Московского полка, у которых буквально на глазах был убит военный генерал-губернатор Петербурга, герой Отечественной войны 1812 года граф Михаил Андреевич Милорадович. Каховский жаждал расправы! Незадолго до этого он уже омочил руки в крови. Когда командир лейб-гвардии Гренадёрского полка полковник Николай Карлович Стюрлер попытался было образумить оболваненных агитаторами солдат, тут-то к нему и подскочил Каховский.

Из воспоминаний барона М. Корфа:

«…Встретив Стюрлера посреди самого скопища мятежников, у памятника Петра Великого, Каховский спросил его по-

французски: “А вы, полковник, на чьей стороне?” – “Я присягал императору Николаю и остаюсь ему верен”, – отвечал Стюрлер. Тогда Каховский выстрелил в него из пистолета, а другой офицер закричал: “Ребята! Рубите, колите его!” – и нанес ему сам два удара саблей по голове. Стюрлер, смертельно раненный, сделал с усилием несколько шагов, зашатался и упал» [13].

Добивал упавшего саблей поручик Оболенский[39].

От солдат требуют кричать: «Да здравствует Константин!» Те отчаянно горланят, правда, не все. Каховский и Оболенский вне себя. Эти двое, побратавшись пролитой кровью, теперь почти не расстаются. Когда какой-то свитский офицер отказался кричать со всеми, Каховский ударяет того кинжалом. Кровь застилает убийце глаза…

И тут на площади появляется Милорадович. Каховский дождался-таки свою ритуальную жертву. Всё произошло в тот момент, когда генерал обратился с речью к своим солдатам. А уж убеждать подчинённых Милорадович умел как никто; тем более что следовало лишь объяснить, что их бессовестно обманули…

Красивая картинка из детства: герой-декабрист стреляет в царского сатрапа. Из старинного длинноствольного пистолета, в грудь. Потом героя за это повесят…

И снова враки! Не было геройского поступка. А что же, спросите, было? Подлость, цинизм и предательство. Только вид крови заставила бы солдат стать более решительными. И Каховский это понимал. Так вот, никакого выстрела в грудь не было и в помине! Сначала поручик Оболенский, выхватив у первого попавшегося солдата ружьё, подходит сзади и ударяет генерала штыком в бедро. Потом в бок (опять же со стороны спины) в Милорадовича стреляет Каховский. Такие вот «благородные» дворяне: били в спину. И в этом заключался весь их «героизм»…

Лицейскому товарищу Пушкина Вилли Кюхельбекеру в тот день как-то фатально не везло. Прицелившись в великого князя Михаила Павловича, уговаривавшего солдат одуматься, он так и не сумел выстрелить: пистолет из его рук выбили трое матросов из Морского экипажа:

– За што, ваш благородь, в великого-то князя?..

В советские времена будут судачить, будто пистолет у Кюхельбекера никто не выбивал – якобы произошла осечка…

Чуть позже попытку Милорадовича повторил командир Гвардейского корпуса генерал от кавалерии Александр Львович Воинов. Кюхельбекер попытался выстрелить и в него, но на сей раз промахнулся. И всё же генералу не удастся избежать ранения: он будет контужен поленом, брошенным кем-то из толпы зевак[40].

* * *

«При возмущении 14 декабря 1825 года убито народа: генералов – 1, штаб-офицеров – 1, обер-офицеров разных полков – 17, нижних чинов лейб-гвардии Московского полка – 93, Гренадерского – 69, [морского] экипажа гвардии – 103, Конного – 17, во фраках и шинелях – 39, женского пола – 9, малолетних – 19, черни – 903. Общий итог убитых – 1271 человек».

Из «Заметки чиновника Департамента полиции С.Н. Корсакова» [14]

А времени – около часа дня. Николай концентрирует силы вокруг Сенатской площади. Бунтовщикам удалось склонить на свою сторону почти три тысячи человек. Сила немалая, особенно если учесть, что у каждого – заряженные ружья. Тревожило поведение многотысячной толпы народа, собравшейся вокруг Сенатской площади и явно сочувствующей мятежникам. Люди громко кричали и кидали в гвардейцев царя палки, камни и поленья, которые приносили со стройки у Исаакиевского собора.

Первыми пошли в атаку конногвардейцы. Этот шаг был во многом знаменательным, ведь шефом полка был сам великий князь Константин Павлович. И, присягнув Николаю, московцы показали остальным, кто настоящий император. Однако атака была отбита. Когда же на Сенатскую площадь в сопровождении Бенкендорфа попытался было выехать сам Николай Павлович, кавалькаду обстреляли…

После этого командующий гвардейской артиллерией генерал Сухозанет доложил о прибытии к площади четырёх орудий под командованием поручика И. Бакунина. К половине третьего три пушки будут установлены на углу Адмиралтейского бульвара, напротив Сената; одна – у манежа Конногвардейского полка. К четырём часам Николай стянет к центру столицы двенадцать тысяч штыков и сабель и более трёх десятков орудий.

И всё же император медлил. Стрелять по собственным гвардейцам – что может быть тягостней для государя? Начинать своё царствование с пролития крови Николаю Павловичу очень не хотелось. Но обстоятельства вынуждали его действовать.

Несколько «переговорщиков» вернулись ни с чем. Последним с площади прискакал всё тот же генерал Сухозанет:

– Ну?..

– Обозвали подлецом…

Медлили и восставшие. Так получилось, что мятежники оказались без начальников – все разбежались. Пришлось тут же,

буквально на ходу выбирать нового «диктатора». Им стал князь Евгений Оболенский – тот самый, который ударил штыком генерала Милорадовича. Однако время было упущено…

В начале пятого, когда уже стемнело, Николай скомандовал:

– Пальба орудиями по порядку! Правый фланг начинай! Первое!..

Однако выстрела не последовало.

– Почему не стреляешь? – подбежал к правофланговому канониру поручик Бакунин.

– Да ведь свои же, ваше благородье!.. – ответил солдат.

– Я те дам – свои!.. Даже по мне, будь приказ, обязан стрелять… Пли!

Согласно приказу Николая, первые выстрелы были произведены поверх каре, предупреждающие. Остальные – на поражение.

Стрельба продолжалась не более четверти часа. Пушки били картечью и ядрами (последними стреляли по льду Невы). При виде убитых и раненых каре на Сенатской площади начало рассыпаться; вскоре мятежники были рассеяны… На снегу темными пятнами лежали убитые; стонали, прося помощи, десятки раненых…

В шесть вечера всё было кончено…

Около семи вечера состоялся благодарственный молебен; в восемь – обед. Перед молебствием император Николай Павлович приказал вынести к гвардейцам Сапёрного батальона семилетнего цесаревича Александра, одетого в мундир лейб-гвардии Гусарского полка. Награждённым солдатам было разрешено поцеловать наследника. Перед тем как распорядиться об охране Зимнего дворца, Николай Павлович обратился к сапёрам полковника Геруа:

– Гвардейцы! Я не нуждаюсь в вашей защите, но его я вверяю вашей охране…

К утру следующего дня Сенатская площадь была очищена от тел и приведена в порядок: кровь счистили, пятна присыпали песком… Опростоволосился обер-полицмейстер Шульгин, который в рвении своём распорядился сбрасывать трупы прямо в Неву. Поговаривали, вместе с «мертвяками» в полыньях топили и тяжелораненых… Именно поэтому точной информации о погибших и раненых на Сенатской площади не оказалось. Хотя большинство исследователей сходится к мысли, что общее количество убитых, указанное в известной *«Записке чиновника Департамента полиции С.Н. Корсакова», соответствует*

действительности: почти тысяча триста человек…

* * *

Теперь о военном генерал-губернаторе Санкт-Петербурга графе Михаиле Андреевиче Милорадовиче. Его роль в декабрьских событиях 1825 года на Сенатской площади до сих пор вызывает много споров. Несомненно одно: столичный генерал-губернатор во всей этой истории вёл *двойную игру.*

Рассказывая о великих князьях Константине и Николае Павловичах, мы как-то упустили из виду ещё одну важную фигуру в сложной династической игре – их мать, вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну. А ведь у этой женщины тоже были свои интересы.

Дело в том, что за спиной «мамаши» стояли крупные игроки. Во-первых, бывшую Вюртембергскую принцессу (полное имя – София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская) поддерживала так называемая «немецкая» партия, куда входили родной брат Марии Фёдоровны, главноуправляющий путей сообщения Александр Вюртембергский, министр финансов Егор Францевич (Георг Людвиг) Канкрин, немец по происхождению, а также некоторые влиятельные чиновники. Достаточно сказать, что по тайному распоряжению министра финансов начали изготовлять рубли с изображением цесаревича Константина. Председатель Госсовета светлейший князь Пётр Васильевич Лопухин тоже был за вдовствующую императрицу.

А во-вторых, Марию Фёдоровну всецело поддерживало руководство Российско-Американской компании, многие пайщики которой считались влиятельнейшими людьми империи. (Пайщиками РАК являлись и некоторые декабристы – например, Рылеев, который проживал в том же доме Сомова у Синего моста (Мойка, 72), где располагалась дирекция компании.)

Сторонником вдовы императора Павла был и граф Милорадович. Будучи пайщиком Российско-Американской компании, тем не менее к декабрю 1825 году генерал имел долгов на гигантскую по тем временам сумму в 175 тысяч рублей; иногда его ссуживала деньгами вдовствующая императрица (в придачу одаривала богатыми подарками). Именно Марии Фёдоровне и генералу Милорадовичу 25 ноября петербургский почт-директор К. Булгаков вручил первые письма из Таганрога с известием о смерти Александра. А вот Николая Павловича оповестили об этом позже. И ничего удивительного в том, что в день восстания военный генерал-губернатор вёл себя несколько странно.

О предстоящих беспорядках в гвардейских рядах Милорадовичу было известно за несколько дней до переприсяги Николая. Однако в день мятежа военный генерал-губернатор столицы ничего не предпринимает и спозаранку отправляется «к Катеньке на кулебяку». Когда же всё началось, упорно уверял Николая, что «дело плохо», запугивал. Да и путь в казармы Конного полка, выполняя распоряжение Николая, выбрал не самый подходящий. По крайней мере, явно не спешил. Сначала, вместо того чтобы, объехав вокруг Исаакиевского собора, свернуть на Малую Почтамтскую, Михаил Андреевич поехал кругом, через Синий мост, вдоль Мойки, до Поцелуева моста; затем – в обратном направлении. Прибыв в Конный полк, он убеждается, что солдаты ещё не готовы. И тут нервы генерала не выдерживают. Он, по сути, в одиночку скачет на Сенатскую площадь, где его и поджидала пуля Каховского…

Всё было сделано для того, чтобы Николай, испугавшись восстания, отказался от престола. Тогда-то в дело и вступились бы люди Марии Фёдоровны. Согласно Акту о престолонаследии Павла I, трон достался бы малолетнему Александру, сыну Николая, к которому следовало назначить регента. У вдовствующей императрицы имелись все шансы заполучить этот пост, чтобы управлять империей до совершеннолетия внука. Всё это сильно напоминало ситуацию 1762 года, когда великая княгиня Екатерина Алексеевна собиралась стать регентшей при малолетнем сыне Павле, а в результате стала императрицей Екатериной Великой…

Доктор В. Буташевич-Петрашевский прооперировал умирающего генерала прямо в казармах лейб-гвардии Конного полка. Рядом присутствовали профессор Медико-хирургической академии И. Буяльский, а также хирурги Арендт и Буш. Рана оказалась смертельной. Коварная пуля «по направлению снизу вверх, от спины к груди перервала диафрагму, пробила все части… и остановилась под правым соском».

Когда извлечённую из тела пулю показали Милорадовичу, тот с облегчением сказал:

– Слава Богу, пуля не солдатская. Это ли не счастье?..

Пуля действительно оказалась не солдатская – так называемая «с хвостиком», пистолетная[41].

Николаю докладывали, что Милорадович темнит. Однако героическое поведение генерала на Сенатской площади и его смертельное ранение смягчили сердце царя. Вечером он отправил раненому тёплое письмо, под которым подписался: «Твой друг

искренний». Пуля, смертельно ранившая генерала, была передана императору.

Из воспоминаний генерал-адъютанта К.Ф. Толя:

«…Его Величество поручил мне ехать к графу Милорадовичу сказать ему, что ему крайне прискорбно, что он пролил кровь при таком несчастном случае…

Граф Милорадович лежал на постели, около него стояли доктора: Рюль, Крейтон и другие, от которых я узнал, что он ранен пулею, которая, попав в правый бок, остановилась около левой лопатки, где и вырезана была… Доктора… сказали мне, что рана весьма опасна, и он от оной умереть должен. С сим печальным известием возвратился я к государю…» [15]

Михаил Андреевич Милорадович скончался в ночь с 14 на 15 декабря, в конногвардейских казармах. В руках мёртвый сжимал дорогое ему письмо от царя. А вот золотого перстня, подаренного Марией Фёдоровной, на руке не оказалось: в суматохе кто-то исхитрился его украсть. Впрочем, как вспоминал адъютант Милорадовича, исчез не только перстень, но и дорогой брегет, а также «почти все звёзды и кресты». А ещё – записная книжка.

Граф Милорадович был верным союзником несостоявшейся Марии I. Но в последний момент, движимый чувством искреннего патриотизма, он принял единственно верное решение: вопреки поговорке «один в поле не воин», в одиночку встал на защиту Отечества. Его игра оказалась смертельно рискованной…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Великая княгиня Ольга Николаевна говорила, что императрица Мария Фёдоровна сказала однажды: сын мой Александр не мог наказывать заговорщиков против жизни отца своего; но сын мой Николай обязан был наказать заговорщиков против жизни Александра» [16].

Ночью на квартире у Рылеева собрались участники восстания. В последний раз. Мятеж провалился, оставалось только попрощаться и обговорить, как вести себя на допросах. Некоторые после этого сразу пошли сдаваться.

Одним из первых в Зимний дворец с повинной явился Александр Бестужев – тот, кто первым шагнул на Сенатскую площадь. За ним потянулись и остальные…

Из декабристской верхушки на месте преступления не взяли почти никого. Пока картечь косила обманутых солдат на

Сенатской площади, князь Трубецкой, подобно кисейной барышне, лежал без чувств в домовой церкви своей сестры Потёмкиной. Его свояченица (сестра жены) вспоминала: «Его подняли, положили на диван, привели в чувство…»

С Якубовичем, который на каждом углу талдычил о своём намерении «расправиться с тираном», после его таинственного «растворения» с Сенатской площади произошла чудодейственная метаморфоза. Ещё до выстрела в Милорадовича он неожиданно оказался перед Николаем, изрядно удивив царя своим грозным видом – с чёрной повязкой на лбу, обвешанный оружием.

– Ваше Величество, – обратился он к императору. – Я был против Вас, теперь же я хочу умереть за Вас!..

– В таком случае, – сказал, поцеловав его, Николай, – поди к возмутителям и уговори их сдаться…

«У меня рука чесалась разбить ему череп, – вспоминал конногвардеец барон И. Велио. – Так он мне казался опасным» [17]. (Барон на Сенатской площади потеряет вследствие ранения руку.)

Следует заметить, в тот день Николай Павлович имел все шансы погибнуть. Правда, не от Якубовича или Каховского – от другого декабриста, полковника Булатова. Этот офицер, имея в кармане пару заряженных пистолетов, больше часа ходил вокруг царя, не решаясь выстрелить. Так и не решился. Вечером того же дня он явился с повинной[42].

Кто ещё? Лейб-гвардии Гренадёрского полка поручик Панов (тот самый, что вёл гренадёр в Зимний дворец, но, столкнувшись с сапёрами полковника Геруа, вовремя ретировался) после поражения также не проявил большого мужества. Отыскав где-то штатское пальтишко, накинул его на мундир – и затерялся в толпе. Корнет лейб-гвардии Конного полка Александр Одоевский, не сумев договориться с однополчанами (которые, к слову, послали его «по матушке»), тоже юркнул в подворотню. Сбежали Николай Бестужев и Пётр Коновницын… «Легендарный декабрист» Батеньков, проблуждав вокруг Сенатской площади в толпе любопытствующих, влиться в ряды товарищей так и не решился.

Таким образом, пострадали простые солдаты, оставшись лежать на льду. И подо льдом… Смутьяны же в день восстания не пострадали вовсе.

* * *

Не успели затоптаться следы побоища на Сенатской площади, как в Петербурге узнали о восстании на Юге: подняли мятеж

члены «Южного общества». Здесь события развивались дольше – с 29 декабря 1825-го по 3 января следующего года; однако для монархии это выступление было не столь опасно.

На Украине властям удалось сработать на опережение. Ещё 13 декабря по доносу капитана Вятского пехотного полка Майбороды был арестован полковник Пестель, а потом и вся Тульчинская управа. В результате южанам удалось поднять только Черниговский полк, который возглавил Сергей Муравьев-Апостол. Командиры других частей (генерал С.Г. Волконский, полковники В.К. Тизенгаузен, И.С. Повало-Швейковский и пр.) черниговцев поддержать отказались. Даже командир Ахтырского гусарского полка полковник Артамон Муравьев, грозившийся «идти до конца», в последний момент поднимать свой полк отказался. Мало того, ряд офицеров, как, например, капитан 5-й конноартиллерийской роты третьего корпуса Матвей Пыхачёв, решил искупить вину доносительством.

Ответил мятежникам отказом и командир Черниговского полка подполковник Густав Иванович Гебель. Но его подвели собственные же офицеры, принявшиеся «отца-командира» убивать: кололи штыками и шпагами, били прикладами… И если бы над бедолагой не сжалился солдат (рядовой 5-й роты Максим Иванов), отвезший израненного офицера к местным крестьянам, кончилось бы всё трагически[43].

Страсти накалялись. В полку озверели не только офицеры, но и солдаты. Так, несколько «солдатушек», ворвавшись в дом несчастного Гебеля, намеревались расправиться с его женой и детишками. Офицеру Сухинову с большим трудом (и риском для жизни) удалось обуздать несостоявшихся убийц.

Из показаний Сергея Муравьёва на следствии:

«На сем переходе, между Деревнями Устимовкою и Королевкою, быв встречен отрядом генерала Гейсмара, я привел роты, мною водимыя, в порядок, приказал солдатам не стрелять, а идти прямо на пушки, и двинулся вперед со всеми остававшимися офицерами. Солдаты следовали нашему движению, пока попавшая мне в голову картечь не повергла меня без чувств на землю. Когда же я пришел в себя, нашел батальон совершенно расстроенным и был захвачен самыми солдатами, в то время когда хотел сесть верхом, чтобы стараться собрать их» [18].

Тяжело раненный Сергей Муравьев-Апостол, его помощник Михаил Бестужев-Рюмин и брат Матвей были взяты в плен. Третий из братьев Муравьевых-Апостолов, Ипполит, будучи раненым, покончит с собой, выстрелив себе в голову…

Отвоевались…

* * *

14 декабря 1825 г.

«Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский равелин, но не связывая рук; без всякого сообщения с другими, дать бумагу для письма, и что будет писать – ко мне, собственноручно мне приносить ежедневно».

Из записки Николая I коменданту Петропавловской крепости генералу Сукину [19]

11 июля 1826 г.

«…По Высочайше предоставленной ему власти приговорил вместо мучительной смертной казни четвертованием, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной, сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить».

Из приговора Верховного уголовного суда

Первые допросы мятежников начались уже вечером 14 декабря. Смутьянов (которые не сдавались сами) арестовывали на улице, в казармах и на квартирах, в гостях у товарищей и у родственников…

Пётр Каратыгин: *«…Мы стали расспрашивать денщика, когда и как был арестован Якубович, и он нам все подробно рассказал. Поздно вечером, 14-го декабря, Якубович воротился домой: тотчас зарядил карабин и поставил его на окошко, потом велел накрепко запереть двери с подъезда и решительно никого не впускать к нему. Часу в первом ночи приехал полицмейстер Чихачев с жандармами и требовал, чтоб его впустили; ему долго не отворяли дверей, но когда он грозился их выломать, Якубович приказал отпереть двери. Все бумаги его были забраны и сложены в наволочку, и он беспрекословно позволил взять себя.*

Тут его денщик простодушно прибавил:

– Бог их знает, зачем они изволили зарядить карабин? Он так, нетронутый, и остался на окошке.

В самом деле, поступок Якубовича был очень загадочен; никто, конечно, не сомневался в его храбрости; и, глядя на его воинственную личность, казалось бы, что этому человеку – жизнь нипочем… но, быть может, он еще надеялся оправдаться, а может быть, у него просто не хватило духу – пустить себе пулю в лоб, несмотря на то что черкесская пуля уже проложила туда дорогу.

Долго еще после 14-го декабря ходили по городу разные

анекдоты и рассказы – и в драматическом, и комическом роде. Так, например, всем известно, что увлеченные к бунту солдаты положительно не знали настоящей причины возмущения; начальники и предводители их, заставляя их кричать: "Да здравствует Конституция!", уверяли солдат, что это супруга Константина Павловича. Некоторые из солдат, стоявшие около Сената, захватили тогда, в свой кружок, какого-то старого немца-сапожника, зевавшего на них поблизости из любопытства. Они его заставили ружейными прикладами, вместе с ними, провозглашать конституцию! Бедный немец надседался до хрипоты, но, наконец, выбившись из сил, сказал им:

– Господа солдаты, ради Бога, отпустите меня! Возьмите свежего немца, у меня больше голосу нет, я совсем не могу провозглашать русскую конституцию!» [20]

Караул привозил в Зимний дворец с гауптвахты очередного арестованного со связанными за спиной руками, где в смежной с покоями государя комнате генерал-адъютант Толь с помощниками проводил допросы. Щепин-Ростовский, Рылеев, Якубович, Сутгоф, Шторх… Один к одному, десятки известных фамилий…

Генерал К.Ф. Толь: «Допросы делались в присутствии коменданта Башуцкого, и по окончании таковых и прочтении оных преступнику каждый из них подписывал оныя. После сего входил я в кабинет Государя, которого от усталости находил иногда дремавшего на диване, ещё не раздевшегося, в полном мундире; но всякий раз при входе моем Государь, вставая с дивана, говорил мне: "Садись, Карл Фёдорович, читай мне!"… Государь… часто мне говорил: "Молодежь эта не знает сама, что она хотела и как введена в преступление…"

…Допросы начал я делать 14 числа в 7-м часу пополудни и, работая всю ночь безостановочно, кончил оныя только 15-го числа около пополудни» [21].

Рылеев рассказал о Трубецком и его ключевой роли в заговоре. На следующий день генерал Толь уже допрашивал задержанного князя. Во время допроса к нему вышел император:

– Что было в этой голове, – показал он на лоб арестованного, – когда вы, князь, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник! Князь Трубецкой! Как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью? Ваша участь будет ужасная!..

Николай был сильно взволнован. Ему было очень неприятно, что в заговоре принял участие такой знатный человек, к тому же находившийся в свойстве с австрийским посланником Лебцелтерном (на квартире которого князя и арестовали).

Ознакомившись с показаниями Трубецкого, император не выдержал:

– Вы знаете, что за такое я могу вас просто-напросто расстрелять?!

Однако, глядя на испуганного, сжавшегося на стуле князя, Николай вдруг поймал себя на мысли, что ему жаль этого человека, который в минувшую войну с Бонапартом показал себя молодцом.

– Вы запутались, князь. Напишите жене: "Я буду жив и здоров". И всё же будете сурово наказаны…

После допросов арестованных отправляют в казематы Петропавловской крепости в распоряжении её коменданта генерала от инфантерии А. Сукина. В полночь с 14 на 15 декабря в крепости появляется первый декабрист – Кондратий Рылеев, который будет помещён в каземат № 17. Позже начнут подвозить остальных…

17 декабря 1825 года был создан Тайный следственный комитет – чрезвычайный следственный орган, проводивший следствие по делу декабристов (членов тайных декабристских обществ, участников восстания на Сенатской площади 14 декабря и восстания Черниговского полка). В мае 1826 года Комитет был переименован в Следственную комиссию.

Во время следствия и допросов декабристы выглядели жалко. Лишь единицы сохраняли выдержку и вели себя достойно – Лунин, Пущин, Н. Бестужев, Муравьёв-Апостол… А вот остальные – каялись, умоляли, плакали… Полковник Пестель «сдавал» всех подряд. Даже следователям было противно. А потому его не щадили, устраивая одну очную ставку за другой. Каждый отпирающийся оказывался с глазу на глаз с «правителем». А уж тот рассказывал всё начистоту – кто, с кем и сколько… Приходилось сознаваться.

Князь Трубецкой на первом же допросе брякнулся на колени, вымаливая у Николая прощения:

– Жизнь, Ваше Высочество! Жизнь!..

Трубецкой назвал 79 фамилий…

Кондратий Рылеев… В ногах, конечно, не валялся, но рассказал генералу Толю всё, что знал: восставших должен был возглавить Трубецкой, поэтому его неявка на Сенатскую площадь «стала главной причиной беспорядков и убийств»; тайное общество существует на самом деле, в частности на Юге, под Киевом, и следует «взять меры, дабы там не вспыхнуло восстание». А ведь ещё накануне упорно искал план Зимнего дворца, чтобы проще было добраться до августейшей семьи…

Евгений Оболенский… Хорош князюшка! На Сенатской площади орудовал – как мясник какой. Оказалось, что и не мясник

вовсе: просто неосторожно споткнулся, отстраняясь от коня генерала Милорадовича, и в ногу графу – раз! Совсем не хотел… «Хотел, хотел», – показали свидетели. После этого пришлось сознаться и, что называется, чистосердечно раскаяться… Как и Трубецкой, Оболенский оказался достаточно «разговорчивым», назвав более семи десятков имён…

Каховский… Уже из каземата слёзно писал царю: «Добрый государь, я видел слёзы сострадания на глазах ваших…» Совсем непонятное. Ведь он так мечтал застрелить «сатрапа»…

* * *

13 июля 1826 г.

«Экзекуция кончилась с должной тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое и именно: Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чём Вашему Величеству всеподданнейше доношу».

Из донесения петербургского военного
генерал-губернатора П.В. Голенищева-Кутузова [22]

Для наказания главных преступников Николай I назначил Верховный уголовный суд из 72 высших чиновников под председательством М.М. Сперанского. То был ловкий ход императора. Сперанский был под подозрением (в случае успеха декабристы планировали ввести его в состав Временного правительства). Мало того, в своё время его секретарём являлся известный декабрист Батеньков, что уже говорило о многом. Царь рассчитал правильно: именно подозреваемый окажется самым бескомпромиссным судьёй. Так и вышло.

Из более чем *трёх тысяч арестованных (из которых 500 человек – офицеры) суду был предан 121 декабрист. Проще было с солдатами – они были биты шпицрутенами и разосланы в штрафные роты на Кавказ.*

Верховный уголовный суд пришёл к выводу, что обвиняемые имели «умысел на потрясение империи, на ниспровержение коренных отечественных законов, на превращение всего государственного порядка». К способам осуществления этого умысла были отнесены цареубийство, бунт и воинский мятеж. Подсудимые были разделены по мерам наказания на 11 разрядов; приговор по первому разряду (31 подсудимый) означал «отсечение

головы», по второму (17 человек) – «вечную каторгу» и т. д. К слову, почти три сотни человек было оправдано.

Указом от 10 июля 1826 года Николай I для 25 подсудимых 1-го разряда заменил смертную казнь вечной каторгой. Были снижены меры наказания декабристам и других разрядов. Участь же пятерых мятежников, поставленных вне разрядов, должен был решить Верховный уголовный суд, который и приговорил их к четвертованию (заменено на повешение). К смерти были приговорены руководители декабристов Павел Иванович Пестель, Кондратий Фёдорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, а также убийца генерала Милорадовича Пётр Григорьевич Каховский. Из всего состава суда только первый морской министр России (по совместительству – сенатор) адмирал Мордвинов высказался против смертной казни кому бы то ни было. Хотя, замечу, уже хорошо – не четвертовали, как где-нибудь в «либеральной» Англии. Юридически – могли. Возможно, даже стоило: заслужили.

Казнь привели в исполнение ранним утром 13 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости.

Начальник кронверка крепости В.И. Беркопф:

«Пестель был слабее и истомленнее прочих, он едва переступал по земле. Когда он, Муравьев-Апостол, Бестужев и Рылеев были выведены на казнь, уже все в мундирных сюртуках и в рубашках, они расцеловались друг с другом как братья, но когда последним вышел из ворот Каховский, ему никто не протянул даже руки… Пестеля должны были приподнять в воротах: так был он изнурен. Под виселицею была вырыта в земле значительной величины и глубины яма; она была застлана досками; на этих-то досках следовало стать преступникам, и когда были бы надеты на них петли, то доски должно было из-под ног вынуть. Таким образом, казненные повисли бы над самой ямой, но за спешностью виселица оказалась слишком высока, или вернее сказать, столбы ее недостаточно глубоко были врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей. Вблизи вала, на котором была устроена виселица, находилось полуразрушенное здание Училища торгового мореплавания, откуда… были взяты школьные скамьи, дабы поставить на них преступников… Скамьи были поставлены на доски, преступники встащены на скамьи, на них надеты петли, а колпаки, бывшие на их головах, стянуты на лица. Когда отняли скамьи из-под ног, веревки оборвались, и трое преступников… рухнули в яму, прошибив тяжестью своих тел и оков настланные над ней доски» [23].

Во время казни на площадь вывели 120 осужденных и солдат Павловского гвардейского полка. Трое (Рылеев, Муравьёв-Апостол и Каховский) сорвались с виселицы; пришлось вешать заново[44]. *Однако на этот счёт есть и другое мнение.*

Из воспоминаний Ивана Горбачевского:

«Муравьев-Апостол сорвался с веревки; не знаю, лопнула ли она от тяжести или сорвалась, но он полетел вниз, когда у них вырвали скамейку из-под ног; он сильно ушибся, кровь лилась с его лица; с ним вместе сорвались, каждый со своей петли, Бестужев-Рюмин и Каховский. Когда их подняли палачи, Муравьев и Бестужев поворотились задом и пожали друг другу руки (руки были связаны назад); Каховский же в это время, пока приготовляли новые петли, ругал беспощадно исполнителя приговора, тут же бывшего генерал-губернатора петербургского Голенищева-Кутузова. Ругал так, как ни один простолюдин не ругался: “Подлец, мерзавец, у тебя и веревки крепкой нет; отдай свой аксельбант палачам вместо веревки и проч.”. Их троих в скорости опять вторично повесили… Рылеев же и Пестель сразу повисли. Об этом в нашей куртине не только рассказывал сам плац-майор Подушкин и плац-адъютанты, но еще мне рассказывал офицер Волков, бывший при самой виселице во время казни; и все рассказывали в одно и то же слово» [24].

Тела казнённых, сложенные под рогожей на телеге, доставили в сарай Училища торгового мореплавания (там же, на кронверке), откуда ночью тайно вывезли на остров Голодай, где и закопали на пустыре…

Остальные, по сути, отделались лёгким испугом – ссылкой в Сибирь и отправкой на Кавказ. Находясь в крепости, некоторые из декабристов, потрясённые случившимся, лишились рассудка. Двадцатитрёхлетний Иван Анненков и Матвей Муравьёв-Апостол (32 года) пытались в камере покончить жизнь самоубийством.

И это притом, что, согласно судебному вердикту (судили по Петровскому законодательству), мятежникам полагалось «отсечение головы». Никакого сомнения, Пётр Великий со смутьянами не стал бы церемониться…

Беда декабристов заключалась в том, что в государстве, народ которого незадолго до этого победил в тяжёлой Отечественной войне 1812 года, отсутствовала та самая «революционная ситуация» – гроза любого социума, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Не было этого. Наследник престола великий князь Николай Павлович мог и хотел удержать принадлежавший ему по

праву трон. Ну а подданные империи в большинстве своём ни о каких переменах даже не помышляли – разве что кучка мятежников, коими и оказались декабристы. Да и саксонскую карту разыграть не удалось: слишком мощной фигурой оказался великий князь Николай Павлович.

Государственный переворот удастся столетием позже – в кровавом семнадцатом году. Тогда и Николай будет другой, и его окружение. А подданные, измотанные долгой войной, окажутся готовы на всё. В результате возникнет пресловутая «революционная ситуация»: царь Николай покажет свою неспособность, народ же от безысходности выйдет на баррикады…

Роль личности в истории велика: окажись в семнадцатом на российском троне вместо Николая Александровича волевой Николай Павлович, всё пошло бы совсем по иному сценарию. Впрочем, история не приемлет сослагательного наклонения…

* * *

А теперь о главном – о поэте А.С. Пушкине и его якобы «тесных отношениях» с декабристами. Во время следствия имя Александра Сергеевича всплывало не раз. Николая I интересовал вопрос: был ли Пушкин членом тайного общества? И этот интерес был неслучаен, так как у ряда декабристов при обыске жандармы обнаружили пушкинские стихи. Как выяснилось, их перечитывали, скандировали, передавали друг другу… Однако вскоре стало понятно, что поэт ни при чём.

17 декабря император лично допрашивает Ивана Пущина. И на вопрос, посылал ли он *«своему родственнику Пушкину письмо о готовящемся восстании», тот ответил, что вовсе «не родственник нашего великого национального поэта Пушкина, а товарищ его по Царскосельскому лицею; что общеизвестно, что Пушкин, автор "Руслана и Людмилы", был всегда противником тайных обществ и заговоров» [25].*

О членстве Пушкина в тайном обществе было спрошено и у декабриста Горсткина. 28 января 1826 года последний показал, что бывал у Ильи Долгорукова, у которого «Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой» [26].

Зато Муравьёв-Апостол был более категоричен: Пушкин «никогда не принадлежал обществу».

И всё-таки следователи сомневались. И причин для сомнений хватало. Так, капитан 5-й конноартиллерийской роты третьего

корпуса М. Пыхачёв заявил, что М. Бестужев-Рюмин «раздавал членам» стихи Пушкина, поэтому он, Пыхачёв, считал поэта членом тайного общества. Как бы то ни было, лишь эти двое (Горсткин и Пыхачёв) назвали поэта Пушкина заговорщиком.

Отвечая на седьмой вопрос следствия («Откуда заимствовали свободный образ мысли?»), Кондратий Рылеев, Александр Бестужев и даже Иван Пущин отрицали влияние творчества Пушкина на формирование своих взглядов. Когда при попытке перейти государственную границу был арестован Кюхельбекер, седьмой вопрос был задан и ему: Вилли Пушкина не упомянул вовсе!

Тем не менее члены Следственной комиссии старались. Вот показания мичмана В. Дивова: «Свободный образ мыслей получил… частию от сочинений рукописных; оные были свободные стихотворения Пушкина и Рылеева и прочих неизвестных мне сочинителей» [27].

Из показаний штаб-ротмистра М. Паскевича:

«Первые либеральные мысли заимствовал я прошлого 1825 года частью от попавшихся мне книг и от встречи с людьми такого мнения, а более от чтения вольных стихов господина Пушкина; я, признаюсь, был увлечён его вольнодумством и его дерзкими мыслями, но, не находя в самом себе подобных чувств, я по малодушию моему и без всякого ж к тому таланта хотел было подражать ему и перевел вышенаписанные стихи» [28].

Однако наибольшую опасность для поэта представляли показания Михаила Бестужева-Рюмина. Отвечая на седьмой вопрос, он заявил: «…Между тем везде слыхал стихи Пушкина, с восторгом читанные. Это все более и более укореняло во мне либеральные мнения» [29].

Упомянутый же выше Пыхачёв заявил, что Бестужев-Рюмин «раздавал всем членам» стихи Пушкина; а поручик Пензенского пехотного полка Громницкий показал: агитируя за цареубийство, Бестужев-Рюмин читал стихи Пушкина «Кинжал» [30]. Это подтвердили и некоторые другие подследственные.

На Бестужева-Рюмина «поднажали»: был ли Пушкин членом тайного общества? Но тот был неумолим: «Мне совершенно неизвестно». А на вопрос о личном знакомстве с поэтом ответил довольно уклончиво: встречались-де «в 1819 году, когда был ребёнком…». Очная ставка Бестужева-Рюмина с Пыхачёвым ничего не дала… Тем не менее в обвинительном заключении стихи Пушкина ему припомнят: «Читал наизусть и раздавал приглашаемым в общество (возмутительные вольнодумческие) сочинения Пушкина и других» [31].

А вот слова самого Пушкина. В письме поэту Василию

Андреевичу Жуковскому он сообщает:

«Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности» [32].

Следствие ничего не добилось. Пушкин и декабрьское восстание изначально стояли особняком. Несмотря на старания, притянуть что-либо за уши следствию не удалось. За своё «вольнодумное» творчество великий поэт ответил с лихвой: сначала ссылка на Юг (Крым, Одесса и Кишинёв), затем – отставка от службы с последующей высылкой в Михайловское. Строго наказывать Пушкина дважды за одно и то же (за содержание его стихотворений, несовместимых со статусом государственного чиновника) Николай не стал. По большому счёту – не за что. Но продолжал сдерживать узду.

Так откуда пошло, что, будь Пушкин в декабре 1825 года в Петербурге, непременно примкнул бы к декабристам? Пролистав не так уж мало первоисточников, мне удалось найти единственное подтверждение данному утверждению – это воспоминания Модеста Корфа.

Читаем: «В апреле 1848 года я имел раз счастие обедать у государя. За столом, где из посторонних, кроме меня, были только графы Орлов и Вронченко, речь зашла о Лицее и оттуда – о Пушкине. “Я впервые увидел Пушкина, – рассказывал нам Его Величество, – после коронации, в Москве, когда его привезли ко мне из его заточения, совсем больного и в ранах… «Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» – спросил я его между прочим. «Был бы в рядах мятежников», – отвечал он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным.

И что же? Вслед за тем он без моего позволения и ведома уехал на Кавказ! К счастию, там было кому за ним приглядеть; Паскевич не любит шутить…”» [33]

Какой из всего этого можно сделать вывод? Будучи натурой страстной и прямолинейной, Александр Сергеевич, скорее всего, не лукавил; и будь он тогда в столице, наверняка с каким-нибудь Рылеевым или Кюхельбекером вляпался бы в пренеприятнейшую

историю, изменившую дальнейшую судьбу. О чём прямо и заявил при разговоре с императором.

Но даже и это не даёт никому права говорить, что поэт был «самым декабристским декабристом». Не был. Поэтому утверждать можно только одно: Пушкин лишь *мысленно сопереживал тем, кто пытался что-либо изменить к лучшему. А вот к военно-масонской кучке не имел никакого отношения.*

Из письма Ивана Горбачевского декабристу Михаилу Бестужеву:

«Я не могу забыть той брошюрки, которую я у тебя читал, – сочинение нашего Ивана Ивановича Пущина о своем воспитании лицейском и о своем Пушкине, о котором он много написал. Бедный Пущин, он того не знает, что нам от Верховной Думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге; – и почему? Прямо было сказано, что он по своему характеру и малодушию… сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества. И теперь я в этом совершенно убежден, – и он сам при смерти это подтвердил, сказавши Жуковскому: “Скажи ему, если бы не это, я был бы весь его”. Что это такое? И это сказал народный поэт…» [34]

Пройдут годы, и император полностью убедится в своей правоте относительно лояльности поэта к власти. Александр Сергеевич Пушкин, как и император Николай Павлович, любил родное Отечество. И все его призывы являлись чисто патриотическими. Пушкинские строки «придет желанная пора», когда «любовь и дружество» «дойдут сквозь мрачные затворы», были направлены не против августейшей семьи, а на любые изменения в государстве, способные сделать его сильным, процветающим и свободным.

Николай I был не настолько глуп, чтобы не суметь отличить патриотизм от предательства. И они оба – поэт Пушкин и царь Николай, – будучи истинными патриотами государства Российского, если бы понадобилось, отдали б за него собственную жизнь…

Глава IV

«…Вызвать на дуэль не значит атаковать лишь частное лицо, совершить проступок в отношении только него, как при обыкновенной краже или убийстве; нет, это прежде всего посягательство на общий мир, презрение к закону, восстание против государственного порядка. Дуэлисты хотят управлять сами собой, глумиться над верховной властью страны, где живут».

Дюпен-старший, обер-прокурор парижского кассационного суда

…Вызов Пушкина Дантесу доставил брат Натали, Иван Гончаров, служивший в Гусарском лейб-гвардии полку. Привёз ранним утром, прямо в голландское посольство.

Однако с посланием произошла неувязка. Дело в том, что накануне поручик Дантес по результатам проверки готовности его части к смотру генералом Кноррингом получил неудовлетворительную оценку. Поэтому «за незнание людей своего взвода и неосмотрительность в своей одежде» француз был наказан пятью нарядами вне очереди. В результате письмо, доставленное в посольство на имя Геккерена-младшего, в отсутствие последнего попало в руки его приёмного отца.

Письмо привело посланника в ужас. Тем не менее следовало соблюсти правила приличия, предусмотренные кодексом чести. Нужно было действовать, причём – быстро. Уже на следующий день, 5 ноября, Геккерен-старший собственной персоной явился на квартиру поэта на Мойке, чтобы принять вызов от имени находившегося в карауле сына. Заодно выразил пожелание предусмотренный срок в двадцать четыре часа удвоить (якобы по причине служебной занятости Дантеса). Пушкину ничего не оставалось, как согласиться. Но назавтра Александр Сергеевич получил от посланника письмо с просьбой ещё одной отсрочки; там же дипломат сообщал, что навестит поэта во второй половине дня.

Между тем на Мойку прибыл Василий Андреевич Жуковский (о предстоящей дуэли ему сообщил всё тот же Иван Гончаров),

который долго убеждал товарища образумиться. Пока разговаривали, заявился Геккерен. Жуковский был вынужден удалиться.

Голландец был настойчив. Он объяснил Пушкину, что его сын до сих пор в полном неведении относительно вызова. Возможно, ему и вовсе незачем ничего знать, настаивал Геккерен, стоит лишь поэту поменять своё решение. (О неведении Дантеса посланник нагло врал!) Ведь Жорж вряд ли причинил репутации Натальи Николаевны и всей семье Пушкиных какой-либо ущерб, не правда ли? Ну и не следует забывать (Геккерен перешёл на шёпот), Жоржик – то единственное, что скрашивает его одиночество в этом бренном мире. Дуэль же независимо от её результата для карьеры начинающего офицера изначально нежелательна…

Пушкину тирада «безутешного отца» была противна. Но, будучи впечатлительным, поэт согласился-таки дать двухнедельную отсрочку. Кроме того, пообещал Геккерену при встрече с Дантесом вести себя так, будто между ними ничего не произошло.

В тот же день, 6 ноября, Геккерен едет в кавалергардские казармы на Шпалерной, где ведёт долгий разговор с «сынком». Рассказав ему обо всём (в том числе о своих двух встречах с Пушкиным), он заметил Жоржу, что если тот будет участвовать в дуэли, то, несмотря на её исход, сильно пострадает не только его военная карьера, но и имидж самого посланника. По крайней мере, репутации обоих будет нанесён серьёзный урон, заверил Геккерен-старший. Следовательно, поединка следует избежать любой ценой.

Со Шпалерной посланник поехал в Зимний дворец, к Екатерине Ивановне Загряжской, тётушке сестёр Гончаровых. Сейчас от этого визита, размышлял Геккерен, зависело решительно всё. Нужно было выиграть время.

Вечером того же дня Жуковский получил письмо. Это было срочное послание от госпожи Загряжской…

Что примечательно, с самого начала этой грязной истории Пушкин ведёт себя очень порядочно. Во-первых, прекрасно понимая, что Геккерен-старший откровенно лжёт относительно незнания «сынка» о вызове, он дважды даёт согласие на отсрочку. И во-вторых, никто, даже близкие к поэту люди, не знали подлинной подоплеки случившегося.

Из воспоминаний В. Соллогуба:

«Я продолжал затем гулять, по обыкновению, с Пушкиным и

не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма… Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека» [1].

Для самого же Александра Сергеевича всё было ясно как день: подлые авторы пасквиля – Геккерены. Остальное было не так важно. Важным оставалось главное: рано или поздно поединок должен был состояться. Простить подлость значило бы признать своё ничтожество. Следовало убедить себя самого и общество, что выше чести ничего нет. Смерть в сравнении с честью – лишь взмах крыла бабочки…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Жуковский однажды меня очень позабавил. Проездом через Москву жил он у меня в доме. Утром приходит к нему барин, кажется, товарищ его по школе или в года первой молодости. По-видимому, барин очень скучный, до невозможности скучный. Разговор с ним мается, заминается, процеживается капля за каплею, слово за словом, с длинными промежутками. Я не вытерпел и выхожу из комнаты. Спустя несколько времени возвращаюсь: барин все еще сидит, а разговор с места не подвигается. Бедный Жуковский видимо похудел. Внутренняя зевота першит в горле его; она давит его и отчеканилась на бледном и изможденном лице. Наконец барин встает и собирается уйти. Жуковский, по движению добросердечия, может быть совестливости за недостаточно дружеский прием и вообще радости от освобождения, прощаясь с ним, целует его в лоб и говорит ему: “Прости, душка!”

В этом поцелуе и в этой душке выглядывает весь Жуковский.

Он же рассказывал Пушкину, что однажды вытолкал он кого-то вон из кабинета своего. “Ну, а тот что?” – спрашивает Пушкин. “А он, каналья, еще вздумал обороняться костылем своим”» [2].

Натали о предстоящей дуэли узнала одна из первых. Нет, она не «сама догадалась» – об этом ей сообщил голландский дипломат; мало того, этот хитрый лис убеждал Наталью Николаевну написать Дантесу письмо, в котором ей следовало просить того не драться с мужем. Однако супруга поэта, говоря словами Вяземского, «с негодованием отвергла это низкое предложение».

После этого Наталья Николаевна попросила брата Ивана найти Жуковского и убедить его прибыть на Мойку к Пушкиным. К

слову, поручик Гончаров за «самовольную отлучку» из полка имел серьёзные неприятности по службе. 6 ноября гусарский гвардейский полк, в котором служил Иван, праздновал какую-то годовщину, по причине чего давался смотр в присутствии самого императора и наследника, а вечером офицеры приглашались в Александровский дворец. Ни на торжествах, ни на строевом смотре Гончаров не присутствовал. Он появится в распоряжении полка лишь наутро следующего дня. Как результат – арест на гауптвахте. Впрочем, за всё, что сделал в те дни брат Натали, его могли бы осудить разве что недруги Пушкиных. Кому, как не военному, знать: дуэль – дело нешуточное…

Седьмого ноября, с самого утра, Василий Андреевич Жуковский направился в голландское посольство. Накануне у него состоялся серьёзный разговор с Екатериной Ивановной Загряжской. Прибытие Жуковского Геккерен воспринял как истинный подарок судьбы.

– Помилуйте, Василий Андреевич, – воскликнул при разговоре посланник. – Ну кто виноват, что господин Пушкин слишком ревнив? Хотя Александру Сергеевичу простительно, ведь он же писатель, впечатлительная натура…

– Насколько мне известно, Александр Сергеевич чрезвычайно тактичный человек, – ответил Жуковский. – Вряд ли он ни с того ни с сего стал бы вызывать на дуэль…

– Но вы же знаете, уважаемый Василий Андреевич, насколько очаровательна Натали… Извините, Наталья Николаевна. Она многих восхищает, не только моего Жоржа… Подумаешь, немного увлёкся. Молодость, знаете ли…

– Но каково Александру Сергеевичу?! – не смог сдержать себя Жуковский. – Как в подобной ситуации должен вести себя супруг этой женщины и отец четверых детей?..

– Что вы, что вы, дорогой Василий Андреевич, – засуетился Геккерен. – Время – лучший лекарь. Сегодня в голове одна, завтра – другая… Так и с Жоржем. Скажу по секрету, у него сейчас совсем иная сердечная рана – чувства к госпоже Пушкиной… Но не к Натали, а к её сестре!

– К Александре? – искренне удивился Василий Андреевич.

– Нет же. К Катрин. Вы удивитесь, но Жоржи даже подумывает на ней жениться. Хотя, признаюсь, как отец, я от подобной идеи не в восторге. Мой Жоржи мог бы найти более подходящую его статусу пару… Конечно, щедрость мадемуазель Загряжской и её хорошие связи при дворе позволяют племянницам быть на виду, но кто, скажите, обеспечит девицу завидным приданым? Ведь состояние Гончаровых, насколько я знаю, оставляет желать лучшего… Надеюсь, уважаемый Василий

Андреевич, всё останется между нами?..

– Безусловно.

– Тогда я намерен сказать вам tête-à-tête ещё одно. В жилах Жоржа течёт кровь Геккеренов. И если бы любовь к баронессе Дантес… Впрочем, это, пожалуй, слишком личное…

Геккерен умолк, а сбитый с толку Жуковский не верил своим ушам. Единственное, что он мог пообещать голландцу, – это чтобы большая часть их разговора осталась в тайне. Что ж, пришлось пообещать.

Итак, услышанное от посланника меняло весь дуэльный расклад. Вернее – отменяло. Как и предполагал Геккерен, Жуковский от него сразу же отправился к Пушкину. После услышанного от Василия Андреевича поэт пришёл в ярость!

– Лжец! Гнусный сводник! – кричал он. – Как такое мог?! Дантес – ничтожество, трусливый ловелас! Запахло жареным – тут же спрятался под фалдами папинькиного сюртука…

Жуковский стоял и молчал. Убеждать успокоиться возмущённого до глубины души потомка Ганнибала – всё равно что дуть на разгорячённую сковороду. Потому-то и молчал. Пусть выкричится. А там, глядишь, и подостынет…

(О преследованиях, которым подверглась Наталья Николаевна, знали только она и её супруг, которому Натали всё рассказала. Однако Пушкин даже Жуковскому ничего не открыл, считая это дело личным, семейным.)

Пушкин подостыл. А потом понял: сорвать поединок намерены не только Геккерены, но и… друзья. Следовало найти кого-то, кто не должен был подвести. Но кто? Выбор пал на Клементия Россета[45]*, поручика Генерального штаба, для которого не составило бы труда отыскать трусишку Дантеса не только в казармах или за карточным столом, но даже у чёрта на куличках. А после этого негодяя-французика следовало вызвать вновь. Один на один. Без свидетелей…*

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Пушкин (А.С.) отыскал в какой-то старой книге рассказ французского путешественника о русской бане. Французу захотелось попробовать ее, и отдался он любознательно и покорно в руки банщику. Тот и угостил его. Подробно описывает путешественник все мытарства, через которые прошел, и кончает этими словами: “Жара такая нестерпимая, что даже когда

обвевают тебя березовыми ветками, то никакой свежести не ощущаешь, а кажется, напротив, бывает еще жарче". Несчастного парили на полке горячими вениками, а он принимал их за освежительные опахала» [3].

Наталья Николаевна испугалась. Ни до, ни после случившегося эта женщина не испытывала такого страха, какой ей пришлось пережить в те дни. Говоря словами тётушки Екатерины Ивановны, «деточка здорово опростоволосилась». Наверное, тётушка была права. Муж, сколько мог, старательно закрывал глаза на её заигрывания с этим Дантесом. Каков хлыщ, он захотел больше, чем она могла ему дать. А ведь муж предупреждал! Бедный Александр…

Анонимки заставили во всём сознаться. Хотя в чём было сознаваться, ведь ничего же… А как же встреча у Полетики? Вот оно! Сама она, конечно, знает, что ничегошеньки не было! Но кто и, главное, как докажет, что именно ничегошеньки? Какие «ничегошеньки», когда наедине? С чужим мужчиной в чужой квартире… И это, несомненно, западня. Александр, спасибо ему, кажется, всё понимает, а потому верит. Ведь она – верная жена. Но верная ли, если допустила такое?!

В эти дни Пушкин несколько раз видел супругу с заплаканными глазами. Доигралась, стрекоза, дококетничалась. Пусть поплачет. Плачь не плачь, поединка не избежать. Только дуэль прекратит всю гнусность, нацеленную против его семьи. Натали – средство, но не цель. Цель – он сам, для которого типы, подобные Дантесу, являются олицетворением фанфаронства и развязного порока. Увлечь неопытную женщину и опозорить – поступок, достойный негодяя… Стреляться!

Две недели, данные Геккеренам, следует использовать с умом. Первое, привести в порядок все дела, особенно финансовые. На сей раз стреляться придётся по-настоящему. Следует ждать чего угодно. Дантеса, вне всякого сомнения, необходимо убить. И он сделает это! Несмотря на лживые слёзы голландского посланника. Пути назад нет, две недели – крайний срок…

А если… Вдруг исход поединка окажется трагическим для него самого? Не секрет, дуэль – что русская рулетка: сегодня ты, завтра – тебя. Долги! Вот от чего он должен освободить семью прежде, чем состоится дуэль. Тяжелее всего долг казне в 45 000 рублей, который Высочайше было разрешено погашать из годового жалованья. Проблему смогла бы решить продажа Болдинского имения, вернее его части, принадлежавшая Пушкину.

6 ноября поэт пишет министру финансов соответствующее

письмо. (Министерство достаточно оперативно отклонило данное ходатайство г-на Пушкина.) В эти дни поэт серьёзно задумывается над тем, как обезопасить семью в случае чего. «В случае чего» обычно звучит как присказка. Когда непредвиденное всё-таки происходит, о другом уже не думают: его принимают как неизбежное…

Якоб Геккерен де Бевервaард не зря считался искусным дипломатом. Ему без труда удалось разжалобить не только Пушкина, но и его, по сути, доверенное лицо – Василия Андреевича Жуковского.

– Как я был неправ! – вскричал Геккерен, желая окончательно сломить сопротивление придворного воспитателя. – Ведь Жорж умолял меня разрешить брак с Катрин, но я ему отказывал. Однако теперь, видя, что упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, я, наконец, дал на этот брак согласие…

– Таким образом, вышло полное недоразумение, – согласился с посланником Жуковский. – Следует немедленно остановить дуэль…

– Вот именно! – вскричал Геккерен. – Однако теперь, когда Жорж принял вызов мсье Пушкина, он не может просить руки Катрин, понимаете?.. Другое дело, если мсье Пушкин возьмёт свой вызов обратно. Тогда честь обоих будет сохранена, и они даже станут родственниками…

Вечером 7 ноября Жуковскому суждено было ещё раз встретиться с Геккереном. Он рассказал посланнику о своей встрече с Пушкиным и о том, что Александр Сергеевич не верит в серьёзность намерений Дантеса в отношении Катрин Гончаровой. Поэт видит в этом исключительно повод уклониться от дуэли.

Однако и Жуковский, и Геккерен понимали: женитьба Дантеса на Катрин Гончаровой – единственное, что могло изменить внезапно сгустившуюся ситуацию. Главное, считали они, избежать смертельного поединка. Воспользоваться этим – значит спасти жизнь одного из дуэлянтов. А может, и обоих…

* * *

Сватовство Геккерена-младшего к Екатерине Гончаровой произвело на петербургское общество эффект разорвавшейся бомбы. Главный вопрос, терзавший каждого, заключался в следующем: *с чего бы вдруг? Ведь о назревающей дуэли между*

Пушкиным и Дантесом почти никто ничего не знал. Зато было известно другое: барон Геккерен намеревался женить сына если и не на знатной княгине, то однозначно на невесте с состоянием никак не меньше в несколько миллионов. Это обеспечило бы паре безбедную жизнь, а самому посланнику – «благостную» старость.

И вдруг – одна из Гончаровых. Катрин – провинциалка, ставшая фрейлиной благодаря связям её тётушки Загряжской. У последней, к слову, имелись свои виды на сестёр, которых она мечтала выдать за столичных толстосумов – пусть и немолодых, но из числа тех, для которых жениться на фрейлине Императорского двора столь же престижно, как завести лошадь из шахской конюшни. Поэтому со сватовством Дантеса было не всё понятно.

Вот что по этому поводу писала мужу графиня С.А. Бобринская, имевшая при дворе Николая Павловича значительный вес:

«Никогда еще, с тех пор как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина» [4].

С.Н. Карамзина[46]: «…Завтра, в воскресенье, состоится эта удивительная свадьба… а Пушкин проиграет несколько пари, потому что он, изволите видеть, бился об заклад, что эта свадьба – один обман и никогда не состоится. Всё это по-прежнему очень странно и необъяснимо; Дантес не мог почувствовать увлечения, и вид у него совсем не влюбленный. Катрин во всяком случае более счастлива, чем он» [5].

Если о предстоящей дуэли никто ничего не знал, то о страсти Дантеса к Натали Пушкиной охотно судачили. Тем неожиданней стала новость о сватовстве француза к Катрин Гончаровой. Этой новостью заинтересовались даже при дворе.

«Мне бы хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса», – писала вдовствующая императрица Александра Фёдоровна своей фрейлине Екатерине Фёдоровне Тизенгаузен, дочери Елизаветы Михайловны Хитрово [6].

Провести петербургское общество удавалось редко кому; чаще само общество подстраивало ловушку любому неосмотрительному. Ничего удивительного, что петербуржцы быстро смекнули, что дело со сватовством Дантеса с какой-то червоточинкой. Непонятное всегда притягивает некой тайной и непредсказуемостью. В данном случае тайна была налицо, поэтому привлекала внимание, рождая самые противоречивые слухи.

Тот ноябрь бурлил сплетнями о предстоящей свадьбе Геккерена-младшего. Важно, что идейными вдохновителями слухов были сами же Геккерены. Именно голландский посланник додумался запустить утку о том, будто его сын намеревался жениться на Гончаровой не сегодня и даже не вчера, а за несколько месяцев до того, как это стало известно всем. Уверить в этом он пытался также Жуковского и Екатерину Ивановну Загряжскую, которые, в общем-то, были не прочь такого хода событий. Ведь если это было на самом деле, то вопрос о поединке снимался сам собою, по определению.

«…Забыл просить вас, сударыня, – писал Геккерен Загряжской, – сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня, что намерение, которым вы заняты о К. и моем сыне, существует уже давно, что я противился ему по известным вам причинам, но, когда вы меня пригласили прийти к вам, чтобы поговорить, я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии, с условием, во всяком случае, сохранять все дело в тайне до окончания дуэли…» [7]

Оба секунданта слышали от Геккерена-старшего то же самое: какая дуэль, если Жоржа всегда интересовала только Катрин?..

* * *

Между тем Пушкин, как уже было сказано, стал понемногу остывать. Когда со всех сторон начинают твердить одно и то же, поневоле задумаешься: может, всё намного проще? Катрин и Дантес – чем не пара?.. В жизни всякое случается.

За двадцать лет до его рождения, в январе 1779 года, дедушка поэта, Осип Абрамович Ганнибал, обвенчался с некой Устиньей Ермолаевной Толстой, богатой помещицей. И всё бы ничего, если бы любвеобильный Ганнибал уже не был женат. Покинув законную супругу Марию Алексеевну с малолетней дочуркой Надеждой (матерью Пушкина), ловелас представил священнику фальшивое свидетельство о смерти жены. Женитьба на помещице принесла Осипу 27 тысяч приданого.

Однако семейное счастье с Толстой длилось недолго. Вскоре брак был расторгнут, а на Осипа Абрамовича обрушился гнев обеих жён – Марии и Устиньи. Первая возбудило дело о двоежёнстве мужа, вторая – через суд взыскала с него свои кровные тысячи. Судебная тяжба затянулась на годы. Ганнибал был приговорён к семилетнему церковному покаянию, предполагавшему пребывание в монастыре; выручил брат, благодаря которому наказание было заменено морской службой

на Чёрном море. В конце концов, загнанный в угол, в октябре 1806 года «двоеженец» скончался. Причиной смерти деда стали, как любил говаривать Пушкин, *«следствия невоздержанной жизни»…*

Любвеобильность дедушки, несомненно, передалась и его внуку. Однако слова Василия Андреевича Жуковского, попрекавшего похождениями самого ревнивца, поэта сильно ранили.

– Мало, что ли, Лександр Сергеич, грешков-то на тебе? – говорил, качая головой, Жуковский. – Будь благоразумен, сколько Наталья Николаевна из-за тебя слёз пролила…

– Ну так то совсем другое дело, – парировал Пушкин. – Мужик он мужик и есть, сам знаешь, Василий Андреевич.

– То-то, брат. А вспомни-ка, друг сердечный, как…

– Василий Андреевич, умоляю!.. Жалко Натали. Ей, бедняжке, сильно досталось…

– Выходит, ты тоже виноват. Молоденькую жёнку вовремя не избавил от ухаживаний этого француза. Натали – красавица, спору нет; но молода, неискушённая… Тут, брат, и не такие обжигались… Вот сам и виноват. Смотреть надо было за женой-то, приглядывать, а ты, чай, больше за чужими жёнами приглядывал…

– Да я в последнее время…

– Даже не оправдывайся, Лександр Сергеич. Все эти вульгарные анонимки, вся эта грязь, скажу тебе, лицо Немезиды. Порочное и злое. Уж извини, дружок, коли что не так…

Пушкин ничего не ответил. Жуковский покосился на друга и вдруг с удивлением заметил, что тот краем манишки вытирает накатившуюся слезу…

Вечером восьмого Пушкин отнёс «лже-диплом» некоему Михаилу Яковлеву, бывшему приятелю по Царскосельскому лицею, заведовавшему типографией Второго отделения имперской канцелярии. Следовало разобраться (хотя бы на глазок), откуда «дует ветер». Яковлев, знаток своего дела, быстро охарактеризовал представленный «материал»: бумага иностранного производства, отличного качества, следовательно, при провозе в Россию за неё заплачена высокая пошлина. Вывод: скорее всего, бумага из посольства.

– Не из голландского ли, приятель? – не удержался Пушкин.

– Эк, хватанул, – ухмыльнулся Яковлев. – Это может сказать лишь тот, кто анонимку накарябал. А я не волшебник…

Ночью Пушкину не спалось. После посещения Яковлева мозаика сложилась практически мгновенно: авторы злосчастных анонимок – голландский посланник и его приёмный сын.

Но при чём здесь Катрин?!

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Редко министр иностранных дел захочет оставаться праздным и дать забыть о себе. А между тем дипломатия только тогда и хороша, когда о ней, как о кесаревой жене, ничего не говорят. В наше время перья дипломатов приводят к войне, а пушки – к миру. Первые так запишутся, что иначе разнять их нельзя, как дракою; другие так выпалятся, так много перебьют народа, что по необходимости приходится мириться» [8].

Даже в тесном «карамзинском кружке», где каждый друг о друге знал если и не всё, то достаточно, чтобы родилась очередная сплетня, о серьёзности намерений Дантеса никто не догадывался. Хотя многие знали, что у Катрин с Жоржем флирт, который, как шутил француз, на самом деле «для отвода глаз». Теперь, качали головами в «кружке», приходится признать, Екатерина Гончарова явилась самой что ни на есть разменной монетой в сложной игре Геккеренов.

Из письма С.Н. Карамзиной (о Дантесе):

«…Продолжает все те же штуки, что и прежде, – не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой в конце концов все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как всё это глупо» [9].

«В настоящее время мы можем с полной уверенностью утверждать, что никаких слухов и предположений о возможной женитьбе Жоржа Геккерна на Екатерине Гончаровой в петербургском обществе до 4 ноября не существовало, – пишет С. Абрамович. – Именно поэтому известие о помолвке восприняли как из ряда вон выходящую новость и в большом свете, и в кружке карамзинской молодежи, где Дантес бывал осенью 1836 г. чуть ли не каждый вечер» [10].

Как видим, проект «скоропалительной» женитьбы Дантеса на Екатерине Гончаровой возник внезапно, после вызова Пушкина француза на дуэль. И впервые об этом было сказано утром 7 ноября, во время посещения В.А. Жуковским голландского посланника.

Если представить неслыханную травлю поэта Пушкина и его семьи, устроенную Геккеренами, в виде паутины, то в центре ловушки без труда обнаруживается чудовищный Паук в лице Якоба ван Геккерена. Изворотливый лгун и откровенный

приспособленец, этот порочный негодяй, никогда не имевший семьи и собственных детей, к середине своей никчемной жизни, наконец-то, достиг желаемого: будучи посланником в чужой стране, при хорошем жалованьи и высоком положении, он сделал «ход конём», усыновив молодого любовника, что помогло избежать противоречивых слухов. Дело оставалось за малым – помочь «Жоржику» с карьерой и выгодной женитьбой.

У Паука деньги, связи, влияние. Но главное оружие этого человека – врождённая подлость, способная на самые низкие, поистине дьявольские поступки. Даже убийство ближнего, оказавшегося на пути, в глазах Паука – нечто неизбежное. Он остро реагирует на любой недружественный жест, слово, взгляд, всегда нападая первым. Своё тщедушие и нервозность Геккерен компенсирует изворотливостью ума и готовностью совершить любую низость ради удовлетворения похоти или достижения поставленной цели. Страдания приёмного сына по замужней женщине, которая оказалась «просто кокеткой», взбесили голландца. Как смеет какая-то бесприданница вести себя столь нагло?! И тогда Геккерен-старший самым бессовестнейшим образом заявляет даме, что та… «должна уступить».

Услышав подобное, Наталья Николаевна приходит в полное замешательство. Даже если до этого она и испытывала какие-то симпатии к Дантесу, то теперь от чувств ничего не осталось. Посланник добился прямо противоположного. В делах сердечных следует действовать более тонкими отмычками, нежели фомка и топор.

Вскоре после этого появляются слухи о «ветрености» самого Пушкина, а вслед за этим – подлые пасквили. Итак, в ход пущено главное орудие Паука – яд, название которому *подлость. Одного не учёл голландец – Пушкин оказался человеком чести. Быстро разобравшись в происходящем, поэт «вычислил» анонимщиков, после чего сделал свой вызов.*

При Николае Павловиче, который люто ненавидел поединки и всячески преследовал дуэлянтов, встреча у барьера могла серьёзно повредить не только карьере, но и положению Геккеренов в обществе. Вызов Пушкина сильно напугал посланника. И не столько из опасения потерять приёмного сына, сколько из-за перспективы лишиться собственного реноме. Дуэль могла стать причиной отзыва на родину; одна мысль об этом приводила Геккерена в содрогание. А гибель «сынка» сделала бы эту пилюлю ещё горше. В любом случае, поединок лишал Паука и паутины, и сына: даже если Жоржа не убьют, после дуэли он сам сбежит от отца-неудачника в случае отзыва последнего из России.

На Пушкина же Геккеренам был наплевать. Пауку всё равно,

чья животрепещущая плоть в лапах – главное, чтоб живая. И не сильнее самого хищника.

Молодость строптива – Дантес рвался в бой! И лишь один человек – его приёмный отец – сдерживал удила: дуэль, настаивал он, погубит обоих. Действительно, поединок сулил Дантесу в лучшем случае высылку на Кавказ. В худшем… Об этом лучше было не думать. Так что, хочешь не хочешь, Якоба приходилось слушаться. А тот требовал жертвы. И Геккерен-старший вскоре озвучил своё решение: жертвой будет женитьба. На одной из Гончаровых, скорее, на Катрин.

– Она милее, не правда ли? – посмотрел на сына Геккерен.

– Но как же так?.. – промямлил «сынок».

– Насколько я знаю, вы с ней флиртуете давно…

Когда об этом было сообщено самой Екатерине, та чуть не упала в обморок.

Из письма А.Н. Гончаровой племяннице:

«Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за… вашей теткой Катериной; он хотел сделать из нее ширму, за которой он достиг бы своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами сразу. Но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство» [11].

Любовь зла…

И всё же Дантес ослушался. Нет, он по-прежнему оставался верен своему благодетелю, однако перед тем как окончательно связать себя узами брака с той, на которую ему было указано, попытался-таки ухватиться за соломинку. Тогда-то он и сделал последнюю попытку посвататься к княжне Барятинской, которая дала «шаромыжнику» от ворот поворот. Так что Дантесу ничего не оставалось, как доверить свою судьбу приёмному батюшке: на сей раз он был готов к жертве.

И Геккерен-старший начал действовать. Седьмого ноября он дважды встречался с Жуковским; восьмого – с фрейлиной Загряжской. Теперь этим троим предстояло, во-первых, решить вопрос с женитьбой, а во-вторых, окончательно снять вопрос относительно поединка. Опытный дипломат, Геккерен так и заявил Загряжской: официальное предложение от его сына поступит либо сразу после дуэли, либо в случае отказа Пушкина от поединка. Как бы то ни было, эти переговоры с самого начала носили некий оттенок семейного обсуждения. Что вполне понятно: женитьба Дантеса на Катрин Гончаровой решала проблемы всех – Геккеренов, Пушкиных и отчасти Гончаровых. Как-никак старшую выдавали «за приличного жениха»…

* * *

В семье Пушкиных происходящее виделось в несколько ином свете. Теперь занервничала Натали. Ещё накануне, говоря с мужем о Дантесе, она была спокойна и холодна, всем своим видом давая понять, что отныне французишка для неё пустое место. Однако после известия о его сватовстве к Катрин всё изменилось. Эта новость больно ударила по самолюбию «первой красавицы» столицы; Наталья Николаевна никак не могла взять в толк, как такое вообще могло произойти. Неужели, признаваясь в любви к ней, Дантес на самом деле страдал по сестре? И сама же отвечала: вряд ли. В противном случае получалось, что француз просто-напросто *волочился в погоне за очередной победой на любовном фронте. И вот это угнетало Натали больше всего…*

Полным контрастом внутренней растерянности Натали выглядела радость старшей сестры, для которой предстоящая помолвка вскружила голову. С какого-то времени все помыслы Катрин оказались связаны с единственной надеждой – выйти замуж за Жоржа Дантеса-Геккерена. Между сёстрами словно пробежала кошка.

С.Н. Карамзина: «…Дантес, молодой, красивый, дерзкий Дантес (теперь богатый), который женится на Катрин Гончаровой, и, клянусь тебе, он выглядит очень довольным, он даже одержим какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием… Натали нервна, замкнута, и, когда говорит о замужестве сестры, голос у нее прерывается. Катрин от счастья не чует земли под ногами и, как она говорит, не смеет еще поверить, что все это не сон. Публика удивляется, но, так как история с письмами мало кому известна, объясняет этот брак очень просто. Один только Пушкин своим взволнованным видом, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, и своей манерой обрывать Дантеса и избегать его в обществе, добьется того, что возбудит подозрения и догадки» [12].

Для Пушкина вид расстроенной жены говорил о многом. Его больно трогал сам факт того, как болезненно Натали отреагировала на сватовство француза к сестре. Это свидетельствовало только об одном: неожиданная «влюблённость» Дантеса к Катрин Наталью Николаевну сильно задела. Выходит, этот француз жене был небезразличен, следовательно, супруга что-то недоговаривала.

Так и оказалось. Вскоре (возможно, под давлением мужа) Натали рассказала то, что окончательно убедило Пушкина в своих умозаключениях: авторы низких пасквилей – Геккерены. Наталья Николаевна поведала, как посланник уговаривал её написать Дантесу письмо, в котором умоляла бы его не стреляться с мужем. Когда же речь зашла о сватовстве к Катрин, скрывать

очередную подлость Геккеренов стало бессмысленно.

Все потуги посланника, понял Пушкин, сводились к единственному – уклониться от поединка. Факты говорили за себя: поэт имеет дело с конченными негодяями. Пристрелить одного и публично уличить другого – значит сделать то, что требует от него долг. Долг человека чести…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«…Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен-Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун. Пушкин, во время пребывания своего в южной России, куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехал в город он до бала, сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою. Богатый граф, Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознательности по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть вплоть до нового запоя. Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть, эта поэзия, – это другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать…» [13]

Кишинёвский период в жизни Пушкина был полон острых ощущений.

Именно тогда Пушкин стрелялся с офицером Генерального штаба Зубовым, уличённым в нечестной карточной игре. Выведенному на чистую воду прапорщику ничего не оставалось, как вызвать поэта на дуэль.

– Решено, стреляемся! – ответил на вызов Зубова Пушкин. – Попадете ли вы в меня или нет – для меня это равно ничего не значит. Но для того чтобы в вас было больше смелости, предупреждаю: стрелять в вас совершенно не намерен… Ну как, согласны?

– К вашим услугам…

Стрелялись на окраине Кишинёва, в так называемой «малине». Зубов был немало удивлён, когда понял, что его противник действительно настроен миролюбиво. Пока прапорщик целился, Пушкин преспокойно… поедал черешни. «Психическая атака» вполне удалась: Зубов промахнулся. Ответного выстрела не последовало. (Этот эпизод позднее был использован писателем в рассказе «Выстрел».)

– Вы довольны? – спросил по окончании поединка Пушкин.

Вместо ответа Зубов бросился с объятиями.

– Э-э, братец, это лишне… – сказал Пушкин, сунув пистолет под мышку. Потом развернулся и ушёл…

В Кишинёве же Александр Сергеевич поссорился со статским советником Иваном Лановым. 65-летнему Ланову не понравилось, как во время праздничного обеда у наместника Бессарабии генерала Инзова молоденький поэт, мало что понимающий в жизни, выражал своё мнение по поводу и без. Чашу терпения переполнила дискуссия о вине, которое, по мнению чиновника, способно излечивать все болезни.

– И горячку? – засмеялся Пушкин.

– Молокосос! – не выдержал, побагровев, Ланов, который уже был изрядно подшофе.

– Виносос! – не остался в долгу поэт.

– Я вызываю вас, сударь, к барьеру! – раззадорился старик. Но, видя, что «юнец» открыто смеётся над его словами, продолжил: – Было время, к дуэлям относились серьёзно. Помню, при князе Таврическом месяца не проходило без поединка…

– Так когда то было… А теперь?

Ланов засопел и побагровел ещё больше. А Пушкина уже было не унять. Через несколько минут он выпалил в адрес статского советника сочинённую экспромтом эпиграмму:

Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей…

После услышанного лицо Ланова из багрового превратилось в некое подобие перезревшей сливы. Не сдерживая себя, он крикнул:

– Я вызываю тебя, молокосос!..

Вызов пришлось принять. Иначе, понял поэт, старика прямо за столом хватит удар.

Гости между тем, видя словесную потасовку молодого со старым, вовсю веселились, воспринимая ссору некой забавой. Однако когда генералу Инзову доложили о назревавшем скандале, тот отнёсся к случившемуся серьёзно. После непродолжительной беседы с Лановым тот заверил наместника оставить ссору без последствий. Ну а Пушкин, которого общество статского советника заметно утомило, был рад отделаться от него под любым предлогом. Ведь драться со стариком – только сделаться смешным…

* * *

Паук запах жертвы чувствовал за версту. В какой-то момент Геккерен понял, что Жуковского можно использовать в собственных интересах; причём если к делу подойти творчески, этот недотёпа, взявшийся быть посредником, даже ни о чём не догадается. Во время очередной встречи девятого ноября посланник навязал Василию Андреевичу письмо, в котором, помимо просьбы о посредничестве, содержалось пожелание, чтобы во время встречи Дантеса с Пушкиным последний *мотивировал свой вызов. Таким образом, поэт должен был оправдываться.*

Скрытую за витиеватыми строками подлость, которую не смог углядеть Жуковский, разгадал Пушкин. Василия Андреевича можно было понять: его целью было любой ценой спасти друга. Зато сам Пушкин прекрасно понимал, с кем имеет дело. Геккерены пытались выставить его шутом!

Нет уж, господа хорошие, никакой встречи с Дантесом! И никаких переговоров!..

На следующий день Жуковский был вынужден отказаться от посредничества. Письмо было возвращено Дантесу. Василий Андреевич чувствовал себя отвратительно. Именно так мучится человек, не справившийся с важным заданием. Поэтому волнение за товарища не покидало его.

«Хоть ты и рассердил и даже обидел меня, – писал он Пушкину, – но меня все к тебе тянет – не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем. Я приду к тебе между ½ 12 и часом; обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор и что теперь решено. Но ведь тебе, может быть, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак, приду. Дождись меня пожалоста. И выскажи мне все, что тебе надобно: от этого будет добро нам

обоим. Ж.» [14].

Жуковский дал понять: случись что – он всегда рядом…

И всё же Василий Андреевич не выдержал. Через пару-тройку дней он снова встречается с посланником. Но на этот раз ведёт себя совсем по-другому. Его напористость заставляет Геккеренов пойти на кое-какие уступки. Переговоры должны идти в другом направлении, заявляет Жуковский. На сей раз Геккерен-старший должен сам официально объявить Пушкину о намерении приёмного сына жениться на его свояченице и о своём согласии на этот брак. Всё это – взамен сохранения тайны истории вызова на поединок. Таким образом, Геккерен должен был поручиться своим словом перед Александром Сергеевичем о чистоте намерений. О том, что свадьба состоится…

Четырнадцатого числа Пушкин на квартире у Е.И. Загряжской встречается с Геккереном-старшим. Долгой беседы не получилось. Хотя результат был вполне ожидаемый: барон подтвердил сообщение Загряжской о согласии обеих семей на брак Жоржа Геккерена с Екатериной Гончаровой. Пушкин же заверил, что его вызов отныне можно рассматривать как не имевший места.

Однако посланник и здесь оказался верен себе: он потребовал от поэта подтвердить своё заявление письменно. Впрочем, это уже ничего не меняло – вернее, ни к чему не обязывало. Для Пушкина встреча оказалась маленькой победой – по крайней мере, ему не пришлось объясняться.

Мало кто знал, что вынужденный хрупкий мир не изменил отношения Пушкина к Геккеренам. Поэт разгадал Паука. А тот знал, что он разгадан. Для последнего важным было скрыть тайну вызова, сохранить приличия; для Пушкина – сохранить честь. Свою и семьи.

Однако поэт был слишком горяч, чтоб не думать о мщении…

* * *

Братья Аркадий и Клементий Россеты (из рассказов, записанных П.И. Бартеневым):

«Брюллов говорил про Пушкина: “Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны”.

Пушкин был на балу с женой-красавицею и, в ее присутствии, вздумал за кем-то ухаживать. Это заметили, заметила и жена. Она уехала с бала домой одна. Пушкин хватился жены и тотчас поспешил домой. Застает ее в раздеванье. Она стоит перед зеркалом и снимает с себя уборы. “Что с тобою? Отчего ты

уехала?" Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Тот как стоял, так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и сам с своим прекрасным хохотом передавал эту сцену приятелям» [15].

На 15 ноября Наталья Николаевна Гончарова была приглашена на великосветский бал в Аничков дворец. То был первый бал осеннего сезона, поэтому предусматривалось появление императорской четы. Натали, безусловно, была польщена, и если б не одно обстоятельство, была бы по-настоящему счастлива. Дело в том, что приглашали только её. Одну, без мужа.

Натали растерялась, не зная, как быть, и обратилась за советом к Василию Андреевичу Жуковскому. Тот тут же ответил.

Из письма В.А. Жуковского Н. Гончаровой:

«Разве Пушкин не читал письма моего? Я, кажется, ясно написал ему о нынешнем бале, почему он не зван и почему вам непременно надобно поехать. Императрица сама сказала мне, что не звала мужа вашего оттого, что он сам ей объявил, что носит траур и отпускает всюду жену одну; она прибавила, что начнет приглашать его, коль скоро он снимет траур. Вам надобно быть непременно. Почему вам Пушкин не сказал об этом, не знаю; может быть, он не удостоил прочитать письмо мое» [16].

Мнение «придворного мэтра» будет учтено, и Пушкин отпустит жену на бал одну. Как решили на семейном совете, отсутствие Пушкиной во дворце ещё больше обострит ситуацию и станет причиной новых сплетен. И Натали не подвела, не дав ни единого повода для сомнений в своей надёжной благочинности.

Императрица назвала Наталью Николаевну на том балу первой красавицей: «Пушкина казалась прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье. – Но не было той сладостной поэзии, как на Елагином» [17].

Всё правильно, Наталья Николаевна уже обожглась. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы понять: свет лицемерен и беспощаден. Утратив собственное реноме, вернуть его обратно почти невозможно. Не простят! Свет – тот же эшафот, где с оступившимся расправляются со скоростью ножа гильотины. А с обезглавленным какой прок церемониться? Поэтому угодить свету порой значило больше, чем собственному мужу. Но даже в такой игре следовало быть «комильфо», да и вообще, держать нос по ветру. Ведь дама без мужа – уже сама по себе «мишень»; всё зависит от степени влияния покровителей…

Фрейлина Загряжская здесь, в столице, была для Натали вместо матери, а потому обидеть Пушкину осмеливались далеко не все. Скорее наоборот, старались быть любезными. Не тот

человек Екатерина Ивановна, чтобы её можно было запросто и с ходу обидеть.

А кто попытался, тот… Тот, шушукались, вынужден жениться. Такой вот расклад…

* * *

Пушкин оказался верен слову и через Жуковского отправил посланнику письмо следующего содержания:

«Господин барон Геккерн оказал мне честь принять вызов на дуэль его сына г-на б.[арона] Ж. Геккерна. Узнав случайно? по слухам? что г-н Ж. Геккерн решил просить руки моей свояченицы мадемуазель К. Гончаровой, я прошу г-на барона Геккерна-отца соблаговолить рассматривать мой вызов как не бывший» [18].

Геккерен получил послание 16 ноября. Именно в этот день могла быть поставлена окончательная точка в деле о дуэли между Пушкиным и Дантесом. Могла быть. Но этого не произошло. Всё только начиналось…

В тот момент, когда всем участникам указанных событий, казалось, оставалось лишь свободно вздохнуть, вдруг взбрыкнул Дантес. По его мнению, письмо Пушкина хоть и было отказным, но слишком обнажало подоплеку дела. На виду оказывалось то, что так тщательно скрывалось: дуэль.

К Пушкину явился секундант Дантеса виконт д'Аршиак, принесший ответ на письмо:

«Милостивый государь. Барон де Г.[еккерн] только что сообщил мне, что он был уполномочен г. […] уведомить меня, что все те основания, по каким вы вызвали меня, перестали существовать и что поэтому я могу рассматривать это ваше действие как не имевшее места. Когда вы вызвали меня, не сообщая причин, я без колебания принял вызов, так как честь обязывала меня к этому; ныне, когда вы заверяете, что не имеете более оснований желать поединка, я, прежде чем вернуть вам ваше слово, желаю знать, почему вы изменили намерения, ибо я никому не поручал давать вам объяснения, которые я предполагал дать вам лично. – Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем закончить это дело, необходимо, чтобы объяснения как одной, так и другой стороны были таковы, чтобы мы впоследствии могли уважать друг друга.

Жорж де Геккерн» [19].

С первого взгляда понятно, что Дантес в кои веки решил

поиграть в самостоятельного и независимого от чьей-либо воли мусье. Вне всякого сомнения, это неуважительное письмецо было начертано им в отсутствие барона Геккерена. Драться – так драться! Кавалергард он – или так, хрупкий круассан?! Словом, г-н Пушкин, мсье Жорж Шарль Геккерен к вашим услугам…

Мало того, француз даже умудрился начертать проект письма, который бы его полностью удовлетворил.

Из сохранившегося черновика данного письма:

«Ввиду того, что г. барон Жорж де Геккерн принял вызов на дуэль, отправленный ему при посредстве барона де Геккерена, я прошу г-на Ж. де Г. благоволить смотреть на этот вызов как на несуществовавший, убедившись, случайно, по слухам, что мотив, управлявший поведением г. Ж. де Г., не имел в виду нанести обиду моей чести – единственное основание, в силу которого я счел себя вынужденным сделать вызов» [20].

Как видим, здесь нет и слова о сватовстве. Но и это не всё. На том же листке сохранилась некая инструктивная часть для секунданта:

«Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к м-ль де Г. Вот мои соображения, и я думаю, что г. де Пушкин их поймет. По тому, как поставлен вопрос в письме, можно было бы сделать из этого вывод, что дело обстояло так: “Жениться или драться”. Так как честь моя запрещает мне принимать условия, то эта фраза о сватовстве поставила бы меня в печальную необходимость принять последнее решение. Я еще настаивал бы на нем, чтобы доказать, что такой мотив брака не может найти места в письме, ибо я определенно решил сделать это предложение после дуэли, если только судьба была бы ко мне благоприятна. Необходимо, следовательно, точно констатировать, что я сделаю предложение м-ль Екатерине не в качестве сатисфакции или для улаживания дела, а только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это решено единственно моей волей!» [21]

Дантес не желал, чтобы его предстоящая женитьба была как-то связана с примирением. Однако француз не учёл одного: он имел дело не с сопливым придворным кавалергардом, каким являлся сам, а со зрелым мужчиной, успевшим повидать в жизни многое; по крайней мере, Пушкину был знаком не только блеск зеркал и звуки мазурки. Поэт был слишком умён, чтобы правильно оценить происходящее. Ничего удивительного, что он вновь вскипел.

Из дневника В.А. Жуковского:

«Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль…» [22]

Объясняться с виконтом д'Аршиаком не было необходимости.

– Завтра к вам, мсье д'Аршиак, явится мой секундант, – мрачно сказал Пушкин французу. – Вместе с ним обговорите место и время поединка…

Д'Аршиак смешался. По всему было видно, что он никак не ожидал такого ответа.

– Но… Monsieur Pushkin…

– И на этом – закончим…

Всё возвращалось на круги своя…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«На немецком курорте молодой француз ухаживал за красивой русской дамой, вовсе не безразличной к его вниманию. Ее простоватый муж не питал ни малейших подозрений насчет того, что затевалось у него под носом. Более проницательный друг посоветовал ему немедленно увезти жену назад в деревню, напоминая ему, что сезон охоты начался, и добавил: "Главное, вовремя, потому что рога уже слышны"» [23].

Шестнадцатого Пушкины были приглашены на именины к Екатерине Андреевне Карамзиной[47]. Праздник – не поминки; поэтому все были веселы, шутили, много ели-пили… Лишь Александр Сергеевич выглядел несколько подавленным.

Во время застолья он неожиданно склонился к сидевшему рядом с ним Владимиру Соллогубу и скороговоркой сказал:

– Завтра же ступайте к д'Аршиаку. Главное, условьтесь с ним насчёт материальной стороны дела. Чем кровавее – тем лучше. И никаких объяснений!..

Соллогуб ничего не ответил. Он знал, что возражать не имело смысла…

Смысла отговаривать Пушкина действительно не было. Поэт для себя уже всё решил. Встретив вечером на большом рауте в австрийском посольстве д'Аршиака, он заявил:

– Вы, французы, очень любезны. Знаете латынь и прочее… Когда же вы стреляетесь, то становитесь в тридцати шагах. У нас, русских, иначе: чем меньше объяснений, тем беспощаднее поединок…

Потом Пушкин вошёл в залу, где под яркими свечами блистал весь высший свет. По случаю траура (накануне умер французский король Карл X) женщины были в тёмных платьях.

Исключение составляла Екатерина Гончарова, приехавшая в белом; рядом любезничал Дантес. Смотреть на эту парочку Пушкино было неприятно. Через какое-то время он подошёл к Катрин и что-то стал яростно ей говорить, указывая глазами на кавалера. Впрочем, досталось и Дантесу…

В. Соллогуб: *«Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком, статным молодым секретарём французского посольства, мы выразительно переглянулись, но разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек.*

"Я человек честный, – отвечал он, – и надеюсь скоро это доказать". Затем он стал объяснять, что не понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принуждён, но никаких ссор и скандалов не желает» [24].

Казалось, ещё немного, и Пушкин сорвётся. Лишь присутствие высокопоставленных особ сдерживало поэта от необдуманного поступка. Наконец, быстро развернувшись, он покинул посольство.

К счастью, его жена в тот вечер осталась с детьми дома…

Ехать к д'Аршиаку не хотелось, тем более что Соллогуб его почти не знал. Сказать об этом прямо Александру Сергеевичу, пребывавшему в эти дни в самом скверном состоянии духа, он не решился. А потому направился прямиком к Дантесу. Однако француз отослал секунданта всё к тому же д'Аршиаку. «Жоржик» уже получил нагоняй от отца, присмирел. Было ясно, что именно им, Дантесом, было нарушено хрупкое перемирие. Вот и в разговоре с Соллогубом он был чрезмерно осторожен. Хотя признался, что хочет жениться на Екатерине Гончаровой, добавив при этом:

– Пушкин взял назад свой вызов, но я не хочу, чтобы дело выглядело так, будто я женюсь, чтобы избежать поединка. К тому же я не желаю, чтобы при этом произносилось имя женщины. Вот уж год как старик не хочет разрешить мне жениться…

Слова Дантеса поразили Соллогуба (до этого он ничего не знал о сватовстве). Поэтому, обрадовавшись, он кинулся обратно к Пушкину. Однако всё, что он рассказал Александру Сергеевичу, последнего сильно расстроило: Соллогуб всё сделал не так.

– Не хотите быть моим секундантом? – спросил он Соллогуба. – Ваше дело. Я возьму другого. А сейчас отправляйтесь к д'Аршиаку и договоритесь с ним об условиях поединка. И, повторяю, не вступайте с ним ни в какие переговоры…

Соллогуб ругал себя последними словами, что ввязался в это дело. Но, как говорится, назвался груздем – полезай в кузов…

Д'Аршиак ознакомил секунданта Пушкина с обстоятельствами дела. Вопрос вызвала записка Пушкина о том, что он «берет назад свой вызов на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке К.Н. Гончаровой».

– Прошу вас, мсье, уговорите господина Пушкина. Ручаюсь, господин Дантес женится на Катрин, а все мы предотвратим, возможно, большое несчастье… Предлагаю сделать перерыв до трёх часов дня.

Соллогубу ничего не оставалось, как согласиться.

* * *

Д'Аршиак схитрил. Он надеялся, что время, предоставленное Соллогубу, тот использует с пользой, доложив Пушкину предложение противной стороны. Этот же перерыв дал бы французам неплохую передышку для размышлений.

Однако Соллогуб по своей неопытности на Мойку не пошёл, решив туда вернуться с уже готовыми условиями поединка.

Нервы Пушкина были на пределе. Не дождавшись Соллогуба к обеду, он отправился к Клементию Россету, предложив тому быть его секундантом. Россет сначала отпирался, но потом заявил:

– Не поверите, я этого Дантеса терпеть не могу! Так что примирить вас у меня не получится. Однако если вы, Александр Сергеевич, избавите петербургское общество от этого шаромыжника, мы все вам будем очень признательны… Впрочем, быть секундантом на месте поединка готов. К вашим услугам, господин Пушкин…

После этого они отправились на Мойку, где их ждал сытный обед…

Тем временем Соллогуб продолжал вести трудные переговоры с д'Аршиаком. Хотя сейчас присутствующих (вместе с Дантесом) уже было трое. Поединок был назначен на субботу, 21 ноября. Место дуэли – Парголовская дорога; время – 8 утра. С десяти шагов.

«Я был, согласно вашему желанию, у г-на д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте, – писал Соллогуб Пушкину. – Мы остановились на субботе, ибо в пятницу мне никак нельзя будет освободиться, в стороне Парголова, рано поутру, на дистанции в 10 шагов. Г-н д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон

Геккерн окончательно решил объявить свои намерения относительно женитьбы, но что, опасаясь, как бы этого не приписали желанию уклониться от дуэли, он по совести может высказаться лишь тогда, когда все будет покончено между вами и вы засвидетельствуете словесно в присутствии моем или г-на д'Аршиака [что считая его неспособным ни на какое чувство, противоречащее чести, вы приписываете его], что вы не приписываете его брака соображениям, недостойным благородного человека. […] Не будучи уполномочен обещать это от вашего имени, хотя я и одобряю этот шаг от всего сердца, я прошу вас, во имя вашей семьи, согласиться на это условие, которое примирит все стороны. – Само собой разумеется, что г-н д'Аршиак и я, мы служим порукой Геккерна. Соллогуб.

Будьте добры дать ответ тотчас же» [25].

Написанное было показано д'Аршиаку.

– Я согласен, – сказал тот по прочтении. – Пошлите…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

*«Американец Толстой говорит о ***: "Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в сравнении с душою его он покажется блондинкою". Однажды в Английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением; но, видя, что во все продолжение обеда барин пьет одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: «"Да это самозванец. Как смеет он носить на лице своем признаки им не заслуженные?"…»[26]*

За десять лет до описываемых событий Пушкин вызвал на дуэль графа Фёдора Ивановича Толстого-«Американца». Отставной гвардейский полковник и ветеран Отечественной войны 1812 года, Толстой больше был известен как картёжный игрок и бретёр. Пушкин был обижен на графа за оскорбительные слухи, пущенные Толстым, что поэта якобы высекли в Тайной канцелярии. Впрочем, Толстого можно было понять – то был его ответ на едкую эпиграмму Пушкина:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,

Он загладил свой позор,
И теперь он – слава богу —
Только что картежный вор.

Зарецкий у Пушкина, Долохов у Толстого – это всё он, «Американец». Дуэли были для Толстого своего рода обычным времяпрепровождением. Так, однажды Фёдор Иванович должен был выступать в качестве секунданта одного из своих близких друзей. Дуэльный соперник товарища был хорошим стрелком, что для друга могло закончиться плачевно. Дабы предотвратить худшее, Толстой срочно вызвал противника приятеля на дуэль и убил его. И такое поведение бретёра считалось в порядке вещей.

В январе 1821 года Москву всколыхнуло известие: граф Фёдор Толстой венчается с некой Авдотьей Максимовной Тугаевой. В сей новости имелось два несовместимых противоречия. Во-первых, беспутный граф, наконец-то, женился; а во-вторых, его возлюбленной оказалась… цыганка.

Мария Каменская в своих «Воспоминаниях» пишет:

«Раз он проиграл в клубе большую сумму денег, не мог заплатить их и должен был быть выставлен на черную доску. Графская гордость его не могла пережить этого позора, и собрался всадить себе пулю в лоб. Цыганочка, видя его в возбужденном состоянии, начала выспрашивать:

– Что с тобою, граф? Скажи мне! Я, быть может, могу помочь тебе.

– Что ты ко мне лезешь? Чем ты можешь помочь мне? Ну, проигрался! Выставят на черную доску, а я этого не переживу!.. Ну, что ты тут можешь сделать? Убирайся!

Но Пашенька не отставала от него, узнала, сколько ему нужно денег, и на другое утро привезла и отдала их ему…

– Откуда у тебя деньги? – удивился Фёдор Иванович.

– Откуда? От тебя! Разве ты мало мне дарил?! Я все прятала… а теперь возьми их, они твои…» [27]

После женитьбы на цыганке перед Толстым закрылись двери домов уважаемых семейств и великосветских салонов. Однако Фёдор Иванович пережил оное достаточно спокойно, прожив с женою двадцать пять лет, до своей смерти, нажив при этом двенадцать детей. Несмотря на то что в браке с Дуняшей граф был счастлив, их детишки как один умирали в младенчестве. А почему – знал сам «Американец»: на счету последнего было одиннадцать загубленных душ. И когда скончался одиннадцатый ребёнок, он произнёс:

– Ну всё, теперь в расчёте…

Зрелого возраста достигла лишь его дочь Прасковья Фёдоровна, которая стала супругой московского губернатора и прожила долгую жизнь.

К тому времени, когда Пушкин встретился с Толстым за карточным столом, тот уже успел прославиться как безжалостный дуэлянт. Сыграть в партию с «Американцем» уже считалось рискованным – Толстой частенько передёргивал. Во время игры с поэтом он даже не скрывал, что мошенничает. Пушкин указал ему на это.

– Да я это и сам знаю, – ответил Толстой. – Но не люблю, чтобы мне это замечали…

Слово за слово, дело едва не закончилось дуэлью, которая, если бы состоялась, не сулила поэту ничего хорошего. Благодаря друзьям того и другого драчунов удалось помирить…

Через несколько лет Пушкин вспомнит о Фёдоре Толстом, избрав его посредником при сватовстве к Наталье Гончаровой. Граф доверие оправдал, доведя нелёгкое сватовство до желанной свадьбы…

Вызов на дуэль в апреле 1827 года от артиллерийского офицера Владимира Соломирского стал для поэта неожиданным. Служивый питал неравнодушие к кузине – княжне Софи Урусовой[48], которая была без ума от творчества Александра Сергеевича. И Соломирского это сильно раздражало. Вот и рассказ о графине А.В. Бобринской[49], в адрес которой Пушкин, будучи в гостях, неуважительно высказался, сильно задел артиллериста. По окончании повествования Соломирский возмутился:

– Как вы смели отозваться неуважительно об этой особе? Я хорошо знаю графиню, это во всех отношениях почтенная особа. Поэтому я не могу допустить оскорбительных о ней отзывов…

– Зачем же вы не остановили меня, когда я только начинал рассказ? – спросил Пушкин. – Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Бобринской? Вместо этого вы спокойно выслушали весь рассказ, и потом каким-то донкихотом становитесь в защитники этой дамы и берете её под свою протекцию…

На том и разошлись. Однако поутру Соломирский послал Пушкину вызов. Следует заметить, офицер считался в полку метким стрелком, поэтому поединок для Пушкина мог закончиться трагически. И тут в дело вмешались опытные секунданты (у Пушкина – штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка Муханов, у Соломирского – граф Шереметев). Убийство известного поэта могло серьёзно покачнуть их реноме, так что тем ничего не оставалось, как свести дело к миру…

* * *

Письмо от Соллогуба вестовой доставил на Мойку без задержки. Прочитав его, Пушкин успокоился. Он победил! Ещё вчера эти умники требовали от него отказаться от дуэли без всяких объяснений, но уже сегодня они согласны называть вещи своими именами, ручаясь, что сразу после отзыва его вызова француз будет просить руки Катрин Гончаровой. Другое дело. Хитрецам щёлкнули по носу; пусть будет наукой. Напакостил – будь доб ответь.

Несмотря на то что от Пушкина требовалось лишь устное подтверждение, поэт в качестве ответа отправил письмо:

«Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккена на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.

Прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом так, как вы сочтете уместным.

Примите уверения в моем совершенном уважении.

А. Пушкин.

17 ноября 1836 года» [28].

Получив ответ от Пушкина, все кинулись поздравлять Дантеса с предстоящей свадьбой. Геккерен-младший сиял. Подойдя к Соллогубу, он с улыбкой на лице сказал несостоявшемуся секунданту:

– Ступайте к господину Пушкину и поблагодарите его за то, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья…

Чуть позже Соллогуб с д'Аршиаком отправились на квартиру Пушкина на Мойке, чтобы официально сообщить тому об окончании дела.

Пушкин обедал. При появлении секундантов он провёл их в свой кабинет, где, будучи «несколько бледен», молча выслушал решение. Однако неопытный Соллогуб в который раз сел в калошу, заявив:

– С моей стороны я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем как со знакомым…

– Напрасно, сударь, – не удержался Пушкин. – Этого никогда не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего

общего быть не может… Впрочем, – повернулся он к д'Аршиаку, – я признал и готов признать, что господин Дантес действовал как честный человек…

– Большего мне и не нужно, – кивнул д'Аршиак. – Честь имею…

После ухода виконта Александр Сергеевич вернулся в столовую. Вся семья внимательно глядела на хозяина.

– Поздравляю вас, сударыня, – обратился он к Катрин. – Вы – невеста. Мсье Дантес просит вашей руки…

Как вспоминал присутствующий на обеде Клементий Россет, Екатерина «бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна – за нею» [29].

– Каков! – сказал Пушкин, посмотрев на Россета…

Дантес не решился ехать к Пушкину. Этот малый вообще был нерешительный, предпочитая, чтобы щекотливыми вопросами занимался сам посланник. Проще было вместе с приёмным отцом поехать к фрейлине Загряжской. В тот вечер барон Геккерен от имени Дантеса официально сделал предложение Екатерине Николаевне Гончаровой.

Вскоре весть о помолвке молодого Геккерена и Катрин Гончаровой облетела весь Петербург. Со скандальной историей было покончено. Навсегда. По крайней мере, так казалось всем участникам этого дела…

* * *

Отличительное качество паукообразных – патологическая ненасыщаемость. Постоянный голод заставляет их не терять бдительности. Даже если сыты, работа по поиску жертвы не прекращается. Когда же жертва на виду, хищник будет делать всё возможное, чтобы заманить её в расставленные сети.

Принуждение к примирению не успокоило Геккерена-старшего. Уж слишком высокой в глазах Паука оказалась уступка. По сути, его паутину разорвали в клочья! Так что приходилось всё начинать сызнова. Например, сделать ложный выпад в виде *ложных слухов. Потерянную инициативу следовало вернуть любой ценой! Слухи – рупор последних новостей; они громче труб и фанфар, а также всех газет, вместе взятых. Главное – кто их источник. Если таверны и кафе – это одно; когда – великосветские салоны – совсем другое. Чем выше – тем лучше. В любом случае, надёжнее.*

Паук начал с графа Нессельроде, российского министра иностранных дел, к которому был вхож по службе[50]*. А уж потом*

будут остальные: Барятинские, Белосельские, Трубецкие… Жоржик, ненавязчиво убеждал всех барон, слишком благороден, чтобы не пожертвовать собою ради репутации любимой женщины. И пошло-поехало: Дантес – жертва; он – истинный рыцарь, спасший честь замужней дамы; герой-романтик, который, любя одну, женится на другой… В «рыцарство» француза поначалу поверили даже в «карамзинском кружке».

А.Н. Карамзин: «Я… краснею теперь оттого, что был с ним в дружбе… Он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига… Он передо мною прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал честью, благородством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже П[ушкиной], его любви к Екатерине Г[ончаровой], всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности. У меня как будто голова закружилась, я был заворожен, но, как бы там ни было, я за это жестоко наказан угрызениями совести…» [30]

К слову, Александра Карамзина Дантес пригласит шафером на свою свадьбу с Катрин…

В какой-то момент слухи, порочащие Наталью Николаевну, дошли до её мужа. Пушкин сдерживал себя как мог. А потом… Потом к нему заявился Паук.

Произошло это вскоре после помолвки. Появление барона на пороге дома на Мойке не сулило ничего хорошего. Так оно и оказалось: Геккерен явился, чтобы нанести очередной удар. Бил в самое слабое место – в Натали, – прекрасно понимая, что одновременно поразит обоих. В руках посланника оказалось письмо Дантеса, адресованное Наталье Николаевне, в котором француз заявлял, что он «отказывается от каких-либо видов на неё».

Паук торжествовал: уж он-то прекрасно понимал, что значило это уничижительное письмецо для Пушкиных. То было неприкрытое оскорбление четы.

Неужели всё сначала?!

* * *

21 ноября, в тот самый день, когда должна была произойти дуэль на Парголовской дороге, Александр Сергеевич написал два письма. Первое – барону Геккерену-старшему; второе (официальное) – начальнику III отделения графу Бенкендорфу[51]. В истории пушкинианы они навсегда останутся как

неотправленные письма Пушкина.

Сразу оговоримся: копий вокруг этих писем сломано столько, сколько, пожалуй, не ломалось вокруг всего творчества великого поэта. Дело в том, что одно из них (барону Геккерену) было уничтожено. Причём самим автором. Адресованное же Бенкендорфу оказалось обнаруженным жандармами сразу после гибели поэта в его личных вещах во время посмертного обыска.

Итак, начнём с первого, в адрес голландского посланника. Известно, что Пушкин это письмо разорвал, и лишь небольшая его часть частично была расшифрована. После того как, несмотря на мировую, имя Натальи Николаевны Пушкиной стараниями Геккеренов стало втаптываться в грязь, поэт пришёл к выводу что пора, наконец, показать истинные лица негодяев перед обществом и перед Двором.

Что для этого требовалось? Не так много – громкая дискредитация посланника и его приёмного сына, пользовавшихся в Петербурге немалым уважением. Низкой анонимке Пушкин решил противопоставить открытое письмо.

Письмо Геккерену должно было стать обвинением барона в лицемерии, лжи и трусости. В нём же Пушкин обвинял голландца в составлении низких пасквилей. Там же он высказал посланнику всё, что думал о его приёмном сыне. И поэт имел на это полное право – сказать о них то, что другой бы просто никогда не осмелился. Пусть узнают себе цену, посмотрев со стороны…

«Я знаю автора анонимных писем, – сказал в те дни Пушкин В.Ф. Вяземской, – и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского – детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать…» [31]

Самое страшное Пушкин приберёг под конец, где дал понять об оставленной копии. Копия – это опасность истинная, реальная. Ведь разойдись она в списках, и реноме Паука вмиг оказалось бы расчленённым на эшафоте великосветской толпы. Не простят! От посрамления Геккеренов не спас бы и поединок. Даже смерть Дантеса вызвала бы лишь скептические улыбки. Затопчут и позабудут! И мысль об этом навсегда лишила бы Якоба Геккерена покоя и крепкого сна. В этом и заключалась пушкинская стратегия с открытым письмом. Получив такое послание, голландец обязательно отправил бы к поэту своих секундантов.

Поэтому, когда вечером 21 ноября к Пушкину заехал Соллогуб, тот быстро увёл гостя в кабинет и сказал:

– Вы были более секундантом Дантеса, чем моим, однако я не хочу ничего делать без вашего ведома… Я прочитаю вам мое

письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено… Вы мне теперь старичка подавайте!..

На этот раз Соллогуб оказался более благоразумным и сразу же с набережной Мойки побежал искать Жуковского. Василий Андреевич находился в Мошковом переулке, в гостях у В.Ф. Одоевского, где они вели мирный разговор о стихосложении. Однако ворвавшийся в дом секундант помешал степенной беседе. Вскоре Жуковский уже сидел перед Пушкиным, пытаясь успокоить находившегося на грани истерики товарища. И ведь успокоил! Именно поэтому роковое письмо не ушло по назначению. А после разговора с Жуковским Пушкин написанное разорвал.

Но! Имея прекрасную память, поэт содержание письма запомнит почти наизусть; позже, перед самой дуэлью, он напишет Геккерену ещё одно послание, повторившее предыдущее практически слово в слово…

* * *

Письмо к Бенкендорфу было написано в тот же день, сразу после первого, и разительно от него отличалось. И это не случайно. Написанное в официальном тоне, оно предназначалось одному из влиятельнейших чиновников николаевской эпохи. По мнению многих исследователей, в частности П.Е. Щёголева, целью написания этого письма было обесчестить своих врагов в глазах императора. В своём послании поэт безжалостно клеймил обоих: барона Геккерена в составлении анонимных писем, Дантеса – в редкостной трусости, вылившейся в скоропалительное сватовство ради избежания дуэльного поединка. Пушкин взывал к справедливости.

Вряд ли пушкинское письмо на имя Бенкендорфа можно назвать жалобой; скорее, это был *акт отчаяния в ответ на злостный заговор, организованный влиятельным послом. Думаю, именно так и следует воспринимать это послание.*

«Дуэли мне недостаточно», – заявит Пушкин как-то. Следовательно, поэт был готов умереть, но хотел также, чтобы справедливость восторжествовала, а общество знало истинную подоплеку случившегося. Пистолет может дрогнуть и подвести, перо – никогда! И эти письма должны были сделать то, что не в силах осуществить пистолетами: разоблачить.

Прочтём это письмо А.С. Пушкина к графу Бенкендорфу:

«Граф! Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем

семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали.

В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.

Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г. Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.

Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.

Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.

Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.

С этими чувствами имею честь быть, граф, ваш нижайший и покорнейший слуга А. Пушкин.

21 ноября 1836 г.» [32].

Данное письмо – образец официальной переписки, с правилами которой Александр Сергеевич был хорошо знаком по предыдущей службе в Министерстве иностранных дел. Ничего лишнего; ни единого оскорбительного слова в адрес голландского посланника. Только факты. Пушкин знал, что делал: письмо адресовалось не Бенкендорфу – Николаю I. Написать напрямую царю было невозможно; зато шефу жандармов – запросто. И в том, что Бенкендорф непременно доложит об этом письме императору, поэт не сомневался. Как и в том, что царь обязательно захочет

взглянуть на пушкинское послание.

Остаётся главный вопрос: с какой целью Пушкин написал это официальное письмо, обращённое к власти? Заметим, оно было без помарок, переписанное набело, скреплено подписью и даже приготовлено к отправке. Всё было готово – к чему? К дуэли. Так вот, письмо должно было уйти к Бенкендорфу после поединка. И когда пушкинисты пришли к этому выводу, они очень удивились простоте разгадки, терзавшей их коллег многие десятилетия после злосчастной дуэли.

Действительно, всё просто: если бы поединок для Пушкина закончился благополучно, письмо послужило бы вполне официальным объяснением; а в случае гибели поэта – его посмертным письмом. Гениальная мысль! В этом и заключался план Пушкина: умерев, донести до царя (следовательно, и до общества) истинную правду.

Накануне дуэли Александр Сергеевич вложил это письмо в конверт для отсылки. После смерти поэта его найдут жандармы и передадут Бенкендорфу. А в кармане сюртука отыщется копия последнего письма к Геккерену. Идя на смерть, Пушкин предусмотрительно оставил для потомков две предсмертные записки – вернее, два неотправленных письма. Они всё объясняли. И вместе с пушкинскими произведениями обессмертили гениальное имя…

* * *

23 ноября 1836 г.

«По возвращении Его Величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина».

Запись из камер-фурьерского журнала [33]

23 ноября 1836 года Александр Сергеевич Пушкин был принят в Аничковом дворце Николаем I. Странно, что до известной публикации Павла Елисеевича Щёголева в 1928 году об этом *никто ни разу не обмолвился [34]. Причина: о царской аудиенции знал сугубо узкий круг лиц. Сам же Пушкин о встрече с императором никому не рассказывал. Однако факт остаётся фактом: эта, по сути, полуофициальная аудиенция действительно имела место.*

Инициатором встречи, по всей видимости, явился Василий Андреевич Жуковский. Затянувшаяся драма происходила у него на глазах. Говоря по правде, Жуковский уже давно ходил чуть ли не на

цыпочках, чувствуя свою полную беспомощность уладить конфликт своего товарища миром. Пока выручало хорошее знание пушкинского характера – страстного, горячего, но отходчивого. Однако Василий Андреевич видел и другое – открытую травлю поэта со стороны недругов, в первую очередь Геккеренов. И с этим следовало что-то делать.

И однажды Жуковский решился и рассказал всё императору, к которому, как известно, был вхож. В разговоре с самодержцем Василий Андреевич выразил просьбу вмешаться в это непростое дело и, по возможности, предотвратить надвигающуюся трагедию.

Разговор наставника с царём состоялся 22 ноября, а уже на следующий день, в четвёртом часу дня, Пушкин был принят Николаем. После трёх – самое «нерегламентированное» для императора время, когда он мог принимать по своему усмотрению. К слову, частенько после обеда царь принимал начальника Третьего отделения Александра Христофоровича Бенкендорфа. В этот раз вместе с шефом жандармов присутствовал поэт Александр Пушкин. И это, по всей вероятности, являлось одним из хитрых маневров строгого дворцового протокола.

После доклада Бенкендорфа был вызван Пушкин. Визит поэта носил сугубо личный характер, а потому являлся случаем поистине исключительным. Нет, император, бывало, и вмешивался в чьи-то семейные дела, но только лиц из придворного круга, да и то подобные вопросы решались где-нибудь на прогулке, охоте или конных скачках… Пушкин не был «одним из своих»; при дворе его, несомненно, знали, но всё же рассматривали как «опасного поэта», со своими выкрутасами; правда, имевшего красавицу-жену.

Пушкина Николай принимал в своём личном кабинете. Одного, без свидетелей. Tête-à-tête. И, как бы то ни было, официально.

Итак, что же сказал Пушкин императору? Ответ: сегодня этого не знает никто. Именно поэтому следует внимательно прислушаться к воспоминаниям современников поэта из числа его друзей.

П.А. Вяземский (в пересказе Бартенева):

«…Государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед» [35].

Е.А. Карамзина, 2 февраля 1837 года:

«После истории со своей первой дуэлью П[ушкин] обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуков[ского] просить прощения у гос[ударя] в том, что он не сдержал слова»

[36].

Таким образом, Пушкин в беседе с Николаем дал слово не драться. А ещё договорились: в случае возникновения ссоры поэту следовало незамедлительно обратиться к царю.

Тем не менее вывод из всего сказанного надлежит сделать следующий: император *достаточно хорошо знал дело Пушкина. Причём из самого надёжного источника – от Василия Андреевича Жуковского, который держал царя в курсе всего происходящего в семье Пушкиных. Нет, Жуковский не был шпионом – он являлся преданным другом. Просто, в отличие от прочих, он понимал степень опасности, нависшей над этой семьёй. Как видим, понимал это и Николай…*

Теперь от поединка Пушкина сдерживало слово, данное императору…

До вызова Дантеса оставалось два месяца…

Глава V

…Иные любят книги, но не любят авторов – и не удивительно: кто любит мёд, не всегда любит пчёл.

П. Вяземский

…В 1832 году в провинциальной Твери на дуэли погиб приятель Пушкина Александр Шишков[52].

Пётр Кириевский сообщает по этому поводу поэту Языкову:

«В Твери случилось недели две назад ужасное происшествие: зарезали молодого Шишкова! Он поссорился на каком-то бале с одним Черновым, Чернов оскорбил его, Шишков вызвал его на дуэль, он не хотел идти, и, чтобы заставить его драться, Шишков дал ему пощечину; тогда Чернов, не говоря ни слова, вышел, побежал домой за кинжалом и, возвратясь, остановился ждать Шишкова у крыльца, а когда Шишков вышел, чтобы ехать, он на него набросился и зарезал его. Неизвестно еще, что с ним будет, но замечательна судьба всей семьи Черновых: один брат убит на известной дуэли с Новосильцевым, другой на Варшавском приступе, третий умер в холеру, а этот четвертый, и, говорят, последний» [1].

Описанное – не что иное, как следствие ложной идеологии, навязанной императором Николаем Павловичем. В другое время подобный спор решил бы поединок. Но произошло – как произошло: злодейское убийство. И подобные случаи встречались всё чаще…

Подобное возникало не на пустом месте. Случаи низкого поведения среди дворянства буквально коробили сознание. Так, лицейский товарищ Пушкина Антон Дельвиг однажды вызвал на дуэль известного цензора Фаддея Булгарина. Секундантом Дельвига должен был стать Иван Нащокин, Булгарина – Константин Рылеев. Дельвиг послал «негодяю» ругательное письмо, которое, помимо него самого, подписало ещё несколько человек. Для «человека чести» подобное было просто неприемлемо. Однако Булгарин это, что называется, «проглотил» и от поединка увернулся.

Вообще, несмотря на приверженность поэта к дуэлям, до реального поединка доходило не часто. Достаточно сказать, что в Пушкина стреляло только пятеро соперников, в то время как он

сам – лишь трижды…

* * *

…Незадолго до нового, 1837 года в дружеском Пушкину «карамзинском кружке» вновь стал появляться Дантес. Нет-нет да мелькнёт на вечере у Вяземских; то расшаркается в гостиной у Карамзиных; захаживал к Мещерским… Потом вдруг куда-то пропал (поговаривали, приболел), но затем стал снова наносить свои непрошеные визиты. Иногда Жоржа поздравляли (уже был назначен день свадьбы с Катрин Гончаровой), на что он слегка морщился, переводя всё в шутку.

28 декабря Дантес нанёс визит Карамзиным, наперёд зная, что там будет чета Пушкиных и Гончаровы. Можно представить, каково было Пушкину, только-только пережившему страшный скандал, связанный с человеком, которого он люто ненавидел. Мало того, приходилось делать хорошую мину при плохой игре, стараясь вести себя сколь можно прилично. Хотя внутри всё кипело.

В придачу ко всему, Наталья Николаевна чувствовала себя в присутствии Дантеса не в своей тарелке – она просто терялась. А француз, словно в отместку, начинал вновь «строить глазки».

Софья Николаевна Карамзина, 2 февраля 1837 года:

«Натали… со своей стороны ведет себя не очень прямодушно: в присутствии мужа делает вид, что не кланяется с Дантесом, и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство потупленными глазами, нервным замешательством в разговоре, а тот снова, стоя против нее, устремляет к ней долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью» [2].

А вот мнение Долли Фикельмон:

«…Бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении. Не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаза, наблюдаемая всем обществом, она постоянно трепетала; не желала верить, что Дантес предпочел ей сестру, она по наивности или, скорее, по своей удивительной простоте, спорила с мужем о возможности такой перемены в его сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия» [3].

Трепет Натали вполне объясним: её женская натура ни в

какую не желала смириться с тем, что Дантес предпочёл ей другую. Как бы то ни было, Наталья Николаевна версию о жертвенности француза-воздыхателя ради неё приняла сразу и окончательно.

31 декабря в том же составе собрались у Вяземских.

В.Ф. Вяземская: «Накануне нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Геккерн явился с невестою. Отказывать ему от дома не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна» [4].

Атмосфера накалялась. Новый скандал назревал, раздуваясь, как большой воздушный шар. Если шар надувать постоянно, рано или поздно он лопнет…

* * *

10 января 1837 года состоялась долгожданная свадьба Жоржа Геккерена с Екатериной Гончаровой. Впрочем, настоящим праздником этот день стал разве что для одной Катрин. А вот для Пушкина вступление в брак Дантеса явилось некой жирной точкой в их отношениях. Когда француз приехал на Мойку со свадебным визитом, Александр Сергеевич его не принял. Позже на имя Пушкина от свояка было получено два письма. На первое поэт ответил, что *«не желает возобновлять никаких отношений»; второе просто вернул нераспечатанным.*

Вообще, брак Дантеса и Гончаровой, если говорить о нём с точки зрения де-юре, должен был оказаться твёрже каменной стены. Хотя бы потому, что заключался, по сути, дважды: сначала в католическом костёле, после чего – в православной Исаакиевской церкви. В качестве посаженных родителей выступили граф и графиня Строгановы; свидетелями – князь и княгиня ди Бутера.

Катрин несколько смущалась. В книге записи священник вписал её возраст – 26 лет, в то время как жениху было на два года меньше. Однако причина смущения заключалась в другом: только самые близкие знали, что на самом деле Екатерине было все двадцать девять. Но всё это Пушкин считал «бабской ерундой» в сравнении с его чаяниями. Поставив на то, что свадьба Катрин никогда не состоится, он теперь направо и налево раздавал

ассигнации за проигранные пари…

Родственное сближение с Геккеренами Пушкина явно тяготило. Любое упоминание о них вызывало у поэта какую-то судорожную тоску. Ненависть можно заглушить в себе только при отсутствии самого «раздражителя». Но как быть, если родственные узы, будто специально, заставляли видеться с этим самым «раздражителем» чуть ли не ежедневно?..

14 января – свадебный обед у Строгановых. Отказаться было невозможно, хотя хозяева заранее известили, что Геккерены и Пушкины будут сидеть за одним столом.

Из воспоминаний Константина Данзаса:

«На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и, когда после обеда барон Геккерен, отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои к нему на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и г. Дантесом» [5].

С этого дня Пушкин объявил супруге: никаких сношений с Геккеренами!..

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Никому не весело быть в дураках, а особливо же дураку. По-настоящему, одни умные люди могут попадаться впросак; другие от природы получили тут оседлость. Видим примеры, что дураки попадают в умные люди; как тупое копье, брошенное чужой силой, они попадают в цель на мгновение, но не имея в себе ни цепкости, ни остроконечности, они своим весом падают стремглав. Подумаешь, что именно для этих людей выдумано выражение: подымать на смех» [6].

Жертва, которую Паук вытребовал у приёмного сына, требовала отмщения. Посланник был слишком умён, чтобы не замечать, как Дантес продолжает увиваться за Натали. Что и говорить, в сравнении с дурнушкой-невесткой Наталья Николаевна выглядела королевой. Жоржик страдал. И из-за кого – из-за этого несносного муженька-ревнивца, который никак не может унять

свою несносную спесь. Нет уж, мсье, с вас кое-что причитается – к примеру, подыграть, что происходящее, в том числе женитьба, по обоюдному согласию и любви.

Геккерен уже давно понял, с этим Пушкиным каши не сваришь: ни договориться, ни примириться. Чего же он добивается, этот упрямец? Неужели скомпрометировать их, Геккеренов? Похоже на то. Ведь отказ от всяких сношений со свояченицей и её мужем говорит о многом. Такое поведение ставит Дантеса в неловкое и двусмысленное положение. Нет уж, мсье Пушкин, раз породнились – будем держать себя по-родственному, запросто, без церемоний…

Отныне что ни вечер – Геккерены вместе с Пушкиными; что ни званый обед – опять те и другие, и вновь за одним столом. Эти два семейства должны были держаться рядом – обязывали приличия. Четырнадцатого – вечер у французского посла; пятнадцатого – день рождения у Вяземских; восемнадцатого – вечер у саксонского посланника барона Люцероде; двадцать первого – бал у австрийского посла…

Паук наступал по всем фронтам. Впрочем, у него не было иного выхода. Следовало что-то предпринять, ведь свет постепенно принимал сторону поэта, относясь к нему уважительно. Зато к Геккеренам начинали внимательно присматриваться.

Женившись, Геккерен-младший принялся за старое, флиртуя с дамами направо и налево, делая вид, что не замечает беспокойных взглядов находившейся поблизости супруги. Но особое, какое-то садистское наслаждение Дантесу доставляли заигрывания с Натали Пушкиной. И хотя дама пыталась выглядеть холодной и строгой, было заметно, что ухаживания француза доставляют ей удовольствие. Хотелось верить, что молодой франт её не забыл.

Долли Фикельмон: «Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования. Наконец, на одном балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись…» [7]

Это был его час – час Паука! Дантес вёл себя вызывающе. Пушкин, не в силах что-либо изменить, сходил с ума от ревности. По столице упорно распространялись слухи о «патологической ревности» поэта, его неуравновешенности и «жертвенной благородности» Дантеса. Паук атаковывал с фронта и с тыла.

Свет жесток. Со времён Рима ничего не изменилось: публика жаждала «хлеба и зрелищ»! Самое излюбленное из зрелищ – наблюдать за муками ближнего своего. А если в лице этого ближнего успешный и талантливый – зрелище приобретает особенный привкус: то ли удовольствия, то ли крови… Приятно

втаптывать в грязь того, кто выше тебя и талантливей. Пушкина втаптывали с удовольствием. Уваров, Нессельроде, Строганов, Трубецкой… Это потом они вдруг в один голос кинутся вспоминать «загубленный талант гения русской словесности»; тогда же, в январе 1837-го, Поэта начали убивать задолго до дуэли. Сами же. От зависти и собственной ущербности…

Долли Фикельмон: «Пушкин, глубоко оскорбленный, понял, что, как бы он лично ни был уверен и убежден в невинности своей жены, она была виновна в глазах общества, в особенности того общества, которому его имя дорого и ценно. Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было верным доказательством невинности госпожи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья…» [8]

Стреляться… Стреляться!

* * *

Беда не приходит одна. Мало кто знал, что финансовые дела поэта к этому времени оказались в полном беспорядке. Лишь самые близкие да, пожалуй, известные столичные ростовщики были в курсе этих проблем Александра Сергеевича. Однако никто не предполагал, насколько они (проблемы) оказались серьёзны.

Последнее время держаться на плаву Пушкину позволял лишь большой кредит, но и его следовало возвращать. Семья жила явно не по средствам. Богатые выезды супруги и её наряды, экипажи, ложа в театре, дача, повседневные хозяйственные нужды, разъезды, оплата извозчику, горничной и слугам – всё это требовало немалых расходов. Однако петербургская жизнь предъявляла свои требования. Столичные цены были непомерны. К примеру, только за квартиру на Мойке (с учётом расходов на дрова) приходилось платить пять тысяч рублей в год – сумма, равная годовому жалованью поэта. Стоимость новой кареты обошлась в 4000 рублей (а для кареты приходилось оплачивать четвёрку лошадей); столько же – расходы на книги. Своё требовали булочник, молочница, аптекарь, портной и модистка…

Ко всему прочему пушкинский «Современник» продавался из рук вон плохо. В конце декабря вышел четвёртый том с «Капитанской дочкой»; но для возврата потраченных на издание денег опять же требовалось время. А вот его, времени, у Пушкина как раз и не было…

В. Соллогуб: *«Журнал его, “Современник”, шел плохо. Пушкин не был рожден журналистом. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. В семействе он был счастлив, насколько может быть счастлив поэт, не рожденный для семейной жизни. Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, чтобы в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти… Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенес» [9].*

Посягатель на честь достоин смерти. Другое дело, что у бесчестных посягателей не бывает…

До вызова Дантеса оставался месяц…

* * *

Двадцать третьего января у Воронцовых-Дашковых, чей дом считался *«самым блестящим, самым модным и привлекательным в Петербурге» (В. Соллогуб), состоялся бал. Были туда приглашены и Пушкины с Геккеренами. Последние, как уже говорилось, в последние дни буквально следовали за четой по пятам.*

В тот вечер Дантес вёл себя крайне нагло. Он неуважительно обращался с женой и неприкрыто заигрывал с Натали. И при этом старался не обращать внимания на присутствие рядом с Натальей Николаевной её законного супруга. Француз всячески пытался оказаться невдалеке от жены Пушкина, дабы завладеть вниманием дамы. Он много шутил, каламбурил, приглашал Натали на танцы. Глядя на такое поведение свояка, Пушкин себя еле сдерживал.

Софья Николаевна Карамзина, 30 января 1837 года:

«…На балу у Воронцовых в прошлую субботу раздражение Пушкина дошло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом. А эта неосторожная не побоялась встретиться с ним опять…» [10]

И всё же поначалу всё шло относительно благополучно – гости веселились, беседовали, танцевали… Лишь супруг Натальи Николаевны, терзаемый ревностью, выглядел мрачным. Впрочем, повод к ревности, возможно, давала сама Натали, не прекращавшая кокетничать с французом. А уж тот старался!

Было очевидно, что для серьёзного скандала не хватало всего лишь искры. И она не замедлила блеснуть в виде очередного каламбура Дантеса, который Пушкину показался откровенно-казарменным.

Войдя в раж, Дантес, ничтоже сумняшеся, спросил Натали в присутствии жены:

– Довольны ли вы, мадам, мозольным оператором, присланным Катрин? – А потом, смеясь, добавил: – Мозольщик уверяет, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены… [53]

Как видим, каламбур действительно получился казарменным. Но не это главное. Во-первых, слова француза имели оттенок уничижительного характера для замужней дамы. Подобное порядочной женщине не говорят – слишком интимно. Другое дело – муж; но никак не свояк или кто-то там ещё. О красоте тела можно вести разговоры разве что с девицами, не отягощёнными своим поведением. А во-вторых, пошлость была произнесена вслух и при посторонних, коих рядом оказалось немало. То есть фраза, хотел Дантес того или нет, тут же оказалась услышана и размножена.

К слову, Пушкина рядом не было (вряд ли при муже Дантес решился бы сказать такое его жене), но слух быстро дошёл и до его ушей. Каламбур оказался искрой. Слова Дантеса, вне всякого сомнения, явились оскорблением. По крайней мере, именно так воспринял их сам Пушкин.

Долли Фикельмон, 29 января 1837 года:

«Чаша переполнилась, больше не было никакого средства остановить несчастие…» [11]

Стреляться!!!

* * *

Вечером следующего дня – Пушкины у Мещерских. В тот вечер там собрались все завсегдатаи «карамзинского кружка» – Вяземские, братья Россеты, А. Тургенев, М. Виельгорский, С.Н. Карамзина… И вновь рядом с Пушкиными Геккерны.

– А, и вы здесь… Рад видеть, – мотнул головой Пушкин, увидев входившего в кабинет Россета (там поэт с хозяином играли в шахматы). – Ну что, вы были в гостиной; он уж там, возле моей жены?..

Пушкин не назвал Дантеса по имени, но и без этого было понятно, о ком речь.

– Э-э… Да, я видел там мсье Геккерена…

Пушкин был сильно не в духе. Даже больше – в угнетённом состоянии. Казалось, происходящее в гостиной его совсем не

интересовало. Он уже всё решил…

Из письма Софьи Николаевны Карамзиной брату Андрею, 27 января 1837 года:

«…В воскресенье у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, – это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу – по чувству. В общем, все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных» [12].

Строки письма Софьи Карамзиной очень показательны – они выражают мнение света. Геккерены добились своего: поэт оказался загнанным в угол…

Вечер двадцать пятого Пушкины провели у Вяземских. Пушкины… Геккерены… И все остальные…

В этот раз Александр Сергеевич старался держать себя в руках. В какой-то момент он разговорился с хозяйкой дома, Верой Фёдоровной Вяземской. Разговор получился каким-то странным; мало того, беседа сильно испугала княгиню.

– Что меня забавляет, – сказал Пушкин, – это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что ожидает его дома…

– Что же именно? – спросила, встревожившись, Вяземская. – Вы ему написали?

Поэт кивнул в знак согласия, добавив:

– Его отцу.

– Как?! Письмо уже послано?

– Ну да, сегодня…

– Но… Но мы надеялись, что всё уже кончено… – совсем разволновалась княгиня.

– Разве вы принимали меня за труса? – вскочил Пушкин. – Я вам уже сказал, что с молодым человеком моё дело было окончено, но с отцом дело другое. Я вас предупредил, что моё мщение заставит заговорить свет…

Обрастая слухами, недомолвками, а порой и злобной клеветой, беда набирала обороты, превращаясь в снежный ком. Дело зашло

слишком далеко. В какой-то момент остановить этот ком оказалось невозможно…

* * *

День спустя барон Геккерен получил письмо. Гневное и оскорбительное, от Пушкина. Тон послания был настолько резок, что Паук понял: на сей раз не увильнуть. Быть поединку! Правда, имелся важный нюанс: оскорбление адресовалось лично ему, Якобу ван Геккерену. Как лицо дипломатическое, Геккерен не мог оставить подобное обращение без последствий. Январское письмо по своей сути совпадало с тем, которое писал Пушкин 21 ноября (мы не зря говорили о копии, оставленной в памяти).

А вот его копия из военно-судного дела:

«Господин Барон.

Позвольте мне изложить вкратце все случившееся: поведение Вашего сына мне давно известно, и я не мог остаться равнодушным.

Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый взяться за дело, когда почту за нужное. Случай, который во всякую другую минуту был бы мне очень неприятным, представился весьма счастливым, чтоб мне разделаться: я получил безымянные письма; я увидел, что настала минута, и я ею воспользовался, остальное Вы знаете: я заставил Вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такою низостью и плоскостью его, не могла воздержаться от смеха, и ощущения, которые она могла бы иметь к этой сильной и высокой страсти, погасли в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Я должен признаться, господин Барон, что поведение Ваше было не совершенно прилично. Вы, представитель Коронованной главы, Вы родительски сводничали Вашему сыну, кажется, что все поведение его (довольно неловкое, впрочем) было Вами руководимо. Это Вы, вероятно, который внушали ему все заслуживающие жалости выходки и глупости, которые он позволил себе писать подобно старой развратнице; Вы сторожили мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви Вашего незаконнорожденного или так называемого сына, и, когда больной венерической болезнью он оставался дома, Вы говорили, что он умирал от любви к ней; Вы ей бормотали возвратить мне сына.

Вы согласитесь, Г. Барон, что после всего этого я не могу сносить, чтобы мое семейство имело малейшее сношение с Вашим. С этим условием я согласился не преследовать более этого гадкого

дела и не обесчестить Вас в глазах Вашего Двора и Нашего, на что я имел право и намерение; я не забочусь, чтобы жена моя ещё слушала ваши отцовские увещевания, не могу позволить, чтобы сын Ваш после своего отвратительного поведения осмелился бы обращаться к моей жене и, еще менее того, говорил ей казарменные каламбуры и играл роль преданности и несчастной страсти, тогда как он подлец и негодяй.

Я вынужден Вас просить окончить все сии проделки, если Вы хотите избежать новой огласки, пред которой я верно не отступлюсь.

Имею честь быть, Господин Барон, Ваш покорный и послушный слуга

А. Пушкин» [13].

Между тем дома в который раз за последние дни состоялось объяснение между супругами. И, как обычно, всё закончилось миром. Явившийся в воскресение к Пушкиным И.П. Сахаров застал такую картину: «Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положа свою голову на колени мужу…» [14]

Ругаться уже не было смысла. Просто развратный француз добился того, к чему так долго стремился: он отравил чистые отношения. И это в семье понимали. Внешне Пушкин вёл себя как обычно; и лишь знавшие его хорошо видели, как поэт нервничает. Однако о своих переживаниях Александр Сергеевич никому ничего не говорил.

Хотя – нет. Единственным человеком, которому он раскрыл тайну своих переживаний, была Евпраксия Николаевна Вревская[54]*, или просто Зизи, как её называли в семье Пушкиных. Вревские были соседями последних, из Тригорского, близ Михайловского. Именно они были готовы приобрести имение Пушкиных, дабы оно не досталось посторонним. Об этом и беседовали. Ведь усадьбу Александр Сергеевич любой ценой хотел оставить за собой. Поэт обещал Вревской прогуляться с ней по Эрмитажу.*

Бытует мнение, что где-то 25-го числа Пушкин и рассказал Зизи обо всём, что терзало его сердце. Новость потрясла Вревскую: измученный поэт искал смерти! Женщина как могла пыталась успокоить Пушкина, напомнила ему о детях. Однако тот был непреклонен:

– Ничего… Император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство…

Как позже вспоминала Евпраксия Николаевна, всю оставшуюся жизнь её мучила мысль, что, зная о предстоящей дуэли, она не могла помешать этому…

До вызова Дантеса оставались сутки…

* * *

В этот раз Паук на яд не скупился. К чему юлить, когда на тебя едва не наступили! Церемонии – в сторону, если объявлена война. И он будет бить до конца, пока не склонится над трупом поверженной жертвы…

В каждой строчке письма, адресованного мсье Пушкину, сквозит неприкрытая ненависть. Нет, это не ультиматум – с переговорами покончено! – это самый что ни на есть вызов! Драться будет Жорж; все договорённости относительно дуэли – через секунданта, виконта д'Аршиака. Ну а встреча – исключительно у барьера!

После встречи с Дантесом д'Аршиак отправил Пушкину свою визитную карточку, на обороте которой написал записку следующего содержания:

«Я прошу Г. Пушкина сделать мне честь сказать: может ли он меня принять? Если не может теперь, в котором часу сие будет возможно?

Гр. Д'Аршиак. Состоящий при французском посольстве» [15].

Д'Аршиак явился ближе к вечеру. После приветствия вручил Пушкину письмо:

«Милостивый Государь.

Не зная ни Вашей руки, ни Вашей подписи, я обращаюсь к Графу Д'Аршиаку, который Вам вручит сие письмо, чтобы засвидетельствовать, что письмо, на которое я отвечаю, точно от Вас. Содержание его до того вышло из границ возможного, что я отказываюсь отвечать на все подробности сего письма. Вы, кажется, забыли, Милостивый Государь, что Вы отступились от вызова, которой Вы адресовали к Барону Егору Геккерну и который был им принят: доказательство мною представляемого находится писанное Вашею рукою и осталось у Секундантов. Мне остается только Вас предупредить, что Граф Д'Аршиак явится к Вам, чтоб с вами условиться о месте, где встретитесь с бароном Егором Геккерном, и Вас предупредить, что встреча сия не терпит никакого отлагательства. Я буду иметь позднее, Милостивый Государь, заставить Вас ценить почтение, должное сану, которым я обличен и к которому никакие происки с Вашей стороны не в состоянии допустить.

Я есмь, Милостивый Государь,
Ваш покорнейший слуга барон Геккерен.
Читано и мною одобрено Барон Егор Геккерн» [16].

Доставленный д'Аршиаком ответ от Геккерена Пушкин даже не стал читать. Он тут же принял вызов, сделанный ему от имени приёмного сына голландского посланника. Договорились, что в самое ближайшее время поэт пришлёт своего секунданта.

* * *

Пушкин не думал умирать. В планах было лишь *поставить точку в затянувшейся травле. Хотелось другого – писать. Встретив Владимира Даля*[55]*, доверительно сообщил ему:*

– Я только что перебесился… Теперь буду много работать.

Вспоминая те, преддуэльные, дни, Даль писал:

«Незадолго до смерти Пушкин услыхал… что шкурка, которую ежегодно сбрасывают с себя змеи, называется по-русски выползина. Ему очень понравилось это слово, и [он] с грустью сказал: "Да, вот мы пишем, зовёмся… писателями, а половины русских слов не знаем!.." На другой день Пушкин пришёл… в новом сюртуке: "Какова выползина!" – сказал он, смеясь своим веселым, звонким, искренним смехом…» [17]

Изумительно тонкое далевское наблюдение… Какие мысли терзали в те мгновения Пушкина, когда он показал товарищу новую «выползину»? Возможно, ему просто хотелось сбросить всю налипшую к его семье грязь, чтобы начать жить с чистого листа? Пушкин не был безумным ревнивцем. Но болтали всякое. И не только про Дантеса. Ходили слухи про Натали и царя… Как с этим жить?..

Нет, умирать не хотелось. Оскорбление требовалось смыть кровью, чтобы, наконец, быть свободным. И стать крепче, лучше, чище… Как змея, сбросившая «выползину»…

За день до поединка он обедал у Вревских на восьмой линии Васильевского острова, сидеть дома было невмоготу. Утром в гостинице Демута поэт встретился с Александром Ивановичем Тургеневым[56]*. Тот запомнил поэта «весёлым, полным жизни». При расставании Пушкин обещал, что они ещё увидятся.*

Не увидятся. Но именно Тургеневу суждено будет сопровождать окоченевшее тело друга в Святогорский монастырь…

Дома Пушкина ждала записка от Оливье д'Аршиака:

«Нижеподписавшийся извещает Г. Пушкина, что он будет ожидать у себя сего дня до одиннадцати часов вечера и после сего часа на бале Графини Разумовской, особу коей будет поручено рассуждать о деле, долженствующему кончиться завтра.

Между тем он предлагает Г-ну Пушкину уверения своего отличного уважения.

Граф Д'Аршиак» [18].

В двенадцатом часу ночи Пушкин, быстро одевшись, вышел из дома и направился в сторону Большой Морской, где располагался особняк Разумовских. Там он встретил знакомого, советника британского посольства Артура Чарльза Медженисса, и попросил его быть своим секундантом в деле чести. «Долгоносик», как звали за глаза англичанина за его большой нос, согласился. Сведя его с д'Аршиаком, Пушкин раскланялся. (Медженис попал под руку очень кстати: будучи сотрудником дипкорпуса, он не мог оставить поединок без огласки.)

Однако уже через пару часов поэту была доставлена записка, в которой сообщалось, что англичанин отказывается быть секундантом по причине невозможности примирения сторон.

Нет – так нет. Трусливый британец! «Долгоносик»…

* * *

…После глубокого, без сновидений, сна он проснулся ровно в восемь – бодрым и в прекрасном настроении. Календарь на стене показывал 27 января. Быстро умывшись и накинув халат, выпил наскоро чаю. Потом прошёл в кабинет и написал подполковнику Данзасу, прося того зайти по важному делу. Пушкин не сомневался: лицейский товарищ Костя Данзас непременно заглянет.

После девяти на Мойку доставили письмо. То была записка от виконта д'Аршиака:

«Милостивый Государь.

Я настаиваю ещё теперь, о чём я имел честь вас просить вчера вечером. Необходимо, чтоб я переговорил со свидетелем, которого Вы изберете, и то в самое короткое время. До полудня я останусь в своей квартире, надеюсь до того часа принять особу, которую Вам угодно будет ко мне прислать.

Примите, Милостивый Государь, уверение моего отличнейшего уважения.

Граф Д'Аршиак.

С.-Петербург. Среда 9 часов утра» [19].

Пришлось тут же писать ответ:

«Граф.

Я нисколько не забочусь доверять праздным людям Петербурга мои семейные дела и посему отказываюсь от всех переговоров через Секундантов; я приведу своего прямо на назначенное место. Так как вызывает меня Господин Геккерен, и что он обиженный, он может мне выбрать оного, если ему угодно; я уже наперед его принимаю, хотя бы даже его Егеря. Что же до часа и места – я совершенно в его воле. По нашим обычаям, у нас, у русских, этого довольно. Я Вас прошу верить, Граф, что это мое последнее слово, и что я не имею ничего более отвечать ни на что касающегося до сего дела и что я более не двинусь, как для того, чтоб идти на место.

Примите уверение совершенного моего уважения.

А. Пушкин» [20].

Вот так, закрутилось…

24 января Пушкин отнёс ростовщику Шишкину столовое серебро и кое-что по мелочи. Всё это принадлежало его невестке Александрине. Та, не смея отказать, согласилась пойти свояку навстречу. Если бы Александра Николаевна знала, куда пойдут деньги, полученные от ростовщика за серебро, она бы и слушать ничего не стала. Две с небольшим тысячи рублей ушли на покупку… дуэльных пистолетов.

* * *

В одиннадцать завтракали всей семьёй. Натали и её сестра Александра были молчаливы, почти не разговаривали. Зато всем бросилось в глаза необычайно весёлое настроение хозяина. Поднявшись из-за стола ещё раньше детей, Пушкин, что-то напевая под нос, с задумчивым видом стал расхаживать взад и вперёд, раз за разом поглядывая из окон на улицу. Увидев подъехавшие сани, которые, как поняли домашние, поэт и ждал, он ушёл в сени встречать прибывшего.

То был Константин Данзас. Румяный, улыбающийся. Левая рука на перевязи[57]. Обнялись, потом прошли в кабинет. Усадив товарища, Пушкин тут же приступил к делу. Инженер-подполковник Данзас был тёртым калачом, поэтому прекрасно осознавал всю тяжесть ответственности, ложившуюся на его

плечи в случае согласия стать секундантом. Проще было отказаться. Но в глазах Пушкина он увидел столько мольбы и отчаяния, что сразу взялся ему помочь.

– Есть ли надежда кончить дело миром? – спросил Данзас.

– Нет. Только поединок! – ответил поэт, в голосе которого секундант уловил железные нотки.

– В любом случае, сударь, я в вашем распоряжении…

– Благодарю, Константин Карлович, – обрадовался Пушкин. – Вот деньги, прошу выбрать в оружейной лавке подходящие пистолеты. Встретимся через час…

На том и расстались.

После ухода Данзаса Пушкин прошёлся по кабинету, задумался. Счёт пошёл на часы. Всё готово, он стреляется! На душе было спокойно. Жить, чувствуя, что тебе в спину нагло ухмыляются, стало невмоготу. Умереть не страшно – страшно жить посмешищем. Ещё страшнее – быть трусом. Нет, он никогда не был трусом, и теперь это следовало доказать. Пусть даже ценой собственной жизни. А этого Геккерена, наглеца и негодяя, следует просто уничтожить! Сначала одного, потом – другого…

– Никита! – позвал он слугу. – Приготовь-ка, голубчик, ванну и чистое бельё…

– Будьте покойны, Лександр Сергеич, сделаем в наилучшем виде…

Пушкин любил своего слугу как родного. По сути, Никита Козлов и был ему родным. Ещё будучи крепостным в Болдинском имении, возился с ним в детстве, потом помогал юному барчуку наставлениями, радовался его первым успехам… Дав крепостному вольную, Пушкин несколько лет назад привёз его в Петербург. Старик долго не мог привыкнуть к суете большого города, но ничего, пообвык, предпочитая чаще быть «при барине», а не в гуще людского муравейника.

После двенадцати доставили ответ от д'Аршиака, в котором тот настаивал на личной встрече секундантов перед поединком. *«Всякое замедление будет им [Геккереном] принято как отказ должному удовлетворения и огласкою сего дела помешать его окончанию, – писал д'Аршиак [21].*

Вздохнув, Пушкин вышел из-за стола и велел Никите дать ему старую бекешу.

– Буду к вечеру, – бросил он Козлову, накидывая бекешу.

Выйдя на лестницу, он остановился. Не дело в старой бекеше с оторванным хлястиком ехать на встречу с французом. Да и холодно, пожалуй, будет… И он вернулся.

– Никита, – позвал снова, слегка раздражась. (Будучи, как все русские люди, достаточно суеверным, Пушкин верил в разные приметы, поэтому не любил возвращаться. Впрочем, сегодня раздумывать не было времени – разве, по совету бабок, скорчить в зеркале рожу.) – А подай-ка мне шубу…

Выйдя в шубе на Мойку, отправился к извозчику. На душе неожиданно заскребли кошки. Раздражение было связано именно с тем, что вернулся. С какого-то времени он всё чаще вспоминал ту старуху-гадалку фрау Киргхоф, которая ещё в юности наговорила ему невероятное: будто ждёт его слава и даже долгая жизнь, если в тридцать шесть не погибнет от белой лошади или белого человека в конфликте из-за женщины. Белокурый кавалергард на белом коне – чем не Дантес?.. А как же долгая жизнь? Будет и она, усмехнулся поэт, если покончит сегодня с французом…

На Невском Пушкин нанял извозчика и заехал к Россетам. Из Данзаса секундант преотменный, но, случись что, и у подполковника могли возникнуть серьёзные неприятности по службе. Другое дело – Клементий Россет, обещавший в случае надобности помочь. Однако братьев дома не оказалось.

Ничего не поделать, быть секундантом Данзасу. Вскоре они вместе прибыли на Большую Миллионную, во французское посольство. Встретив там д'Аршиака, Пушкин представил ему своего секунданта. При прощании заметил виконту:

– Теперь я могу сказать вам только одно: если это дело сегодня не закончится, то при первой же встрече с Геккереном – отцом ли, сыном – я плюну им в физиономию…

Оставив Данзаса с д'Аршиаком, Пушкин поехал обратно. Через Конюшенный мостик… вдоль Мойки… Яркое солнце и предвкушение скорой развязки придавало сил и поддерживало хорошее настроение.

И он вернулся домой. Повторно. Обнаружив, что Натали уехала к княгине Мещерской, поэт прошёл в кабинет и, немного подумав, решил послать письмо А.О. Ишимовой[58]*. В своём послании Пушкин просил писательницу взяться за переводы для «Современника». Письмо госпоже Ишимовой – последнее, написанное рукой поэта. Заглянем в него:*

«Милостивая государыня Александра Осиповна.

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покаместь, честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall. Вы найдете в конце книги пьэсы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете – уверяю Вас, что

переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!

С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть, милостивая государыня, Вашим покорнейшим слугою.

А. Пушкин» [22].

Письмо отослал на Фурштатскую улицу, где проживала Ишимова.

Кажется, всё. Никиты не было, ушёл на половину слуг. Надел сам шубу и вышел…

* * *

Около 15.30 Пушкин зашёл в кондитерскую Вольфа и Беранже на третьем этаже здания на углу Невского и Мойки, где была назначена встреча с Данзасом. Подоспевший секундант достал лист бумаги, объяснив, что д'Аршиак настоял, чтобы условия дуэли были изложены в письменной форме.

Условия поединка были таковы:

1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга, за пять шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие.

3. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях: противники ставятся на то же расстояние в двадцать шагов; сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Нижеподписавшиеся секунданты этого поединка, облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своею честью строгое соблюдение изложенных здесь условий [23].

Итак, пять часов, Чёрная речка, у Комендантской дачи.

Пушкин даже не стал вникать в документ, составленный секундантами. Всё ясно. Напомнил Данзасу о копии письма к

Геккерену в кармане сюртука, которую в случае гибели следовало использовать по своему усмотрению. Когда вышли из кондитерской, было около четырёх…

…Как только сани, громко хрустнув полозьями, двинулись к Неве, он, наконец, вздохнул полной грудью. Все в сборе, пистолеты куплены, и теперь французику будет не отвертеться… День близился к закату; с Невы дул пронизывающий ледяной ветер. В который раз не пожалел, что вместо бекеши надел шубу. Данзас хмурился.

– Ты ведь не в крепость меня везёшь, а, Константин Карлович? – пошутил Пушкин, когда полозья коснулись невского льда.

Но Данзас, продолжая хмуриться, шутку явно недооценил. Проезжая Дворцовую площадь, их сани разминулись с другими, в которых, как успел заметить Данзас, ехала Наталья Николаевна с детьми (семья возвращалась домой). «Было бы чудно, если б жена сейчас увидела Александра Сергеевича, – подумал секундант. – Глядишь, и не случится никакого поединка…»

Чуда не произошло. Близорукие глаза сыграли с Натали злую шутку – она не разглядела сидевших во встречных санях; Пушкин же в этот момент смотрел в другую сторону. Мимо проезжали знакомые – князь Голицын, барон Люцероде… Горожане возвращались с прогулки на Острова.

– Вы уже опоздали, мсье Пушкин, – крикнула, узнав Александра Сергеевича, дочь барона Люцероде.

– Нет, мадемуазель Августина, – засмеялся поэт, – не опоздал…

Мимо промчались сани с четой Борхов. «Секретарь Ордена Рогоносцев» с дражайшей супругой…

– Вот две образцовые семьи, – смеясь, сказал Пушкин, показывая глазами на Борхов.

– Почему две? – удивился Данзас.

– Ничего удивительного, жена живёт с кучером, а муж – с форейтором…

Минут через сорок прибыли в условленное место, почти одновременно с Дантесом и его секундантом. За густым кустарником нашли подходящую поляну. Когда туда шагнул Данзас, то провалился по колено. Пришлось спешно утаптывать площадку в двадцать шагов в длину (должны были быть соблюдены условия дуэли).

– Ну, закончили? – торопил Пушкин.

– Да, уже всё готово, – ответил Данзас.

Секунданты, отмерив нужное расстояние, бросили на

утоптанный снег шинели, которым сейчас суждено было стать барьерами. Пушкин и Дантес встали каждый в пяти шагах от своего барьера, в руках пистолеты. Все условия соблюдены. Данзас махнул шляпой, поединок начался.

В отличие от Дантеса, продвигавшегося медленно, поэт быстро подошёл к барьеру, встал вполоборота и, подняв свой пистолет, начал целиться. Его противник повёл себя совсем по-другому. Сделав четыре шага, он, не доходя до барьера, выстрелил. Пушкин, словно подкошенный, упал лицом вниз.

– Кажется, прострелено бедро, – прохрипел он.

Секунданты кинулись к раненому, однако тот, открыв глаза, тихо сказал:

– Attendez! je me sens assez de force pour tirer mon coup…

Данзас заменил товарищу пистолет (дуло оказалось забито снегом).

Пушкин с трудом приподнялся на левой руке, прицелился и нажал на курок. Стоявший напротив вполоборота противник рухнул в снег.

– Bravo!.. – прошептал Пушкин, проваливаясь в беспамятство.

Рядом склонились секунданты. Открыв глаза, поэт спросил у д'Аршиака:

– Убит?

– Нет, только ранен, – ответил тот.

– Странно, мне казалось, я буду испытывать удовольствие, убивая его, но не чувствую этого…

– Вот именно, – сказал д'Аршиак. – Вам следовало уже давно помириться…

– Поправимся – начнём сначала…

Последние слова Пушкин проговорил, вновь теряя сознание. Шуба медленно пропитывалась кровью, окрашивая снег. Раненого требовалось срочно отправлять в город. Поэта с трудом донесли до саней, потом перенесли в экипаж, предусмотрительно присланный Геккереном-старшим. Когда въехали в город, стемнело…

Дуэль состоялась…

* * *

С каждой минутой боль нарастала, порой становясь нестерпимой. Ему уже давно хотелось кричать. Кто-то рассказывал, крик приносит облегчение – то ли отвлекает, то ли ещё почему. И если бы не присутствие рядом Данзаса, возможно, стоило бы и покричать. Но перед товарищем показать свою

слабость было неудобно. И он молчал, отчаянно скрежеща зубами.

Молчал и Данзас; и только заметная бледность выдавала его серьёзное волнение.

– Как ты, тяжело, брат? – спросил он, когда выехали на Дворцовую площадь.

Вместо ответа Пушкин прикрыл глаза; из уголка одного из них медленно стекала слеза…

Уже подъезжая к Мойке, поэт тихо сказал:

– Боюсь, чтоб не было, как у Щербачёва…

В этот раз промолчал Данзас. Он хорошо знал обоих – и Мишу Щербачёва, и Дорохова. В девятнадцатом, не поделив что-то, эти двое дрались на дуэли. Пуля угодила Щербачёву в живот. Молодой парень, промучившись двое суток, умер в страшных мучениях…

Около шести подъехали к квартире. Данзас вбежал в гостиную и спросил хозяйку: Натальи Николаевны дома не оказалось. Сообщив о тяжёлом ранении хозяина, он послал слуг внести его в дом. Никита Козлов, побежав к выходу, сказал, что Наталья Николаевна, оказывается, у себя. Разыскав супругу Пушкина, Данзас рассказал ей о случившемся.

Увидав окровавленного барина, Никита едва сдержался, чтоб не заплакать. Но сейчас было не до этого, каждая минута могла оказаться спасительной. Слуга осторожно взял на руки дорогого ему человека и бережно понёс к крыльцу.

– Грустно тебе нести меня, а? – негромко спросил Никиту Пушкин.

Тот лишь мотнул головой, стараясь не разрыдаться. Положив раненого в прихожей, он с помощниками кинулся в спальню готовить кровать, но Пушкин воспротивился:

– Нет, положите в кабинете… Никита, постели на диване.

Вышедшая Наталья Николаевна, увидав лежащего в прихожей мужа, еле сдержала крик; ей сделалась дурно. Пушкина внесли в кабинет; переодели в чистое и уложили на диван. Всё это время туда рвалась пришедшая в себя жена. Но поэт пресёк эти попытки супруги, запретив ей быть рядом. Натали вошла в кабинет лишь тогда, когда мужа уложили.

– Ты ни в чём не виновата, Натали, – первое, что он сказал жене. – Это был поединок чести…

Какое-то время муж и жена оставались одни…

Тем временем Данзас лихорадочно искал врача. Согласно условиям дуэли, доктор на поединке не присутствовал, и сейчас за это приходилось жестоко расплачиваться. Никого из врачей,

куда обращался Данзас, не оказалось дома. Кто-то подсказал зайти в сиротский приют. Там-то и столкнулся с доктором Шольцем. Несмотря на то что Вильгельм фон Шольц был акушером, он осмотрел раненного на дуэли Пушкина и пообещал доставить на Мойку хирурга Задлера. К слову, в это время Карл Задлер находился у другого раненого – кавалергарда Геккерена-Дантеса, только что приехавшего с дуэли. К Пушкину хирург прибыл уже из голландского посольства.

После семи вечера у постели больного появляются доктор Спасский и лейб-медик профессор Арендт. Иван Тимофеевич Спасский являлся домашним врачом Пушкиных, которого в этом доме хорошо знали. Именно на этого человека сейчас были обращены все глаза присутствующих, в том числе домашних и самого Пушкина. После всестороннего осмотра доктора пришли к всеобщему мнению, что рана тяжёлая – по сути, *несовместимая с жизнью. По заключению докторов, операция могла усугубить тяжесть состояния раненого, в частности усилить кровотечение; поэтому было принято решение ограничиться исключительно консервативной терапией. Местно были рекомендованы лёд, очистительная клизма, успокоительные… Из обезболивающих – опиумные капли.*

С первых же дней в передней квартиры на Мойке стало скапливаться много народа – друзья, родственники, знакомые; было немало таких, кто просто приходил узнать, как дела у раненого. Парадная дверь не закрывалась, беспокоя больного стуком и скрипом. Было решено её закрыть (припёрли комодом), открыв для посетителей чёрный ход. Кто-то кусочком угля на этой двери написал: Пушкин. На ней был вывешен краткий бюллетень о состоянии здоровья поэта, написанный Жуковским: *«Первая половина ночи беспокойна, последняя лучше. Новых угрожающих припадков нет; но также нет, и еще и быть не может облегчения».*

А там, за этой дверью, умирал человек, подаривший миру Онегина…

Читая воспоминания докторов, находившихся у постели Пушкина, еле сдерживаешь слёзы. В записи Ивана Тимофеевича Спасского есть одно место, по прочтении которого слёз уже не сдержать – они капают, капают… Это когда умирающий просит морошки. Ведь если призадуматься, в этом весь Пушкин. Человек с африканской кровью в жилах, с бурным темпераментом и огромной жаждой жизни, незадолго до своей кончины захотел – нет, не экзотического апельсина или, на худой конец, яблока; поэт попросил дать ему мочёной морошки, которая по вкусу далеко не

каждому. Не в этой ли любви к северной русской ягоде отражена вся искренняя нежность Пушкина к обожаемой им России?..

Через двое суток адских мучений поэта не станет.

Отныне России предстояло жить без Пушкина…

* * *

Свершилось чудо! Все последние месяцы поэт был так одинок и загнан, что порой казалось, умри – и о нём никто не вспомнит. Но стоило лишь *прогреметь у крыльца дома на Мойке двум страшным словам: «Пушкин умер!» – как петербуржцы, словно очнувшись от какого-то оцепенения, дружно двинулись в сторону дома княгини Волконской. Это если пешком. Те, кто на извозчике, говорили просто:*

– К Пушкину…

И разухабистый «ванька», понимающе кивнув головой, гнал с ветерком в одну и ту же сторону – на Мойку. Туда, где до самой ночи наблюдалось настоящее столпотворение – десятки, сотни, тысячи людей… Молодых и старых, знатных и оборванцев, известных и совсем простых людей – всех их объединил единый патриотический порыв. «Умер Пушкин!» – говорили друг другу, словно не веря в собственные слова, и, не стыдясь, вытирали слёзы.

– Грят, слышь-ко, мусье один стрельнул… – перешёптывались в очереди, выстроившейся для последнего прощания. – То ли француз, то ли голштинец…

– Слышал, голландец, – усомнился кто-то.

– Да нет, из французов убивец-то, – поправил третий. – Какой-то Нехренен, што ль. Одно слово, нехристь…

Отпевали поэта в скромной Конюшенной церкви. Власти убоялись большого скопления людей – пугали толпы народа, возмущённых убийством поэта. В храм пускали только по пропускам. Собравшиеся вокруг церкви роптали.

А.И. Тургенев, 1 февраля 1837 года:

«1-й час пополудни. Возвратился из церкви Конюшенной и из подвала, в здании Конюш., куда поставлен гроб до отправления. Я приехал, как возвещено было, в 11 час., но обедню начали уже в 10½. Стечение было многочисленное по улицам, ведущим к церкви, и на Конюшенной площади; но народ в церковь не пускали. Едва достало места и для блестящей публики. Толпа генерал-адъютантов, гр. Орлов, кн. Трубецкой, гр. Строганов, Перовский, Сухозанет, Адлерберг, Шипов и пр., послы французский [и испанский] с расстроганным выражением, искренним…

Австрийский посол, неаполитанский, саксонский, баварский, и все с женами и со свитами. Чины двора, министры некоторые: между ними и – Уваров: смерть – примиритель. Дамы-красавицы и модниц множество; Хитрово – с дочерьми, гр. Бобринский, актеры: Каратыгин и пр. Журналисты, авторы, – Крылов последний из простившихся с хладным телом… Молодежи множество. Служил архим.[андрит] и 6 священников. Рвались – к последнему целованию. Друзья вынесли гроб; но желавших так много, что теснотою разорвали фрак надвое у к. Мещерского. Тут и Энгельгардт – воспитатель его в Царскосельском Лицее; он сказал мне: 18-й из моих умирает, т. е. из первого выпуска Лицея. Все товарищи поэта по Лицею явились. Мы на руках вынесли гроб в подвал на другой двор; едва нас не раздавили» [24].

Перед тем как закрыли гроб, Жуковский и Вяземский положили туда по перчатке, словно отдав другу часть своей души…

Подполковник Данзас написал на имя императора прошение сопроводить тело погибшего друга в Псковскую губернию. Однако Николай просьбу отклонил: с 3 февраля секундант оказался под следствием. В результате в последний путь поэта из всех друзей проводит лишь Александр Тургенев.

Накануне, 2 февраля, из Петербурга в Париж срочно выехал дипломатический курьер. Так французское посольство избавилось от виконта д'Аршиака…

Готовился к отъезду и барон Якоб Геккерен, втайне продолжавший надеяться, что, несмотря на нешуточный скандал, связанный с его именем, его оставят-таки на службе и переведут куда-нибудь в Париж или в Вену.

Посланник на прощании не присутствовал, было не до этого. Он лихорадочно распродавал нажитое за годы службы в России имущество – картины, столовое серебро, мебель, – устроив своего рода аукцион прямо у себя на квартире в посольстве. Геккерена в городе возненавидели, многие даже не скрывали этого. Как-то к нему зашёл один офицер. Увидев, что посланник сидит на стуле с ценником, специально купил именно этот стул:

– А ну, встань-ка, мусью… Стол мне твой приглянулся…

И уже вынеся покупку, проворчал в усы:

– Вот и постой без стула-то, шаромыжник…

6 февраля в кабинете Пушкина на Мойке были сорваны печати, начался обыск. Руководил всем начальник штаба Корпуса жандармов Леонтий Дубельт, который, если б не вмешательство Жуковского, не оставил бы от бумаг поэта даже пепла. Однако

работу цензора царь поручил возложить именно на Василия Андреевича, поэтому документы Пушкина везли прямо к нему на квартиру. Но даже такая «мягкая цензура» вызывала в душе Жуковского бурю гнева.

Впрочем, теперь всё имело несколько иное значение. За поединок со смертельным исходом кто-то должен был ответить.

3 февраля начался судебный процесс по делу о дуэли…

Глава VI

«…Как странно! Боже, как странно: Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, и Пушкина нет. Я увижу вас – и Пушкина нет…»

Н. Гоголь

«Поелику же известно, что камергер Пушкин умер, то самое следует объяснить только в приговоре суда, к какому бы он, за поступки его наказанию по законам подлежал».

Из Подлинного военно-судного дела 1837 г.

После роковой дуэли не прошло и месяца, как уже 19 февраля 1837 года участникам поединка на Чёрной речке был вынесен приговор. Такая оперативность, согласитесь, прямо-таки поражает. Особенно в сравнении со сроками нынешнего судопроизводства, когда исчисление идёт на месяцы и даже на годы. И дело даже не в том, что был убит известный русский поэт. Просто таков был порядок расследования уголовных дел военным судом.

Следует заметить, так называемое «Подлинное военно-судное дело 1837 года» по факту дуэли Пушкина с Дантесом-Геккереном многие десятилетия хранилось под грифом «Секретно», по причине чего ознакомиться с ним могли далеко не все, а исключительно лица, имевшие особый доступ к подобного рода документам по службе или своему высокому положению. И только в 1900 году стараниями общественного и государственного деятеля России Петра Михайловича фон Кауфмана (1857–1926) увидели свет следственные материалы по делу дуэли Пушкина с Дантесом. К слову, именно П.М. Кауфман, будучи министром народного просвещения, разработал и представил в Государственную думу проект о введении всеобщего начального образования.

«Подлинное военно-судное дело 1837 года» интересно само по себе с точки зрения истории отечественной юриспруденции, да и с познавательной тоже. Оно не только наглядно показывает уровень судопроизводства тех лет, но и представляет собой подлинный

кладезь неизвестной доселе информации, связанной с поединками вообще и с январской дуэлью 1837 года в частности. И если кому-то представится случай когда-либо перелистать страницы этого уникального собрания документов и материалов, посоветовал бы мысленно склонить голову перед памятью человека, благодаря которому удалось это осуществить: Петра Михайловича фон Кауфмана…

* * *

…В тот же день, когда произошла дуэль, о поединке, в котором оказалось замешано двое офицеров, было доложено военному министру графу Чернышёву. Днём следующего дня министр сообщил о случившемся императору.

– Всех прикосновенных к дуэли лиц судить военным судом, – приказал Чернышёву царь.

– Будет исполнено, Ваше Величество! – вытянулся в струнку военный министр.

После аудиенции у Николая Чернышёв сразу поехал к себе. Указание императора не было случайным. Один из дуэлянтов, Жорж Дантес-Геккерен, являлся поручиком лейб-гвардии Конного полка; другой, секундант Пушкина Константин Данзас, – инженер-подполковником Санкт-Петербургской инженерной команды по строительной морской части. Поэтому оба за участие в поединке подлежали военному суду.

Царь Николай узнал о дуэли ещё раньше Чернышёва: люди Бенкендорфа оказались более оборотистыми. В тот вечер императрица Александра Фёдоровна запишет в дневнике: *«Н. сказал о дуэли между Пушкиным и Дантесом, бросило в дрожь»…*

Два слова о состоянии судопроизводства того времени. Как ни покажется странным, судебная власть в отношении военнослужащих вплоть до 1839 года, когда был издан Военно-уголовный устав, осуществлялась по петровскому «Краткому изображению процессов или судебных тяжб» (1715 г.) и «Артикулу воинскому Сухопутного устава» (1716 г.). В «Кратком изображении» и определялось военное судоустройство и процесс в военных судах. Позже «Краткое изображение» было включено в Полное собрание законов Российской империи, которым и руководствовались по делам о дуэлях.

Профессионального военного суда (кригсрехта) в русской армии не имелось. Однако в случае необходимости командованием из числа офицеров части формировался состав суда для рассмотрения того или иного дела. Как обратили внимание, на суде

присутствовал аудитор – профессиональный юрист, в обязанности которого входило следить за правильностью судопроизводства и беспристрастностью суда, что обеспечивало квалифицированное ведение судебного процесса. К слову, аудитором (штатское должностное лицо) мог стать даже иностранец. В полковом военном суде председателем (президентом) назначался полковник (или «полуполковник»), имевший при себе асессоров: двух капитанов, двух поручиков и двух прапорщиков. Так что в данном случае все формальности были соблюдены. То есть кригсрехт, по сути, являлся офицерским судом.

Следует заметить, военно-судная комиссия имела довольно широкие полномочия, сосредоточив в себе как расследование дел, так и рассмотрение их по существу. Важный момент: процесс являлся негласным и письменным. И никаких адвокатов! Таким образом, данная комиссия выносила по факту императивное решение, которое по инстанции утверждалось свыше – вплоть до Высочайшего волеизъявления. В случае с дуэлью Пушкина с Дантесом сентенция (приговор) во многом зависела от воли Государя…

Полк, в котором проходил службу Дантес, входил в бригаду, бригада – в дивизию. И так далее. Для облегчения дальнейшего восприятия событий предлагаю ознакомиться с некой армейской иерархической «цепочкой» в порядке подчинённости, с указанием командиров частей и соединений – вплоть до военного министра.

Итак, лейб-гвардии Конный полк (командир генерал-майор Р.Е. Гринвальд) входил в состав 1-й Гвардейской кирасирской бригады (генерал-майор Е.Ф. Мейендорф). Вышеназванная бригада являлась составной частью Гвардейской кирасирской дивизии (генерал-майор граф С.Ф. Апраксин). Последняя подчинялась Гвардейскому резервному кавалерийскому корпусу (генерал-лейтенант барон В.К. Кнорринг), находившемуся под началом Отдельного гвардейского корпуса (генерал от инфантерии барон К.И. Бистром). Напомню, военным министром Российской империи на тот момент являлся генерал от кавалерии граф Александр Иванович Чернышёв.

После этой нехитрой азбуки перейдём к событиям…

* * *

На следующий день после дуэли командир Отдельного гвардейского корпуса генерал Бистром в рапорте на имя Николая I, отправленном через военного министра, сообщал о состоявшейся дуэли между *«камергером Двора Пушкиным» и «поручиком кавалергардского Ея Величества полка бароном*

Геккерен», в результате чего последний был ранен и за сей «противозаконный поступок» подлежал военному суду.

В день смерти Пушкина, 29 января, военный министр граф Чернышёв объявил генералу Бистрому Высочайшую волю по данному вопросу.

В специальном отношении на имя командующего корпусом было указано, что «по всеподданнейшему докладу… о дуэли, происшедшей 27 числа сего Генваря, между Поручиком Бароном Де-Геккереном и Камергером Пушкиным, Высочайше повелеть соизволил: судить военным судом как их, так равно и всех прикосновенных к сему делу, с тем, что ежели между ними окажутся лица иностранные, то, не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить об них особую записку, с означением токмо меры их прикосновенности…» [1]

Хочу обратить внимание читателей на одну существенную деталь: к суду привлекался не только поручик Дантес-Геккерен, но и «камергер Пушкин». Правда, начальник штаба Отдельного гвардейского корпуса генерал Веймарн далее добавляет: «Поелику же известно, что Камергер Пушкин умер, то самое следует объяснить только в приговоре суда, к какому бы он, за поступки его наказанию по законам подлежал» [2]. Как видим, этой реляцией поэт де-факто выводился за рамки судебного процесса.

Привлекался к ответственности и секундант Пушкина инженер-подполковник Константин Данзас («за произведенную первыми двумя между собой дуэль, а последний за нахождение при оной секундантом»).

Военная машина закрутилась. В тот же день Бистром и начальник штаба корпуса генерал-адъютант Веймарн направили по инстанции распоряжение командиру Гвардейского резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту Кнорингу:

«Объявив сего числа в Приказе по Отдельному Гвардейскому Корпусу о предании военному суду Поручика Кавалергардского ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА полка Барона Геккерена за бывшую между ним и Камергером Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Пушкиным дуэль, предлагаю Вашему Превосходительству приказать: суд сей учредить при Лейб-Гвардии Конном полку, Президом суда назначить Флигель-Адъютанта Полковника того же полка Бреверна 1-го, а асессорами Офицеров по усмотрению Вашему. Комиссии военного суда вменить в непременную обязанность открыть, кто именно были посредниками (секундантами) при означенной дуэли и вообще кто знал и какое принимал участие в совершении или отвращении оной. Дело сие окончить сколь возможно поспешнее» [3].

Тридцатого января генерал Кнорринг предписал «учинить надлежащее распоряжение и дело» начальнику Гвардейской кирасирской дивизии генералу Апраксину, а тот – командующему 1-й Гвардейской кирасирской бригады генерал-майору Мейендорфу. И уже последний отдал распоряжение непосредственно офицеру полка флигель-адъютанту полковнику Бреверну: «…составляя Комиссию, назначаю Ваше Высокоблагородие Презусом, Асессорами же: Ротмистра Столыпина, Штабс-Ротмистра Балабина, Поручиков: Анненкова, Шигорина, Корнетов: Чичерина, Осоргина, а для производства дела Аудитора Маслова…»[59]

Следователем по делу командир полка генерал Гринвальд назначил офицера своей же части полковника Александра Павловича Галахова.

Все эти большие и малые шестерёнки, от корнетов до генералов, и составляли единый бесперебойный механизм, имя которому — военный суд.

Немного о лейб-гвардии Конном полке, входившем в состав Отдельного гвардейского корпуса. Это привилегированное подразделение являлось самым настоящим «придворным полком» в полном понимании этого слова, причём со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Достаточно сказать, что его официальным шефом был сам император. Ещё со времён приснопамятной Анны Иоанновны в русской армии установилась традиция: все царствующие персоны являлись одновременно и шефами лейб-гвардии Конного полка, в чине полковника. Причём каждый из императоров этим очень гордился.

И конногвардейцы старались не запятнать оказываемого им доверия. Так, в день восстания декабристов лейб-гвардии Конный полк первым выступил против бунтовщиков в поддержку Николая; солдаты возвратились в казармы, лишь когда с мятежниками было полностью покончено. За особое отличие командир полка генерал-адъютант Алексей Фёдорович Орлов был Высочайше пожалован в графский титул. Досталось «Высочайшей милости» и прочим. Например, офицеры и нижние чины были уравнены в денежном содержании с высшей денежной ставкой. Кроме того, нижние чины получали разовое денежное, продовольственное и «винное» вознаграждения. Это ли не привилегии?..

К слову, в 1851 году в этом же полку начнёт служить восемнадцатилетний корнет – старший сын Пушкина, Александр Александрович Пушкин; а ещё через два года – и младший сын поэта, Григорий Александрович. Но и это не всё: с 1844 по 1853 год придворным конногвардейским полком будет командовать

генерал от кавалерии Пётр Петрович Ланской – второй муж Натальи Николаевны Гончаровой…

Из тех, кто судил, трое по прошествии короткого времени дослужатся до генеральского звания.

Полковник *Александр Иванович Бреверн (1801–1850) был назначен председателем военно-судной комиссии. Незадолго до описываемых событий, в 1833 году, он был произведён в полковники; в 1835-м – флигель-адъютант. Многозначительный факт: свой первый боевой орден (Св. Владимира 4-й степени) Бреверн получил за участие в подавлении восстания декабристов. (Позже отличится в «успокоении» польского мятежа.)*

Поручик Иван Васильевич Анненков (1814–1887) числился в конногвардейском полку с 1833 года. В 1841 году станет ротмистром, а в 1848-м – полковником. С 1851 по 1853 год – «при Особе Его Императорского Величества»; с 1855 года – генерал-майор с назначением в свиту императора. К слову, Анненков – родной брат мемуариста П.В. Анненкова, первого биографа и посмертного издателя Собрания сочинений А.С. Пушкина.

Полковник Александр Павлович Галахов (1802–1863) являлся следователем по делу. В лейб-гвардии Конном полку с 1820 года, куда был зачислен сразу после окончания Благородного пансиона при Царскосельском лицее. В декабре 1825 года, будучи в чине поручика, как и Бреверн, участвовал в подавлении декабристского восстания на Сенатской площади, причём во время боестолкновения был ранен. Вскоре по неизвестной причине вышел в отставку, правда, ненадолго. В 1832 году был произведён в ротмистры, в 1837-м – в полковники. В 1846 году стал генерал-майором с назначением в Свиту Его Величества; ещё через год – назначен столичным обер-полицмейстером. Именно при Галахове возник особый обычай называть улицы Санкт-Петербурга в честь провинциальных городов.

Во время экзекуции петрашевцев на Семёновском плацу генерал Галахов зачитывал указ о замене смертной казни «смутьянам» ссылкой в Сибирь. По свидетельствам очевидцев, любил лично присутствовать при наказании преступников и «если находил, что палач щадит наказуемого, мог повторить экзекуцию, прописав плети самому палачу». После смерти императора Николая I был уволен от должности обер-полицмейстера в чине генерал-лейтенанта. Из всех членов военно-судной комиссии только полковник Галахов был лично знаком с Пушкиным.

* * *

Вскоре начались допросы. Судя по всему, заседания военно-судной комиссии проходили в казармах того же кавалергардского полка, на квартире самого презуса – флигель-адъютанта полковника Бреверна.

Первым предполагалось допросить поручика Дантеса-Геккерена. Однако накануне был получен ответ на запрос суда от командира полка генерала Гринвальда, извещавший, что *«… Поручик Барон Геккерен считается арестованным и по случаю раны, им полученной на дуэли, живет у себя на квартире на Невском проспекте в доме Влодека под № 51. Формулярный и Кондуитный Списки его вслед за сим будут доставлены» [4]. В связи с этим обстоятельством первый допрос Жоржа Дантеса проводился прямо у него на квартире.*

5 февраля по предписанию старшего доктора Гвардейского резервного кавалерийского корпуса статского советника Ивана Енохина было проведено медицинское освидетельствование поручика Дантеса. Освидетельствование поручили полковому военному врачу Стефановичу. В рапорте на имя генерала Бреверна штаб-лекарь отмечал:

«…Поручик Барон Геккерн имеет пулевую проницательную рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста; вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость, более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждений костей и больших кровеносных сосудов. Больной может ходить по комнате, разговаривает свободно, ясно и удовлетворительно, руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вздыхании, хотя наружных знаков контузии незаметно. От ранения больной имеет обыкновенную небольшую лихорадку (Febris Vulneraria), вообще же он кажется в хорошем и надежном к выздоровлению состоянии…» [5]

Таким образом, для последующих допросов Дантеса можно было вызывать на судебное заседание. Что и было сделано, причём уже на следующий день.

Из показаний Ж. Дантеса-Геккерена от 6 февраля 1837 года:

«Дуэль учинена мною с Камергером Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Пушкиным 27 числа минувшего Генваря в 5-ть часов по полудни, за выборгскою заставою близ Новой Деревни в Роще за Комендантскою Дачею, на пистолетах; причина же, побудившая меня вызвать его на оную, следующая: в ноябре м-це 1836 года получил я словесный и беспричинный

Камергера Пушкина вызов на дуэль, который мною был принят; спустя же некоторое время Камергер Пушкин без всякого со мной объяснения словесно просил Нидерландского посланника Барона Д. Геккерена передать мне, что вызов свой он уничтожает, на что я не мог согласиться потому, что, приняв беспричинный вызов его на дуэль, полагал, что честь моя не позволяет мне отказаться от данного ему мною слова; тогда Камергер Пушкин по требованию моему назначенному с моей стороны Секунданту, находящемуся при Французском посольстве гр. Д'Аршиаку, дал письмо, в коем объяснил, что он ошибся в поведении моем и что он более еще находит оное благородным и вовсе не оскорбительным для его чести, что соглашался повторить и словесно, с того дня я не имел с ним никаких сношений, кроме учтивостей. Генваря 26-го Нидерландский посланник Барон Геккерен получил от Камергера Пушкина оскорбительное письмо, касающееся до моей чести, которое якобы он не адресовал на мое имя единственно потому, что считает меня подлецом и слишком низким. Все сие может подтвердиться письмами, находящимися у ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА» [6].

При общении с поручиком Дантесом выяснилось много интересного. Так, оказалось, что француз, принимая присягу, клялся не в верности русской армии, а всего лишь «на верность службе». Об отношении же Дантеса к службе мы хорошо знаем. И это характеризует убийцу достаточно обличительно. Отсюда и его «своеобразная» версия случившегося, согласно которой вызов явился исключительно плодом больного воображения мужа-ревнивца Пушкина, который, быстро одумавшись, пошёл на попятную. И даже якобы согласился признать благородство француза.

С этого момента, уважаемый читатель, мне бы хотелось поразмыслить вместе с вами. Для этого предлагаю ещё раз перечесть показания француза.

Ну да, свою вину Дантес признаёт сразу, заявив, что именно он вызвал поэта на дуэль. А вот дальше – не совсем понятно. «… Получил я словесный и беспричинный Камергера Пушкина вызов на дуэль»… Насколько известно, Пушкин 4 ноября 1836 года отправил Жоржу Дантесу вызов. Письменный. Послание, как помним, попало в руки приёмного отца Дантеса. В любом случае пушкинское письмо было прочтено обоими. Вот и «словесный вызов». О причинах вызова даже нет смысла говорить вновь. Волокитство Дантеса за Натали Пушкиной было хорошо известно всему Петербургу; об этом был информирован даже сам император и, конечно, императрица. Таким образом, об этом знали все.

Ещё раз вспомним слова современника об отношении той же княгини В.Ф. Вяземской к наглому французу: «Оберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживания за женой Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно – приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена».

Это ли не волокитство?!

Читаем дальше. Вот ещё отрывочек: «…Спустя же некоторое время Камергер Пушкин без всякого со мной объяснения словесно просил Нидерландского посланника Барона Д. Геккерена передать мне, что вызов свой он уничтожает…»

И снова наглая ложь! Геккерены сами просили Пушкина отозвать вызов! Они его просто умоляли об этом! Сначала посланник выпросил отсрочку – одну, другую… Потом вдруг оказалось, что Жоржик «воспылал» любовью к «серой мышке» Катрин Гончаровой, хотя увивался исключительно вокруг её младшей сестры.

Теперь об «учтивых сношениях», которые, как свидетельствовал Дантес, якобы были между ним и Пушкиным после перемирия. И это – как посмотреть. По крайней мере, со стороны Пушкина просматривается крайняя неприязнь – неприкрытая и непримиримая. Какие могли быть учтивости, если француз пытался возобновить встречи с женой поэта? Можно только позавидовать терпению и выдержке мужа: будь на его месте другой – набил бы нахалу морду задолго до дуэли…

Дантес – изворотливый лгун! Он явно лукавит, спасая свою шкуру наглой ложью. И при этом старается очернить того, кто стоял с ним у барьера. Француз всячески пытается выставить себя этаким «агнцем». Однако «агнец» убил человека – великого Пушкина…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Отец Фридриха Великого[60] *был гуляка, любил вино, но не любил учености. Однажды вздумалось ему дать решить Берлинскому обществу наук, основанному Лейбницем, задачу: отчего происходит пена шампанского вина, которая очень ему нравилась. Академия попросила 60 бутылок для добросовестного исследования задачи и нужных испытаний. “Убирайся они к*

черту, – сказал король, – лучше не знать мне никогда, в чем дело, пить шампанское могу и без них”» [7].

Седьмого февраля военно-судная комиссия запросила у императора Николая I письма, на которые, как мы помним, с таким самодовольством ссылался Дантес.

Восьмого на допрос был вызван Пётр Андреевич Вяземский.

Невольно возникает вопрос: какую роль во всей этой дуэльной истории играл старый товарищ убитого Пушкина? И совсем не понятно, что связывало Вяземского с тем же д’Аршиаком. Ведь Пётр Андреевич, судя по всему, даже не знал о предстоящем поединке, закончившемся столь плачевно…

Всё дело в д’Аршиаке. Перед своим «скорым бегством» из Петербурга он написал некую «реляцию» – большое письмо с подробностями дуэли на Чёрной речке, – и передал её князю. Это послание Вяземский отдал Данзасу, но тот вскоре вернул уже два письма – от д’Аршиака и от себя, тоже с объяснениями по поводу дуэли. Так возникла своего рода письменная версия случившегося, изложенная на бумаге обоими секундантами в адрес князя Вяземского, который, как предполагалось, должен был их представить на офицерский суд.

Так и случилось, Вяземский был вызван в военно-судную комиссию. Именно он, близкий товарищ Пушкина, в глазах судей олицетворял человека объективного – того, кто не заинтересован во лжи и сокрытии нежелательных для каждой из сторон фактов.

Аудитор Маслов:

– …Откуда реляция Вами взята, и если дадена, то кем, когда и на какой предмет, кто оную составлял, не имеется ли кроме оной… еще каких-либо бумаг, касающихся до вышеупомянутой дуэли, когда и от кого Вы узнали об оной и не известно ли Вам, за что именно произошла дуэль между Камергером Пушкиным и Поручиком Бароном Де Геккереном: ссора или неудовольствие, последствием чего было выше помянутое происшествие?..

П.А. Вяземский:

– …Реляции о бывшей дуэли… у меня нет, но есть письмо Виконта Даршиака, секунданта Барона Геккерена, и вот по какому поводу ко мне писанное. Не зная предварительно ничего о дуэли, про которую в первый раз услышал я вместе с известием, что Пушкин смертельно ранен, и при первой встрече моей с Господином Даршиаком просил его рассказать о том, что было. На сие Господин Даршиак вызвался изложить в письме все случившееся, прося меня при том показать письмо Господину Данзасу для взаимной проверки и засвидетельствования подробностей

помянутой дуэли… отдал письмо сие Господину Данзасу, который возвратил мне оное письмо от себя: прилагаю у сего то и другое… я ничего не знал о дуэли, до совершенного окончания ея, что подтверждаю и теперь. Равномерно не слыхал я никогда ни от Александра Сергеевича Пушкина, ни от Барона Геккерена о причинах, имевших последствием сие несчастное происшествие… [8]

Бросается в глаза, что Пётр Андреевич на следствии показал себя истинным дипломатом. Конечно же, он был в курсе дела и знал достаточно много. По крайней мере, о взаимоотношениях Дантеса с Натали и ревности Пушкина. Нелишне будет напомнить, что анонимку о «рогоносце» получили не только на Мойке: подобное гнусное письмо было доставлено и Вяземскому. Остаётся надеяться, что свидетель, тяжело переживая смерть друга, тем не менее не желал быть причастным к обвинению Дантеса лишь на основании слухов, сплетен и домыслов. Пусть этим занимаются члены суда! Сам же князь изложил лишь факты, не более…

8 февраля Дантес вновь был освидетельствован на предмет состояния здоровья (осматривал француза всё тот же доктор Стефанович). Вывод доктора озадачил убийцу. Судите сами.

Из рапорта штаб-лекаря коллежского асессора Стефановича:

«…Кроме припухлости и чувствительности при дотрогивании к раненому месту, других болезненных припадков не заметил, а потому, судя по настоящему Его состоянию, полагаю, что Г. Поручик Барон Геккерн может содержаться на Гаубтвахте в особой, сухой и теплой комнате, которая бы, следовательно, ничем не отличалась существенно в отношении к Его здоровью от занимаемой им теперь квартиры» [9].

Как видим, после оглашения приговора Дантеса можно было смело препровождать на гауптвахту. (Другое дело, что с условиями его содержания доктор явно переборщил.)

* * *

9 февраля в военно-судную комиссию доставлены письма, запрашиваемые накануне. Напомню, эта переписка заинтересовала суд исключительно потому, что подсудимый Дантес, говоря во время допроса о письмах Пушкина[61], подчеркнул: *«Все сие может подтвердиться письмами, находящимися у ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА». Сказано настолько нарочито громко, что поневоле заинтересуешься.*

И вот эти письма доставлены. Но, как оказалось, они находились вовсе не у императора, а у министра иностранных дел графа К.В. Нессельроде. Оба письма были отправлены министру Геккереном-старшим на следующий день после дуэли. По мнению голландца, они полностью оправдывали в этой грязной истории как приёмного сына, так и лично его.

Чтобы это понять, достаточно прочесть сопроводительное письмо Геккерена к тем двум:

«Господин граф! Имею честь представить вашему сиятельству прилагаемые при сем документы, относящиеся до того несчастного происшествия, которое вы благоволили лично подвергнуть на благоусмотрение его императорского величества. Они убедят, надеюсь, его величество и ваше сиятельство в том, что барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе, чем он это сделал».

Однако причём здесь Нессельроде? Неужели имел место какой-то сговор? Ничего подобного. Хотя известно, что граф к покойному Александру Сергеевичу относился без всякого пиетета, если не сказать больше – люто ненавидел. Но не в этом дело. Просто голландский посланник не мог вот так взять и запросто настрочить письмо-другое на Высочайшее имя, как, скажем, в наше время любая Марь Иванна или полоумный Петрович черкают пожелания-жалобы прямиком Президенту. А чё, демократия ж! Так вот, голландский посланник Геккерен написал по инстанции. То есть, пользуясь своим посольским положением, отправил послание российскому министру иностранных дел, наперёд зная, что тот однозначно ознакомит с письменами и Николая.

Однако Дантес и здесь повёл себя весьма самоуверенно, введя суд в заблуждение. Сказывалось влияние его приёмного батюшки: Геккерен-младший как бы исподволь оказывал давление на членов суда. Вы, мол, что хотите – то и пишите, но знайте: за моей спиной – ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО!

Что опять-таки являлось ложью…

Важными документальными свидетельствами, хранящимися в бумагах военно-судного дела, безусловно, являются письма секундантов (Оливье д'Аршиака и Константина Данзаса) к князю П.А. Вяземскому.

Из письма виконта д'Аршиака:

«…В 4 1/2 часа прибыли мы на место свиданья, весьма сильный ветер, который был в это время, принудил нас искать прикрытия в небольшом сосновом леску. Множество снега мешало противникам, то мы нашлись в необходимости прорыть тропинку в 20 шагах, на концах которой они встали. Когда барьеры были

назначены шинелями, когда пистолеты были взяты каждым из них, то полковник Данзас дал сигнал, подняв шляпу. Пушкин в то же время был у своего барьера, когда барон Геккерен сделал 4 шага из 5-ти, которые ему оставались до своего места. Оба соперника приготовились стрелять, спустя несколько выстрел раздался, – Господин Пушкин был ранен, что он сам сказал, упал на шинель, которая была вместо барьера, и остался недвижим лицом к земле. Секунданты приблизились, он до половины приподнялся и сказал: погодите… оружие, которое он имел в руке, было покрыто снегом, он взял другое; я бы мог на это сделать возражение, но знак барона Жоржа Геккерена меня остановил; Г-н Пушкин, опершись левою об землю, прицелил твердою рукою, выстрелил. Недвижим с тех пор, как выстрелил. Барон Геккерен, раненный, также упал.

Рана Г. Пушкина была слишком сильна, чтобы продолжать. Дело было кончено. Снова упавши после выстрела, он имел раза два полуобморока и несколько мгновений помешательства в мыслях…

В санях, сильно потрясаем во время переездки более половины версты, по самой дурной дороге, он мучился, не жалуясь…» [10]

Так был ранен Пушкин.

* * *

Десятого февраля Дантеса в очередной раз вызывают на допрос. На этот раз членов военно-судной комиссии интересуют следующие обстоятельства: *«…В каких выражениях заключались письма, писанные Вами к Г-ну Пушкину или его жене, которые в письме, им написанном к Нидерландскому Посланнику Барону Геккерену, называет дурачеством? Какие именно были условия дуэли и на чьих пистолетах стрелялись Вы?»*

В своих ответах Дантес продолжал отрицать какое-либо провоцирование с его стороны г-на Пушкина. В частности, он заявил:

«…Посылая довольно часто Г-же Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках, полагаю, что в числе оных находились некоторые, коих выражения могли возбудить его щекотливость как мужа… пистолеты, из коих я стрелял, были вручены мне моим Секундантом на месте дуэли; Пушкин же имел свои… вышепомянутые записки и билеты были мной посылаемы к Г-же Пушкиной прежде, нежели я был женихом» [11].

А вот что на следующий день показал Константин Карлович Данзас:

«…Получив письмо от неизвестного, в коих он виновником почитал Нидерландского Посланника, и узнав о

распространившихся в свете нелепых слухах, касающихся до чести жены его, он в ноябре-месяце вызывал на дуэль Г-на Поручика Геккерена, на которого публика указывала; но когда Г-н Геккерен предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он, однако ж, непременным условием требовал от Г-на Геккерена, чтоб не было никаких сношений между двумя семействами. Невзирая на сие, Гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены. Дабы положить сему конец, он написал 26 января письмо к Нидерландскому Посланнику, бывшее причиною вызова Г. Геккерена. За сим Пушкин собственно для моего сведения прочел и самое письмо, которое, вероятно, было уже известно Секунданту Г. Геккерена…» [12]

Итак, подполковник Данзас называет вещи своими именами: волокитство Дантеса за Натальей Николаевной продолжалось вплоть до роковой дуэли – то есть и после заключения брака Геккерена с Екатериной Гончаровой, свояченицей Пушкина. Обвиняет он и приёмного отца убийцы – «Нидерландского Посланника», сыгравшего в сей драме не последнюю роль.

Допрос Константина Данзаса полностью открыл глаза членам комиссии военного суда. Пришло понимание того, что показания Дантеса-Геккерена фальшивы – они попросту ложны и недостоверны. И если ухаживания француза, как уверял Данзас, продолжались и после свадьбы, всё остальное становилось очевидным и понятным – и раздражительность мужа, и его гневные письма, и дуль, ставшая для Пушкина роковой. Ведь случись подобное с каждым из них, понимали члены суда, любой поступил бы точно так же: поединок являлся единственным выходом из тупика!

Изменение отношения судей к происходящему заметно уже на следующем заседании, 12 февраля. Члены комиссии, пытаясь выудить правду у самого подсудимого, задают ему вполне конкретные вопросы:

– …Военносудная комиссия просит вас объяснить, неизвестно ли вам, кто писал в ноябре-месяце и после того к Г. Пушкину от неизвестного письма и кто виновники оных, распространили ли вы нелепые слухи, касающиеся до чести жены его, вследствие чего тогда же он вызвал вас на дуэль, которая не состоялась потому, что вы предложили ему жениться на его свояченице, но вместе с тем требовал от вас, чтоб не было никаких сношений между двумя вашими семействами? Несмотря на сие, вы даже после

свадьбы не переставали дерзко обходиться с женою его, с которою встречались только в свете, давали повод к усилению мнения, поносительного как для его чести, так и для чести жены его, что вынудило его написать 26 Генваря письмо к Нидерландскому Посланнику, бывшее причиною вызова вашего на дуэль? [13]

Дантес, несомненно, смущён. Похоже, наглость стала его вторым «я».

Из показаний Ж. Дантеса-Геккерена:

«Мне неизвестно, кто писал к Г. Пушкину безымянные письма в ноябр- месяце и после того, кто виновники оного, слухов нелепых, касающихся до чести жены его, я никаких не распространял, а несогласен с тем, что я уклонился от дуэли предложением моим жениться на его свояченице… что же касается до моего обращения с Г-жою Пушкиной… не имея никаких условий для семейных наших сношений, я думал, что был в обязанности кланяться и говорить с нею при встрече в обществе, как и с другими дамами… К тому же присовокупляю, что обращение мое с нею заключалось в одних только учтивостях… и не могло дать повода к усилению поносительного для чести обоих… и написать 26 Генваря письмо к Нидерландскому Посланнику» [14].

Таким образом, способ защиты убийцы один — ложь. Дантес извивается, как уж под вилами. Цель – опорочить честь убитого им человека. Ведь скажи он всю правду – и не сносить головы. Однако француз не знал главного: членам военно-судной комиссии удалось его расколоть. Они всё поняли.

13 февраля вынесено определение:

«1837 года Февраля, 13 дня, По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Комиссия военного Суда… определила… привести оное немедленно к окончательному решению, сочинить из него выписку, прибрать приличные к преступлению подсудимых законы, на основании оных заключить Сентенцию с подсудимых… в том, что им при производстве Суда сего никаких пристрастных допросов чинено не было, взять на основании Указа 6 ноября 1804 года подписку, о прикосновенности иностранных лиц, о мере прикосновенности их составить особую записку и потом дело представить на благоусмотрение по команде» [15].

Однако перед вынесением сентенции (судебного решения) неожиданно засомневался аудитор Маслов. Он предложил допросить Наталью Николаевну Пушкину. Ведь поединок как раз и состоялся из-за этой женщины. (Согласитесь, о вдове мы как-то позабыли. Случись это в наши дни, жену погибшего допросили бы одну из первых.)

Что же заинтересовало Маслова?

«…1-е. Неизвестно ли ей, какие именно безымянные письма получил покойный муж ея, которые вынудили его написать 26 числа Минувшего Генваря к Нидерландскому Посланнику Барону Геккерену оскорбительное письмо, послужившее, как по делу видно, причиною к вызову подсудимым Геккереном его Пушкина на дуэль. 2-е. Какие подсудимый Геккерен, как он сам сознался, писал к Ней, Пушкиной, письма или записки, кои покойный муж ея в письме к Барону Геккерену от 26 Генваря называет дурачеством; где все сии бумаги ныне находятся, равно и то письмо, полученное Пушкиным от неизвестного еще в ноябре-месяце… И 3-е. Из письма умершего подсудимого Пушкина видно, что Посланник Барон Геккерен, когда сын его, подсудимый Геккерен, по болезни был содержан дома, говорил жене Пушкина, что сын его умирает от любви к ней, и шептал возвратить ему его, а после уже свадьбы Геккерена… они, Геккерены, дерзким обхождением с женою его при встречах в публике давали повод к усилению поносительного для чести Пушкиных мнения. Посему я считал бы нужным о поведении Гг. Геккеренов в отношении обращения их с Пушкиной взять от нее такие объяснения. Если Комиссии военного суда неблагоугодно будет истребовать от вдовы Пушкина по вышеуказанным предметам объяснения, то я всепокорнейше прошу, дабы за упущение своей обязанности не подвергнуться мне ответственности, рапорт сей приобщить к делу для видимости высшего начальства» [16].

Вне всякого сомнения, аудитор 13-го класса Маслов – опытный юрист (напомню, единственный с юридическим образованием в составе военного суда). Ему, как никому, видна слабость доказательной базы. Где вообще пресловутый «диплом рогоносца», из-за которого сломано столько копий? Его в деле нет. Кто составитель пасквиля – неизвестно. Может, что подскажет вдова? И в этом ход мыслей аудитора абсолютно верен. Ах, как были бы нам интересны показания Натальи Николаевны!

Но не случилось. Военно-судная комиссия ходатайство аудитора быстренько отклонила, сославшись на то, что с вдовы и без этого достаточно моральных страданий. Да и вообще, ясность по делу полная, к чему дополнительное бумаготворчество?..

Дело оставалось за малым – вынести сентенцию…

Шестнадцатого числа министр внутренних дел генерал Бенкендорф присылает на имя командира Гвардейской кирасирской дивизии генерала Апраксина несколько документов, предназначенных для военно-судной комиссии. Как то: четыре письма к Пушкину, три из которых были написаны виконтом

д'Аршиаком и одно бароном Геккереном, а также «визитный билет» (визитная карточка) д'Аршиака, «на коем надпись, его же рукою сделанная». Все эти документы были найдены «между бумагами Камергера А.С. Пушкина» и переданы в военно-судную комиссию как «могущие служить оной Комиссии руководством и объяснением». И эти документы действительно многое объяснили.

Оскорбительное письмо – страшнее пистолета. А выше пистолета – только личное мужество. 27 января остановить дуэль уже было невозможно…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«…Мостовая, мост, мостки ничего не имеют сходного с шоссе. Из любви к православию русского языка не надо допускать кривотолков в понятиях. Русский язык богат сырыми материалами, как и вообще русская почва. Отделка, оправа, изделие плохо даются нам. У нас в языке крупные ассигнации: в мелких недостаток, потому и вынуждены мы прибегать к иностранным монетам. Язык наш богат в некоторых отношениях, но в других он очень беден. Наш язык не имеет микроскопических свойств. Мы все выезжаем на слонах; а человеческое сердце есть кунсткамера разных букашек, бесконечно малых, улетучивающихся эфемеров. Тут славянский язык не поможет. Он в эти мелочи не пускается. Он Илья-богатырь: горами вертеть он не прочь, а до субтильностей, до деликатного обхождения он не охотник. Он к ним и неспособен» [17].

19 февраля 1837 года был оглашён приговор. При вынесении вердикта суд опирался на три нормативных правовых акта, регламентировавших поединки: Указ от 14 января 1702 года о запрещении поединков; Артикул воинский петровского Сухопутного устава (артикулы 139, 140 и 142) и Манифест о поединках от 21 апреля 1787 года.

Согласно Указу 1702 года, «всем, обретающимся в России и выезжающим иностранным, поединков ни с каким оружием не иметь, и для того никого не вызывать и не выходить: а кто, вызвав на поединок, ранит, тому учинена будет смертная казнь; ежели кто, и не бывав на поединке, поссорясь, вынет какое оружие, на другого замахнется, у того по розыску отсечена будет рука».

Артикул 139 предусматривал ответственность непосредственно дуэлянтов: «Все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше запрещаются таким образом, чтоб никто, хотя б

кто он ни был, высокаго или низкаго чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другой кто, словами, делом, знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать ниже на поединок с ним на пистолетах или на шпагах битца. Кто против сего учинит, оный всеконечно, как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умервщлен, или хотя оба не ранены от того отойдут. И ежели случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и по смерти за ноги повесить».

Артикул 140 – ответственность секундантов: «Ежели кто с кем поссорится и упросит секунданта (или посредственника) онаго купно с секундантом, ежели пойдут, и захотят на поединке битца, таким же образом, как и в прежнем артикуле упомянуто, наказать надлежит».

Артикул 142 – ответственность прочих, кто мог предотвратить поединок, но не сделал этого.

Из Манифеста о поединках 1787 г.:

п. 3: «Подтверждается запрещение словами, или письмом, или пересылкою вызвать кого на драку, или так прозванный поединок»;

п. 4: «Подтверждается запрещение вызванному словами, письмом или пересылкою выходить на драку или поединок».

Интересна запись аудитора в конце: «Более по сему делу приличных узаконений не имеется». Впрочем, к этому мы ещё вернёмся.

СЕНТЕНЦИЯ

«По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Комиссия военного суда, учрежденная при Лейб-гвардии Конном полку, над Поручиком Кавалергардского ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка Бароном Д. Геккереном, Камергером Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Александром Пушкиным и Инженер-Подполковником Данзасом, преданными суду по воле высшего Начальства; первые двое за произведенную 27-го числа минувшего Генваря между ими дуэль, на которой Пушкин, будучи жестоко ранен, умер, а последний, Данзас, за нахождение при оной посредником или Секундантом, находит следующее: между подсудимыми Камергером Пушкиным и Поручиком Бароном Д. Геккереном с давнего времени происходили семейные неприятности, так что еще в Ноябре-месяце прошлого года первый из них вызывал последнего на дуэль, которая, однако, не состоялась.

Наконец, Пушкин 26-го Генваря сего года послал к отцу Подсудимого Геккерена, Министру Нидерландского Двора Барону Геккерену, письмо, наполненное поносительными и обидными

словами. В письме сем Пушкин, описывая разные неприличные поступки против жены его подсудимого Геккерена, называл их низостью и ничтожностью, погасли в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Далее Пушкин, самого Министра Геккерена называя представителем Коронованной главы, изъяснился, что он родительски сводничал своему сыну и руководил неловким его поведением, внушал ему все заслуживающие жалости выходки и глупости, которые позволил себе писать, и, подобно старой развратнице, сторожил жену его, Пушкина, во всех углах, чтобы говорить с ней о любви к ней незаконнорожденного сына и, когда он оставался дома больной венерической болезнью, говорил, что умирает от любви к ней, бормотал ей возвратить ему его. В заключение Пушкин, изъявляя желание, чтобы Геккерен оставил дом его и не говорил жене его казарменные каламбуры, назвал его подлецом и негодяем. Министр Нидерландский Барон Геккерен, будучи оскорблен помещенными в сем письме изъясненными словами, того ж числа написал от себя к Пушкину письмо с выражениями, показывающими прямую готовность к мщению, для исполнения коего избрал сына своего, Подсудимого Поручика Барона Геккерена, который на том же сделал собственноручную одобрительную надпись. Письмо сие передано было Пушкину через находящегося при французском посольстве Графа Д. Аршиака, который настоятельно требовал удовлетворения оскорбленной чести Баронов Геккеренов. По изъявленному на сие Пушкиным согласию назначена между ним и подсудимым Геккереном дуэль, к коей секундантами или посредниками избраны были со стороны Пушкина Инженер Подполковник Данзас, а от Геккерена помянутый Граф Д. Аршиак, выехавший уже, как из дела видно, за границу. Дуэлисты и Секунданты по условию 27-го Генваря в 4 часа вечера прибыли на место назначения, лежащее по Выборгскому тракту за комендантской дачей, в рощу. Между секундантами положено было стреляться соперникам на пистолетах в расстоянии 20 шагов, так, чтобы каждый имел право подойти к барьеру на 5 шагов и стрелять по сопернику, не ожидая очереди. После сего Секунданты, зарядив по паре пистолетов, отдали по одному из них противникам, которые по сделанному знаку тотчас начали сходиться: первый выстрелил Геккерен и ранил Пушкина так, что сей упал, но, несмотря на сие, Пушкин, переменив пистолет, который засорился снегом, другим в свою очередь тоже произвел выстрел и ранил Геккерена, но неопасно. На сем поединок кончился, и как соперники, так и посредники их возвратились по домам, где Пушкин, как выше значится, от раны умер.

По формулярным и кондуитным спискам показано Подсудимому Инженер Подполковнику Данзасу от роду 37 лет, из

дворян, сын Генерал-Майора, в службу поступил из Императорского Царскосельского Лицея Прапорщиком 1817 Ноября 7-го, Подпоручиком 1819 Апреля 26-го, Поручиком 1823 Декабря 2о, Штабс-Капитаном 1828 Генваря 1-го, Капитаном 1828 Августа 30, Подполковником 1836 Генваря 28, в походах и домовых отпусках находился, в штрафах не бывал, к повышению чина всегда аттестовался, имеет орден Св. Владимира 4 степени с бантом, серебряные медали: в память походов против Персиян 1826, 1827 и 1829 и за Турецкую войну 1828 и 1829 годов установленные, и золотую полусаблю с надписью «За храбрость». Поручику Барону Геккерену от роду 25 лет из воспитанников Французского Королевства Военного училища Сант-Сир, при вступлении в службу Корнетом 1834 Февраля 8-го, на верноподданство России не присягал, поручиком 1836 Генваря 28, в походах, домовых отпусках, в штрафах и арестах не бывал, к повышению чина аттестовался достойным.

Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подтвержденное собственным признанием подсудимого Поручика Барона Геккерена, находит как его, так и Камергера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещенного законами поединка, а Геккерена и в причинении пистолетных выстрелов Пушкину раны, от коей он умер, приговорила Подсудимого Поручика Геккерена за таковое преступное действие по силе 139 Артикула воинского Сухопутного устава и других, под выпиской подведенных законов, повесить (Выделено мною. – В.С.), каковому наказанию подлежал бы и Подсудимый Камергер Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить, а подсудимого Подполковника Данзаса, хотя он и объясняет комиссии, что при изъявлении согласия быть посредником при вышеобъясненном происшествии спрашивал секунданта с противной стороны Графа Д. Аршиака, не имеет ли средств к примирению ссорящихся миролюбно, который отозвался, что нет никаких, но как не поступил по всей силе 142 воинского Артикула, не донес заблаговременно начальству о предпринимаемом ими злом умысле и тем допустил совершиться дуэли и самому убийству, которое отклонить еще были способы, то его, Данзаса, по долгу верноподданного, не исполнившего своей обязанности, по силе 140 воинского Артикула повесить. Каковой приговор Подсудимым Поручику Барону Геккерену и Инженер Подполковнику Данзасу объявить и объявлен, а до воспоследования над ними конфирмации на основании доклада Генерал Аудитора Князя Салагова от 18 Июля 1802 года содержать под строгим караулом.

Впрочем, таковой свой приговор представляет на благоусмотрение Высшего Начальства. Заключен в С.-Петербурге

Февраля 19 дня 1837 г.

Корнет Осоргин
Корнет Чичерин
Поручик Анненков
Поручик Шигорин
Штабс-ротмистр Балабин
Ротмистр Столыпин
Флигель-адъютант полковник Бреверн 1
Аудитор Маслов» [18].

Нет, вы не ошиблись! Согласно приговору военно-судной комиссии, поручик Жорж-Шарль Дантес-Геккерен и инженер-подполковник Константин Карлович Данзас были приговорены к повешению. А камергер Пушкин – признан *виновным.*

Dura lex, sed lex. Закон есть закон…

* * *

Если бы убийцу Пушкина просто-напросто вздёрнули (желательно, конечно, без секунданта), то всё выглядело бы не так трагично. По крайней мере, восторжествовал бы общеизвестный *принцип талиона: око – за око, зуб – за зуб. Но в том-то и дело, что аудитор Маслов, к словам которого, если помните, я обещал вернуться, ошибался. И «по сему делу приличные узаконения»* имелись. Да ещё какие!

Начнём с того, что 16 мая 1744 года специальным Указом императрицы Елизаветы Петровны в России была отменена смертная казнь. Отныне преступников клеймили, им рвали ноздри, ссылали на каторгу. А если лишали жизни, то очень редко, да и то лишь по Высочайшему волеизъявлению. Ту же либеральную политику в отношении убийц и лихоимцев продолжила и Екатерина Великая. Зачем лишать дарованной человеку свыше жизни, если можно просто ссылать – в Сибирь или ещё куда?.. Имелись, правда, и здесь исключения. Например, казнь тысяч участников пугачёвского восстания. Но это уже совсем другое – покушение на государственную власть. Бунтари Крестьянской войны – это не уголовники, а похлеще; тут не до сантиментов – на виселицу или прямиком на плаху! А Указ, если надо, можно и подправить.

Казнили и при Николае I. Тех же декабристов – повесили. Не всех, конечно, но с вожаками церемониться не стали. И опять-таки – в виде исключения и «Высочайшего волеизъявления».

Так что сентенция, вынесенная в связи с дуэлью 27 января

1837 года, оказалась, как бы это помягче сказать, *не совсем профессиональной.*

Дело в том, что, помимо тех нормативных правовых актов, которыми руководствовались члены военно-судной комиссии, суду следовало учесть наличие других, более весомых на тот момент с юридической точки зрения законов. Так, 1 января 1835 года вступил в силу Свод законов Российской империи 1832 года. В соответствии с ним смертная казнь в России применялась в отношении следующих преступлений: 1) политических; 2) так называемых карантинных; 3) воинских. И ни слова о дуэлях. Хотя закон, конечно же, не мог обойти стороной и поединки.

В соответствии со ст. 352 Свода законов уголовных «кто, вызвав другого на поединок, учинит рану, увечье или убийство, тот наказывается, как о ранах, увечьях и убийстве умышленном постановлено». Статья 332: «главный виновник умышленного смертоубийства подлежит лишению всех прав состояния, наказанием кнутом и каторжными работами». Как понимаем, это – о Дантесе-Геккерене.

Теперь о Данзасе. Наказание секунданту следовало бы вынести по ст. 354 Свода законов уголовных, в соответствии с которой «примиритель и посредники или секунданты, не успевшие в примирении и допустившие до поединка, не объявив о том в надлежащем месте, судятся как участники поединка и наказываются по мере учиненного вреда, то есть, если учинится убийство, как сообщники и участники убийства; если раны или увечья, как участники и сообщники ран или увечья…» Вот так, достаточно сурово.

Сразу заметим, что дворян сечь кнутом запрещалось, да и на каторгу отправляли лишь за более серьёзные преступления, нежели за банальное участие в дуэли (вспомним тех же декабристов). Следовательно, оставалось посидеть какое-то время в крепости, рискуя, правда, лишиться прав состояния.

Статья 334: «Все соучастники в умышленном смертоубийстве подлежат или равному с умышленными смертоубийцами наказанию, или меньшему, смотря по вине их». Это уже о голландском посланнике Геккерене. Данная статья предусматривала некую попытку оправдаться, чтобы таким образом выкрутиться. Хотя последнего можно было смело притянуть как соучастника. (По сути, он таковым и являлся.)

Как бы то ни было, полковая сентенция никак не вяжется с реальным наказанием. Достаточно напомнить, что четыре года спустя майор Николай Мартынов, застреливший поручика Лермонтова, отделается тремя месяцами гауптвахты, в то время

как секунданты вообще избежат какого-либо наказания. Всё это заставляет серьёзно задуматься над искренностью аудитора Маслова. Недоглядел или… Или утвердил данное решение вполне умышленно? Если же это было сделано осознанно, следовательно, Маслов прекрасно понимал, что Аудиториатский департамент полковой «недогляд» явно узрит и исправит. Вопрос в другом: с какой целью было наводить тень на плетень?

А цель, скорее всего, была такова. Члены военно-судной комиссии, разобравшись в деле и усмотрев низменную изнанку Дантеса, заняли по отношению к нему исключительно отрицательную позицию – кто-то в большей степени, кто-то – в меньшей. Правда, предпочитая открыто не дискутировать. По крайней мере, показания секунданта Данзаса полностью склонили чашу весов в пользу Пушкина, погибшего при отстаивании как своей чести, так и супруги.

Но было и другое. Каждый из офицеров прекрасно понимал, чем заканчиваются подобные суды: «пожурили – и забыли». То же, знали они, ожидало и Дантеса. Поэтому сентенция военного суда должна была показать, что убийца Пушкина достоин особо строгого наказания – вплоть до смертной казни через повешение, за что и ратовала военно-судная комиссия. Ну а то, что ветерана нескольких войн подполковника Данзаса, раненного турецкой пулей в левую лопатку при осаде крепости Браилов, не тронут, никто не сомневался. Как и в неприкосновенности голландского посланника, которого могли лишь выслать из страны.

В Записке о мере прикосновенности к дуэли иностранных лиц эти лица названы поимённо: «Министр Нидерландский Барон Геккерен», «Состоящий при Французском посольстве Д. Аршиак, выехавший уже за границу» и «Находящийся при Английском посольстве Господин Мегенс».

В отношении Геккерена была определена следующая мера прикосновенности:

«По имеющемуся в деле письму убитого на дуэли Камергера Пушкина видно, что сей Министр, будучи вхож в дом Пушкина, старался склонить жену его к любовным интригам с своим сыном Поручиком Геккереном. По показанию Подсудимого Инженера Подполковника Данзаса, основанному на словах Пушкина, поселял в публике дурное о Пушкине и жене его мнения насчет их поведения, а из собственного Его Барона Геккерена письма, писанного к Камергеру Пушкину в ответ на вышеупомянутое его письмо, выражением онаго посказывал прямую готовность к мщению, для исполнения коего избрал сына своего подсудимого, Поручика Барона Геккерена» [19].

Ничего удивительного, что многие современники Пушкина

нисколько не сомневались в своднической роли Геккерена-старшего: ведь его активное участие во всей этой грязной истории было очевидным.

* * *

Единственный вопрос, оставшийся без ответа, – это авторство «диплома рогоносца». В том, что голландский посланник являлся автором подлой анонимки, был уверен лишь один Пушкин. Даже суд оказался бессилен дать однозначный ответ. Членов военно-судной комиссии, возможно, могли бы убедить либо сам поэт, либо его вдова. Но первый был убит, а Наталью Николаевну, *«дабы без причин не оскорблять», не допрашивали. Тем не менее следует подчеркнуть: Александр Сергеевич тоже не знал авторов циничной анонимки. Пушкин только догадывался. А знать и догадываться, согласитесь, абсолютно разные вещи.*

Позже исследователи-пушкинисты назовут два имени, которые якобы в той или иной мере были причастны к составлению анонимки, – это два «светских шалуна» из великосветской «золотой молодежи» (а по совместительству – сожителя) князья Пётр Владимирович Долгоруков и Иван Сергеевич Гагарин, вхожие в гомосексуальное общество Геккеренов. В любом случае, голландский посланник, скорее всего, и явился вдохновителем гнусных пасквилей.

Александра Осиповна Россет (по записи П.Н. Бартенева):

«Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем… Сколь ни гнусен был сей рапорт, Геккерен был способен составить его. Подозрение падало также на двух молодых людей – кн. Петра Долгорукова и кн. Гагарина; особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К.О. Россетом: на нем подробно описан был не только дом его жительства, куда повернуть, взойдя на двор, но какой идти лестницей и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодых человека, часто посещающие Россета… Впрочем, участие, ими принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению – это то, что Геккерен был их сочинитель» [20].

Согласно другой версии, автором анонимного диплома могла быть и жена вице-канцлера Нессельроде – Мария Дмитриевна Нессельроде[62]*. Об этом, в частности, писал Владислав Ходасевич, ссылаясь на дневник близкого к Николаю I директора канцелярии начальника Главного штаба военного министерства, а*

впоследствии министра двора Владимира Фёдоровича Адлерберга. Судя по одной из записей, в беседе Александра II со своей пассией Марией Долгоруковой на вопрос последней об авторе анонимных писем, ставших причиной дуэли Пушкина с Дантесом, император ответил: «Это – Нессельроде». (Подразумевая при этом не вице-канцлера, а его супругу.) Достаточно сказать, что Мария Дмитриевна Нессельроде являлась посаженной матерью на свадьбе у Дантеса и Катрин Гончаровой.

Хочется добавить, что многочисленные почерковедческие экспертизы, проведённые уже в советское время, ни к чему не привели. И тайна до сих пор остаётся тайной. Может статься, «за семью печатями»…

* * *

Теперь, читатель, мы познакомимся с некой «винтовой лестницей» николаевского военного делопроизводства, сопровождаемого головокружительными подъёмами вплоть до «Высочайшей» персоны. А если называть вещи своими именами, нам предстоит увидеть картину почти невероятной метаморфозы судебного вердикта от «повешения» до… «помилования».

Члены военно-судной комиссии отдавали себе отчёт в том, что их сентенция являлась не окончательной. Точку в этом деле должны были поставить чиновники Аудиториатского департамента военного ведомства, а то и сам Император. Однако перед этим *«Подлинное военно-судное дело 1837 года» должно было пройтись от полка и выше – вплоть до Генерал-аудитора. Путь, в общем-то, недолгий. Но… уж эти метаморфозы!*

Итак, мнения начальников различных уровней военного ведомства.

Мнение командира кавалергардского ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА полка:

«…По делу сему и по собранным Судом сведениям оказывается: что Подсудимый Поручик Барон Д-Геккерен, в опровержение возведенного на него Пушкиным подозрения, относительно оскорбления чести жены его, никаких доказательств к оправданию своему представить не смог, равномерно за смертью Пушкина и Судом не открыто прямой причины, побудившей Пушкина подозревать Барона Д-Геккерена в нарушении семейного спокойствия, но между прочим из ответов самого подсудимого Барона Д-Геккерена видно, что он к жене покойного Пушкина, прежде нежели был женихом, посылал довольно часто книги и

театральные билеты при коротких записках, в числе оных были такие (как он сознается), коих выражения могли возбудить Пушкина счекотливость как мужа.

…Нахожу, что последнее сознание Поручика Барона Д-Геккерена есть уже причина, побудившая Пушкина иметь к нему подозрение, и, вероятно, обстоятельство сие заставило Пушкина очернить Поручика Барона Д-Геккерена в письме к отцу его Нидерландскому Посланнику Барону Д-Геккерену, а вместе с тем и насчет сего последнего коснуться к выражению оскорбительных слов.

…Принимая во уважение молодые его Поручика Барона Д-Геккерена лета и обстоятельство, что он, будучи движим чувствами сына защищать честь оскорбленного отца своего (хотя сему быть может сам был причиною)… полагаю: лишив его Поручика Барона Д-Геккерена всех прав Российского Дворянина разжаловать в рядовые с определением в дальние Гарнизоны на службу.

…Подполковника же Данзаса… не лишая его дворянства по лишению орденов и золотой полусабли с надписью «За храбрость», разжаловать в рядовые впредь до выслуги с определением в Армейские полки…»

Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
Генерал-Майор Гринвальд

Мнение командующего 1-й Гвардейской кирасирской бригадой:

«…Рассмотрев военно-судное дело… я нахожу виновным Геккерена в произведении с Пушкиным дуэли в причинении ему самой смерти, за что он по строгости воинского Сухопутного устава артикула 139 подлежит и сам смерти, но, соображаясь с милосердием ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ко всем, впадшим в преступление, я полагал бы достаточным лишить его чинов и Дворянства, разжаловать в рядовые без выслуги – потом определить в Кавказский Отдельный Корпус…

Подсудимый же Подполковник Данзас… я полагал бы выдержать в крепости в каземате шесть месяцев с строгим после того подтверждением, чтобы при подобных случаях ссору старался прекратить миролюбно. Относительно подсудимого Пушкина, подлежавшего наказанию в равной степени с Порутчиком Геккереном, суждение за смертию его оставить…»

Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Генерал-Майор барон Мейендорф

Мнение начальника Гвардейской кирасирской

дивизии:

«…Рассмотрев представленное ко мне по команде военно-судное дело… я нахожу, что хотя по случаю смерти Пушкина и отъезда за границу Графа Д'Аршиака, бывшего Секундантом со стороны Геккерена, невозможно открыть во всей подробности причин сего поединка… для приведения сего в ясность следовало бы спросить удовлетворительных сведений у жены Камергера Пушкина, но как сего военно-судная комиссия не сделала, то сие остается на усмотрение начальства…

…Нахожу Сентенцию военного суда, коею она осудила Поручика Барона Геккерена и Подполковника Данзаса… казни виселицею – правильным. …Полагаю: Поручика Барона Геккерена, лишив чинов и дворянства, разжаловать в рядовые впредь до отличной выслуги; а Инженер Подполковника Данзаса… полагаю достаточным, не лишая кровью его заслуженных почестей, продержать в крепости четыре месяца и потом обратить на прежнюю службу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА…»

Генерал-Адъютант Гр. Апраксин

Мнение командира Гвардейского кавалерийского корпуса:

«…По соображении всего вышеизложенного, хотя подсудимый Поручик Барон Де-Геккерен за произведенный им с Камергером Пушкиным дуэль и причиненную смертельную рану подлежит на основании статей 352, 332, 82 и 173 Свода уголовных законов строгому наказанию, но в уважение того, что он решился на таковое строго законом запрещенное действие, будучи движим чувствованиями сына к защищению чести оскорбленного отца, я мнением моим полагаю: разжаловать его в рядовые впредь до отличной выслуги, с преданием церковному покаянию, выдержав при том в крепости шесть месяцев в каземате. Равномерному подлежал бы наказанию и Камергер Пушкин, если бы оставался в живых.

Что же касается… Подполковника Данзаса… оштрафовать его с содержанием в крепости четыре месяца на гауптвахте и потом обратить по-прежнему на службу…»

Генерал-Лейтенант Кнорринг

Мнение командующего Отдельным гвардейским корпусом:

«…Рассмотрев военно-судное дело… нахожу их виновными: Поручика Барона Геккерена, в противузаконном вызове Камергера Пушкина на дуэль, нанесении ему смертельной раны и, по собственному его признанию, в раздражении Пушкина

щекотливыми для него записками к жене его; а Подполковника Данзаса: во-первых, в неприятии надлежащих мер… и во-вторых, в противузаконном соглашении быть секундантом; за каковые преступления я мнением моим полагаю: Поручика Геккерена, лишив чинов и заслуженного им Российского Дворянского достоинства, определить на службу рядовым в войска Отдельного Кавказского корпуса впредь до отличной выслуги; предварительно же отправления его на Кавказ выдержать в крепости в каземате шесть месяцев, так как относительно его нет в виду никаких заслуживающих снисхождения обстоятельств, ибо письмо Камергера Пушкина к посланнику Барону Геккерену с выражениями, весьма оскорбительными для чести обоих Геккеренов, при строгом воспрещении дуэли, не могло давать право на таковое противузаконное самоуправие; впрочем, всякое рассуждение о сем письме, без объяснения Пушкина, было бы односторонне, и в особенности если взять в соображение, что заключающаяся в том письме чрезвычайная дерзость не могла быть написана без чрезвычайной же причины… Относительно же Подполковника Данзаса… вменить ему, Данзасу, в наказание бытность под судом, выдержать сверх того в крепости на гауптвахте четыре месяца и после того обратить по-прежнему на службу… О Поступке камергера Пушкина за смертию его, оставить без дальнейшего заключения…»

Заключено в С.-Петербурге, Марта 11-го дня 1837 года.
Генерал-Адъютант Бистром.
Итого переномеровано десять листов.
Столоначальник Иванов [21]

Теперь по порядку.

В петиции (мнении) командира лейб-гвардии Конного полка генерала Гринвальда ни слова о смертной казни виновникам дуэли. О Дантесе: пусть служит в глубинке рядовым. О Данзасе – «…не лишая его дворянства по лишению орденов и золотой полусабли… разжаловать в рядовые». И вновь о виселице ни полслова; даже предложено секунданта не лишать дворянства… Вполне сердечно. По сути, амнистия.

Идём дальше. Командир 1-й Гвардейской кирасирской бригады генерал Мейендорф с подчинённым Гринвальдом полностью солидарен, разве что вносит кое-какие дополнения: убийцу сослать на Кавказ, рядовым. Но это – в адрес Дантеса. Совсем другая реляция в отношении подполковника Данзаса: «…выдержать в крепости в каземате шесть месяцев… чтобы при подобных случаях ссору старался прекратить миролюбно». Относительно же «подсудимого Пушкина» – «суждение за смертию его оставить…»

Мнение Егора Фёдоровича Мейендорфа, бесспорно, наиболее справедливое из всех, представленных до и после. Убийце – пожизненную солдатчину; секунданту – достаточно и полгода гауптвахты, причём без всяких лишений, которые он, в общем-то, и не заслужил. И такая реляция вполне объяснима: Мейендорф был лично знаком с Пушкиным, творчество которого обожал. После ознакомления с делом о дуэли генералу всё стало понятно, отсюда и безжалостный вердикт относительно наказания убийцы и смягчения ответственности для боевого подполковника Данзаса, которому приходилось не раз смотреть смерти в лицо при защите интересов Отечества.

К сожалению, дальнейшие реляции будут отличаться от мнения командира бригады.

Командир дивизии генерал-адъютант Апраксин отнёсся к суждениям своих подчинённых с серьёзной критикой. Да, Дантеса этого, «лишив чинов и дворянства, разжаловать в рядовые»; но, господа генералы, аудитор Маслов всё-таки оказался прав: повесить его, мерзавца, было бы правильней; да и вообще, следовало допросить вдову – глядишь, многое бы тогда прояснилось. На чьей стороне герой наполеоновских войн генерал Апраксин – достаточно ясно. Поэтому он тоже указывает, что для доказательной базы показания Натальи Николаевны Пушкиной очень бы даже пригодились. С чем, вне всякого сомнения, можно согласиться.

Командир корпуса генерал Кнорринг уже полностью расставляет точки над «i»: никаких петровских Указов с его Артикулами! Есть Свод уголовных законов с конкретными статьями – ими и следует руководствоваться. И это – первая точка. Вторая: Дантеса «разжаловать… в рядовые впредь до отличной выслуги, с преданием церковному покаянию, выдержав при том в крепости шесть месяцев в каземате». Как видим, это уже – самая настоящая амнистия убийце: «солдатчина» для Дантеса лишь на полгода. А для секунданта Данзаса – «на гауптвахте четыре месяца». И это – третья точка. А вот и четвёртая: генерал Кнорринг призывает воспользоваться статьями 173 и 174 Свода законов, в которых отражена ответственность иностранцев (в том числе дипломатов) за преступления на территории Российской империи, имея в виду «прикосновенных к дуэли» барона Геккерена-старшего, виконта д'Аршиака и англичанина Мегенса.

Относительно мнения командующего Отдельным гвардейским корпусом генерала Бистрома. Наивно было бы полагать, что свой вердикт по делу генерал обдумывал лично, уютно разместившись в

кожаном кресле просторного кабинета. Вряд ли. Скорее, изначально запросил мнения некоторых приближённых офицеров, наиболее сведущих в юридических коллизиях. И лишь потом подписал представленное одним из заместителей готовое заключение. (И подпись под документом рядом с его подписью начальника штаба корпуса генерала Веймарна полностью это подтверждает.) В любом случае, командующий Отдельным гвардейским корпусом, вникая в суть дела, был движим не только служебной надобностью, но и элементарным любопытством. Не каждый день приходится листать секретные бумаги столь громкого дела.

Хотя была ещё одна причина быть крайне аккуратным и внимательным при работе с представленными материалами. Дело в том, что данные документы, связанные с дуэлью 27 января 1837 года, должны были поступить к великому князю Михаилу Павловичу (младшему брату Николая), который на тот момент пребывал то ли в Вене, то ли в Берлине, поэтому именно ему, Карлу Ивановичу Бистрому, предстояло отправить в Аудиториатский департамент Военного министерства Дело о дуэли 1937 года (следовательно, в случае чего и держать ответ перед Государем). Заключение генерала Бистрома должно было стать некой квинтэссенцией всей работы дознания, следствия и суда по громкому поединку, в результате которого был убит поэт Пушкин.

И генерал (или его подопечные?) показал полную осведомлённость в тонкостях военного судопроизводства. В своей реляции Бистром во всём соглашается с генералом Кнорингом. Однако, отправляя материалы дела в Аудиториатский департамент, он вместе с ними шлёт особое уведомление, в котором прямо указывает на выявленные в деле упущения. Как то:

«…1) что не спрошена по обстоятельствам, в деле значущимся, жена умершего Камергера Пушкина; 2) не истребованы к делу записки к ней Поручика Барона Геккерена, которые, между прочим, были начальной причиной раздражения Пушкина; 3) не взято надлежащего засвидетельствования о причине смерти Камергера Пушкина и 4) что не истребован был в суд особый переводчик для перевода писем и записок с французского языка, а сделаны те переводы самими членами суда, с многими ошибками, посему хотя бы и следовало возвратить означенное дело для изъясненных пополнений, но как главные преступления подсудимых достаточно объясняются, то, дабы не замедлить в дальнейшем его представлении, я решился препроводить оное в таком виде, в каком есть» [22].

Как видим, «упущения» достаточно серьёзные. И ознакомление с ними наводит на мысль, что материалы дела следовало…

вернуть. Для чего? Для дополнительного расследования всех обстоятельств дела. Однако генерал Бистром этого не сделал. Почему – сказать достаточно сложно. Быть может, имела место негласная «Высочайшая» установка дело не затягивать? Вполне возможно – с целью избежать раздражительности в обществе, и без того взбудораженном известием об убийстве иностранцем известного русского поэта. Хотя доследование уже вряд ли бы что-то изменило. Тем более что военно-судной комиссии и без того «всё было ясно»…

* * *

Аудиториатский департамент Военного министерства являлся *ревизионным органом, рассматривавшим военно-судные дела в генерал-аудиториате. Именно туда и поступило «Подлинное военно-судное дело 1837 года». Пост генерал-аудитора (была такая высокая должность, равная по уровню влияния чуть ниже военного министра) в то время занимал Адам Иванович Ноинский. Канцелярист по духу и образованию, в деле о дуэли он приметил малюсенькую, как ему показалось, неточность. Этот артефакт заключался в следующем: Ноинский (или кто другой из генерал-аудиториата, поднаторевший в юридическом буквоедстве) обратил внимание, что во всех документах поэта величают не иначе, как «Камергер Пушкин». Так «камергер» или «камер-юнкер», задался вопросом генерал-аудитор и тут же отправил в так называемую Придворную контору соответствующий запрос: «Аудиториатский Департамент покорнейше просит оную Контору уведомить с сим же посланным: какое имел звание умерший от полученной на дуэли раны Пушкин, Камер-Юнкера или Камергера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА» [23].*

Вообще, настолько ли уж важно, кем в глазах придворной знати являлся погибший, тем более что он был известный поэт? Сознаюсь, поначалу я и сам засомневался, особенно после того, как выяснил, что ещё в 1809 году, в царствование батюшки Николая, незабвенного Александра I, присвоение этих чинов было приостановлено, а если кому-то и жаловался почётный чин, то разве в виде исключения по опять-таки «Высочайшему волеизъявлению». Действительно, не всё ли равно – камергер ли, камер-юнкер?..

Как оказалось, это совсем разные придворные чины. Так, камер-юнкер по «Табели о рангах» являлся придворным чином V класса, что соответствовало на гражданской службе статскому советнику. А вот камергер по той же «Табели о рангах» был выше,

правда, ненамного – всего на один класс, соответствуя действительному статскому советнику. Для полного понимания: камергер – это придворный для отдельных поручений (присутствовать при различных церемониях, нести дежурства при Дворе и пр.); иногда его путают с ключником (что в отношении российского Императорского двора является грубой ошибкой!).

Так вот, в Аудиториатском департаменте засомневались: неужели столь высокий чин, как камергер (жаловались, как правило, князья и графы), мог иметь поэт, пусть и известный? И они не ошиблись.

Ответ из Придворной конторы:

«Вследствие отношения онаго Департамента, от сего 16-го Марта за № 889, Придворная Контора честь имеет уведомить, что умерший 29-го прошедшего Генваря Титулярный Советник Александр Пушкин состоял при ВЫСОЧАЙШЕМ Дворе в звании Камер-Юнкера.

Советник Иван Яников

Секретарь Иванов» [24].

Итак, Александр Сергеевич, будучи титулярным советником, в придворной иерархии являлся камер-юнкером. Напомню, Пушкин терпеть не мог своё камер-юнкерство. И всё потому, что вся столица знала: своему чину поэт обязан «камер-юнкерше» – Наталье Николаевне, – чьё прелестное личико периодически желал видеть на балах «Его Величество».

Из определения генерал-аудиториата от 16 марта 1837 года:

«Генерал Аудиториат по рассмотрении военно-судного дела… находит следующее: “Поводом к сему, как дело показывает, было легкомысленное поведение Барона Егора Геккерена, который оскорблял жену Пушкина своими преследованиями, клонившимися к нарушению семейного спокойствия и святости прав супружеских… Егор Геккерен и после свадьбы не переставал при всяком случае проявлять к жене Пушкина свою страсть и дерзким обращением с нею в обществе давать повод к усилению мнения, оскорбившего честь, как Пушкина и жены его; кроме того, присылаемы были к Пушкину безымянные равно оскорбительные для чести их письма, в присылке коих Пушкин тоже подозревал Геккерена, что, впрочем, по следствию и суду не открыто…

Генерал-аудиториат… полагает… его Геккерена за вызов на дуэль и убийство на оной Камер-Юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им Российского дворянского достоинства, написать в рядовые, с определением на службу по назначению Инспекторского Департамента… Подсудимый подполковник

Данзас виновен в противузаконном согласии… быть при дуэли… и внепринятии всех зависящих мер к отвращению сей дуэли… подлежал бы лишению чинов, генерал-аудиториат… вменяя ему в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости на гауптвахте два месяца и после того обратить по-прежнему на службу. Преступный же поступок самого Камер-Юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккереном наказанию за написание дерзкого письма к Министру Нидерландского двора и за согласие принять предложенный ему противозаконный вызов на дуэль, по случаю его смерти предать забвению. С сим заключением представить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ от Генерал-Аудиториата всеподданнейший доклад".

Генерал от инфантерии князь Шаховской
Генерал от артиллерии Игнатьев
Генерал-лейтенант Крыжановский
Генерал-лейтенант Полуехтов
Генерал-лейтенант Княжнин
Генерал-лейтенант Козен
Генерал-лейтенант Белоградский
Генерал-лейтенант Берхман
Генерал-аудитор Ноинский
Подписано 17-го марта 1837
Начальник отделения Шмаков» [25].

Ну и своеобразным приложением к данному определению опять же стала Записка о мере прикосновенности к дуэли иностранных лиц (повторившая аналогичную аудитора Маслова).

Точку в деле о поединке 27 января 1837 года поставил Николай I, оставивший на документе 18 марта царскую конфирмацию: «Быть по сему, но рядового Геккерена, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты» [26].

Амнистия. Полная и окончательная…

* * *

А теперь мне бы хотелось повиниться перед терпеливым читателем за слишком утомительное погружение в судебные кущи пушкинского дела. Готов извиниться и перед теми, кто, не найдя в себе сил окунуться в юридические тонкости далёких лет, не стал даже в них вникать. Тем не менее замечу: вникнуть всё-таки стоило. А почему – узнаете, прочтя эту главу до конца.

Уверяю, не пожалеете…

Итак, сколь бы ни был строг и зорок чиновничий взгляд, буравивший исписанные гусиным пером витиеватые записи военно-судного дела, он всё же не смог углядеть несколько чрезвычайно важных обстоятельств. В принципе, судя по материалам дела, следствие и сам суд были проведены достаточно оперативно и профессионально. Да и цель как таковая оказалась достигнута: подсудимый (убийца) наказан, а вместе с ним и лица, имевшие к преступлению ту или иную степень прикосновенности. Однако за рамками уголовного процесса осталось как минимум два вопроса.

Первый. Это несостоявшееся ознакомление членами военно-судной комиссии с анонимным так называемым «дипломом рогоносца», о котором так много сказано, но которого на самом деле никто и в глаза-то не видел. Хотелось бы задать судьям вопрос: о чём вы судили-рядили, господа? И был ли на самом деле этот пресловутый «диплом»? Вот пусть бы и ответили. Действительно, вещдок – штука серьёзная; и одно дело – рассуждать, другое – его видеть. В данном случае ни во время следствия, ни на суде не было представлено главнейшего *вещественного доказательства – анонимного «диплома рогоносца», с которого, если верить переписке Пушкина с Геккеренами, всё и началось.*

Второй. Во время разбирательства дела так и не был допрошен важный свидетель – Наталья Николаевна Пушкина. Именно вдова погибшего поэта могла стать главным свидетелем обвинения. Расскажи она чистосердечно на суде, как всё было на самом деле (об ухаживаниях Дантеса, его сальных шуточках и, главное, о встрече на квартире у Идалии Политики), возможно, наказание француза было бы иным – более суровым. По крайней мере, маска лицемерия была бы сброшена и перед императором. Однако этого не произошло.

Таким образом, в материалах уголовного дела по факту дуэли 27 января 1837 года, повлекшей смерть великого поэта, имеются серьёзные огрехи. Члены военно-судной комиссии ограничились в основном косвенными показаниями: опросом свидетелей, перепиской покойного с Геккеренами и письмами секундантов. Эти существенные недостатки, вне всякого сомнения, повлияли на весь ход судебного процесса и окончательную сентенцию. До истины, как видим, военные чиновники так и не докопались. Похоже, они просто не пожелали этого, ограничившись поверхностным разбирательством. Вопрос в другом: не пожелали или целенаправленно ограничились той планкой, за которую им было рекомендовано не заходить?..

* * *

И последнее. Возможно, самое главное: сентенция оказалась с серьёзным дефектом!

Судите сами. Вот выдержка из итогового определения генерал-аудиториата: *«Преступный же поступок самого Камер-Юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккереном наказанию за написание дерзкого письма к Министру Нидерландского двора и за согласие принять предложенный ему противозаконный вызов на дуэль, по случаю его смерти предать забвению».*

Теперь смотрим, по каким Артикулам и статьям Свода законов оказался судим барон Дантес-Геккерен: в соответствии со 139-м Артикулом и 352-й статьёй Свода законов. Пойдём до конца, заглянем и в Артикул воинский, и в Свод законов.

Артикул 139: «…как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет ранен или умервщлен, или хотя оба не ранены, от того отойдут. И ежели случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и по смерти за ноги повесить».

Если соблюсти «букву Артикула», обоих дуэлянтов следовало бы повесить. За ноги. Чтоб не повадно было стреляться впредь… И такое действительно случалось во времена оные – в годы правления приснопамятного Петра Алексеевича Великого, который, спору нет, с дуэлянтами особо не церемонился. Однако Россия при Петре и Николае (пусть и «Палкине») разительно отличалась. Впрочем, как и законы. А потому Свод законов Российской империи 1832 года был ближе и понятнее.

Статья 352: «…кто, вызвав другого на поединок, учинит рану, увечье или убийство, тот наказывается, как о ранах, увечьях и убийстве умышленном постановлено».

Напомню, ранен был не только Пушкин, но и его противник. Первый – смертельно; второй – отделался лёгким ранением. В любом случае – виноваты оба. Но это ни в коем разе не говорит о равной ответственности, зафиксированной в определении генерал-ауториата, который ограничился одним Артикулом и единственной статьёй Свода законов. Ведь в Своде имелись и другие статьи – например, ст. 361. В свете нашего повествования важнейшая, надо сказать, статейка. Так вот, согласно ей «причинение легких ран подвергает виновного, смотря по степени вреда, сверх бесчестья, заключению в тюрьме или денежному штрафу…» И за нанесение лёгкой раны Пушкина могли всего лишь отправить на несколько месяцев в кутузку; но однозначно ограничились бы лишь денежным штрафом.

Так что никакого повешения вверх ногами! Дантеса, помимо лишения всех прав состояния, обязаны были наказать кнутом и отправить на каторгу. Но даже в случае смягчения меры наказания (что случалось не так уж редко) француза в любом случае следовало отправить в крепость под замок. Пожалуй, так бы оно и случилось, если б не монаршая воля…

Но с Пушкиным всё не так. Он погиб. И после этого роль каждого из дуэлянтов резко поменялась: один стал убийцей, другой – жертвой. Поэтому ставить на одну планку правосудия обоих изначально несправедливо. Тем более что, как следует из определения генерал-ауториата, «дерзкие, оскорбительные выражения не могли быть написаны без важных причин». (Речь о письме Пушкина Геккерену.)

Таким образом, Александр Сергеевич Пушкин если бы и остался в живых, мог быть судим совсем по другой статье, нежели ему вменили, осудив посмертно, чиновники от правосудия. В случае же его гибели (что и случилось на самом деле) поэт никак не мог «подлежать равному с подсудимым Геккереном наказанию».

Свою честь великий поэт отстоял ценой собственной жизни…

Глава VII

…Нет, России теперь не уйти
От вины, как от тяжкого стресса…
Ведь его можно было спасти
Через век после раны Дантеса.

В. Соколов

Настал момент задать кое-какие вопросы. Действительно, почему умер Пушкин? Неужели поэта нельзя было спасти? Так ли уж бессильны оказались доктора, двое суток находившиеся у его постели, или было что-то другое? Почему тяжелораненому не была произведена хирургическая операция? А Дантес отделался лишь лёгкой раной?..

Без малого два столетия эти вопросы будоражат наше воображение. И, пытаясь ответить на них, каждый раз мы открываем для себя что-то новое… Мне же остаётся единственное: в очередной раз пообещать нечто интересное. А кое-что, не сомневаюсь, тебе, читатель, придётся узнать впервые…

Начну из сегодняшнего далека. Несколько лет назад один знакомый врач подарил мне тоненькую книжицу «Мой Пушкин» некоего Владислава Соколова. Имя автора ни о чём не говорило, поэтому я недоумённо посмотрел на приятеля.

– Да, забыл сказать, – встрепенулся тот. – Один из пациентов подарил. Бери, у меня их две. Кстати, написал коллега – хирург, а по совместительству – хороший поэт. Почитай, почитай…

После этого книжица долгое время пылилась у меня дома на книжной полке, пока я о ней окончательно не забыл. Однако, собирая материал по Пушкину, вдруг случайно на неё наткнулся. А когда пролистал, понял, что Владислав Соколов действительно оказался талантливым поэтом. И одно из его стихотворений из «пушкинианы» станет блестящим эпиграфом к тому, о чём пойдёт речь ниже:

Так случилось, что, тысячу раз
Обращаясь душою к поэту,

Маску Пушкина только сейчас
Я увидел напротив портрета.

В старой даче, где мир и покой
Свили гнезда под кронами сосен,
Показал академик Благой
Мне ту маску в ту позднюю осень.

За окном, безмятежно журча,
Тек ручей в обрамленье кленовом,
И смотрел я глазами врача
На лицо безнадежно больного.

Скорбный лик, заострившийся нос,
Чистый лоб, как упрек и расплата,
С бледных губ не слетевший вопрос, —
Маска смерти, лицо Гиппократа.

Боже мой, сколько тяжких больных,
Пораженных ножом или пулей,
Мы спасли из объятий стальных,
Солнцу, жизни и людям вернули.

Погрустнел академик Благой,
Смежил веки в раздумчивой неге,
Гладит робко воздушной рукой
Старый томик «Евгений Онегин».

И в затерянной дачной глуши
Со страниц пожелтевших романа
Входит в комнату Ленский в тиши,
И у столика пишет Татьяна.

Как луна восковое лицо,
Три свечи над потухшим камином,
Кто-то тихо взошел на крыльцо, —
Может, верная няня Арина.

Нет, России теперь не уйти
От вины, как от тяжкого стресса…
Ведь его можно было спасти
Через век после раны Дантеса.

* * *

Замечу, в Подлинном военно-судном деле о дуэли Пушкина с французом нет ни одного медицинского подтверждения о характере ранения поэта; впрочем, и о причинах смерти – тоже почти ничего. Лишь вскользь упомянуто о *«смертельной ране в грудь». Хотя ещё на этапе дознания следователь Галахов записал, что Дантес дрался с Пушкиным на пистолетах и «ранил его в правый бок и сам был ранен в правую руку». Справедливости ради напомню, что данный «огрех» заметил генерал Бистром, указавший на «отсутствие надлежащего засвидетельствования о причине смерти Камергера Пушкина».*

Замечание генерала не укрылось от внимания членов Аудиториатского департамента, которые соизволили сделать соответствующую приписку: «…первый выстрелил Геккерн и ранил Пушкина в правый бок… Пушкин ранил Геккерна в руку». Поэтому, утверждая доклад военного министра, император Николай I знал, что поэт был ранен именно в правый бок.

Ну а теперь давайте разбираться.

Для начала ещё раз взглянем на донесение по инстанции старшего полицейского врача Юденича: «Полициею узнано, что вчера, в 5-м часу пополудни, за чертою города позади Комендантской дачи, происходила дуель между камер-юнкером Александром Сергеевичем Пушкиным и порутчиком Кавалергардского её величества полка бароном Геккереном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. О чем вашему превосходительству имею честь донесть.

Старший врач полиции Юденич, Петр Никитич, стат. советник. 28 генваря 1837 года № 231-й».

Как видим, ни о какой «смертельной ране в грудь» нет ни слова. Если верить полицейскому доктору, рана Пушкина «в нижней части брюха». К слову, его соперник был ранен «в правую руку навылет», получив при этом «контузию в брюхо».

Через двое суток после дуэли Александр Сергеевич Пушкин скончается. Уже в те годы умерших насильственной смертью вскрывали. Не стал исключением и поэт. Официального акта вскрытия никто не видел.

Зато сохранилась Записка Даля, в которой чётко указано

место ранения:

«…Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней передней оконечности чресельной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости…» [1]

Таким образом, пуля Дантеса угодила Пушкину не в грудь и даже не в бок. То было ранение в таз.

* * *

Предлагаю обратить внимание на рану Дантеса. Здесь всё проще, ведь француз неоднократно освидетельствовался военным врачом Стефановичем.

Вот выдержка из осмотра от 5 февраля 1837 года: *«…Поручик Барон Геккерн имеет пулевую проницательную рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста; вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость, более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждений костей и больших кровеносных сосудов…»*

Данная информация – из так называемых «официальных» источников. Из неофициальных же позволю себе привести лишь несколько.

В письме к поэту-фронтовику Денису Давыдову князь Вяземский о пуле, ранившей Дантеса, рассказывал следующее: «… Пробила мясо, ударила в пуговицу панталон, на которую надеты были помочи, и уже ослабленной отскочила в грудь».

А вот что по этому поводу писал Василий Андреевич Жуковский: «…Геккерен упал, но его сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке…» [2]

«Пуля пробила руку Дантеса, – писала фрейлина императрицы Софья Николаевна Карамзина, – но только в мягких частях, и остановилась против желудка – пуговица на сюртуке предохранила его, и он получил только мягкую контузию в грудь» [3].

Итак, везде фигурирует пуговица – то ли от мундира, то ли от сюртука или подтяжек для панталон. А вот удар от рикошета пришёлся на живот, скорее всего, оставив синяк. Хотя штаб-лекарь Стефанович при освидетельствовании раненого отмечал, что «наружных знаков контузии незаметно». Пусть будет так, не

суть важно. В любом случае, не самый худший исход для дуэлянта.

Так вот, о пуговице. Эта штуковина на одежде Дантеса, которая, по-видимому, его действительно защитила, наделала больше шума, чем всё остальное, вместе взятое.

Чтобы понять суть вопроса, предлагаю вспомнить, как стоял Дантес: правым боком к противнику, вполоборота. Почему правым, а не левым: чтоб подальше от сердца. Рука – дополнительная защита тела от пули соперника. Лучше быть раненным в руку, чем убитым в сердце при фронтальной стойке. Пуля, выпущенная Пушкиным, пробила мягкие ткани правого предплечья (не задев кости), после чего, слегка ослабленная, столкнулась с препятствием на одежде – пуговицей, – от которой, срикошетив, отлетела в сторону. Эта же пуговица, надо думать, и вызвала контузию «в правой верхней части брюха».

Казалось бы, всё ясно и понятно. Ан нет! Именно эта несчастная пуговица и явилась поводом для «исследователей» разных уровней и степени компетентности ломать копья почём зря. Нет, кричат одни, если бы пуля попала в пуговицу, от неё не осталось бы и следа: застёжку просто-напросто разнесло бы вдребезги, а тело при этом оказалось бы иссечено мелкими осколками. Другие пошли дальше, уверяя, что она, эта пуговка, была металлической. Дантес уцелел по единственной причине, возражают третьи: в тот день он якобы защитил себя… нагрудником кирасы! При чём здесь кираса, возмущаются четвёртые, ведь всё дело… в специальной кольчужке из металлических пластин, изготовленной то ли в Берлине, то ли в Архангельске…

Словом, чушь несусветная! Дуэль – вещь принципиальная. В самом названии – вся суть: «поединок чести». Люди сходились у барьера не для того, чтобы убить или быть убитыми. Жизнью рисковали для единственного – отстоять поруганную честь. Зачастую даже не свою, а, скажем, любимой женщины. И это следует понимать. Тогда и мысль о «кольчужке» покажется если и не бредовой, то уж точно глупой.

Представим, что Дантес, надев под кавалергардский мундир что-то вроде кирасы, вышел бы к барьеру. В таком случае человек мог быть либо патологическим трусом, либо конченым дураком. Однако ни тем, ни другим француз не являлся. Дамским угодником – да; и даже негодяем. Но не дураком. И не трусом. Поэтому в дуэльном кодексе всё же разбирался. Он шёл под пулю (возможно – под пули, в случае промаха обоих) и прекрасно осознавал, что даже лёгкое ранение в руку или, скажем, в шею или грудь сразу бы вскрыло обман. И это для него стало бы самым настоящим

позором!

И вот ещё. У каждого из дуэлянтов были секунданты, о роли которых здесь было сказано. Правда, не всё. Так, хорошо известно, что непосредственно перед поединком эти самые секунданты на месте выполняли довольно щекотливую функцию.

Из книги военного следователя царской армии Петра Александровича Швейковского «Суд общества офицеров и дуэль в войсках Российской армии» о правилах русской дуэли:

«…Секунданты бросают жребий на оружие и место. При поединке на холодном оружии – снимается верхнее платье (кроме рубашки) до пояса. Из карманов вынимается все, даже при поединках на пистолетах. Секунданты удостоверяются, нет ли на груди у противника своего клиента какого-либо предмета, могущего парализовать удар или оказать сопротивление пуле, и приглашают противников следовать на указанные жребием места и, по предложению распорядителя, передают им оружие» [4].

Вот так. Как говорится, доверяй – но проверяй. И проверяли. Хотя ни Данзас, ни д'Аршиак в своих воспоминаниях об этом даже не обмолвились; как и о том, что перед дуэлью удостоверились в исправности пистолетов и в том, что оба заряжены. Это было слишком очевидным – обязательным правилом.

Отказ от осмотра считался уклонением от дуэли. Верхнее платье, как правило, не снималось; секунданты изымали у дуэлянтов документы, часы, портмоне – всё то, что могло помешать траектории пули. И, разумеется, прохлопав туловище представителя противной стороны, могли удостовериться в отсутствии какой-либо защиты. Так что всё по-честному.

Смыть позор в случае обнаружения «кольчужки» Дантес не смог бы никогда. Ни он сам, ни его дети и даже внуки… Из чувства омерзения к такому никто не только ни разу бы не вышел с ним к барьеру, но и здороваться перестал. Зачем тогда вообще жить? Не лучше ли раз рискнуть, чем всю жизнь ходить оплёванным?..

Вот, господа, что для настоящего дворянина значила дуэль. А для «ненастоящего», спросит кто-то? «Ненастоящие» просто-напросто не стрелялись: откупались, судились, обливали друг друга грязью…

В тот день, 27 января 1837 года, у Чёрной речки сошлись «настоящие». Так что «кольчужку» фантазёры-любители пусть оставят при себе…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Был у меня приятель доктор, иностранец, водворившийся в России и если не обрусевший (от инокровного и иноверного никогда ожидать нельзя и не нужно совершенного обрусения), то, по крайней мере, вполне омосквичившийся. Он был врачом и приятелем всего нашего московского кружка, до 1812 года и долго после того. Он был врач не из учёных, хотя и питомец итальянских медицинских факультетов, когда-то очень знаменитых, но он был из тех врачей, которые нередко исцеляют труднобольных. Глаз его был верен, сметлив и опытен. Если не было в нем много глубоких теоретических и книжных познаний, но зато не было и тени шарлатанства и беганья, во что бы то ни стало и часто не на живот, а на смерть, за всеми хитросплетенными новыми системами… К тому же… он имел душу, сердоболие, неутомимое внимание за ходом и разносторонними видоизменениями болезни, веселые приемы и совершенно светское обращение. Могу говорить о нем с достоверностью и досконально, потому что два раза, в труднейших и опаснейших болезнях, был я в руках его, и оба раза я… оттолкнул мрачную дверь гроба и остался, как вы видите, на земле, чтобы прославлять имя моего земного спасителя. Он был не лишний и у постели больного, и за приятельским обеденным столом. Во всяком случае, мы выпили с ним более вина, нежели микстур, им прописанных. […]

Однажды жаловался он мне на свои домашние невзгоды с женой. “Сами виноваты вы, – сказал я ему. – Доктору никогда не нужно вступать в брак: каждый день и целый день не сидит он дома, а рыскает по городу; случается и ночью: жена остается одна, скучает, а скука – советница коварная”. – “Нет, совсем не то, что вы думаете”, – перебил он речь мою. “Во всяком случае, повторяю: что за охота была вам жениться?” – “Какая охота? – сказал он. – Тут охоты никакой не было, а вот как оно случилось. Девица N., помещица С-кой губернии, приехала в Москву лечиться от грудной болезни. Я был призван, мне удалось помочь ей и поставить ее на ноги. Из благодарности влюбилась она в меня: начала преследовать неотвязной любовью своей, так что я не знал, куда деваться от нее и как отделаться. Наконец расчел я, что лучшее и единственное средство освободиться от ее гонки за мной есть женитьба на ней. По моим докторским соображениям и расчетам, я пришел к заключению, что хотя, по-видимому, здоровье ее несколько поправилось, год кое-как вытерплю; вот я и решился на самопожертвование и женился. А на место того, она изволит здравствовать уже пятнадцатый год и мучить меня своим неприятным и вздорным характером. Поди, полагайся после на все патологические и диагностические указания науки нашей! Вот и останешься в дураках”…» [5]

Идём дальше.

С этой злосчастной пуговицей до конца не всё понятно. Например, не совсем ясно, от чего она была? От мундира или всё-таки от подтяжек для панталон? Где же правда, и важна ли она вообще?

Очевидно одно: ни о каком «сюртуке» речь идти не может. В тот день Дантес стрелялся в двубортном зелёном кавалергардском мундире с двумя рядами пуговиц по шесть в каждом. И это важно. Хотя бы потому, что они могли быть серебряными (пусть – посеребрёнными); главное – металлические. А вот для подтяжек применялись какие угодно – костяные, перламутровые, деревянные, – но вряд ли из металла. Для чего всё это? Дело в том, что по-настоящему срикошетить могла лишь металлическая пуговица. То есть твёрдая и не настолько хрупкая, чтобы разбиться вдребезги от здоровенной пули, летевшей с бешеной скоростью. (Замечу, пистолеты, из которых стрелялись дуэлянты, отличались существенной убойной силой; с учётом минимального расстояния (7–8 метров) пули того и другого представляли серьёзную угрозу для жизни обоих.) Впрочем, кто сказал, что у Дантеса пуговица для панталон не могла быть металлической?..

Вот ведь, дались эти панталоны, возмутится кто-то. И окажется неправ. Об этой пуговице достаточно свидетельств (Вяземский, Жуковский), указывающих, что это была пуговица, удерживающая подтяжки для панталон. С наибольшей долей вероятности, так оно и было.

Поверив свидетельствам современников, попробуем разобраться в другом: куда стреляли дуэлянты? С французом понятно – он *выстрелил в пах. Умышленно или нет, но его пуля разворотила противнику полтаза и крестец. Так что ни о какой «смертельной ране в грудь» и «ране в бок» говорить не приходится.*

А вот о ране самого Дантеса хотелось бы остановиться подробнее. Как мы уже говорили, он стоял к противнику правым боком, с согнутой в локте правой рукой с пистолетом и… Стоп! Вот здесь-то нам, неискушённым, очень легко ошибиться. Чтобы понять, как на самом деле стоял Дантес, проследим за каждым движением француза с точки зрения рациональности.

Итак, профильная стойка уменьшает площадь попадания. Логично. Прижатая к боку рука усиливает защиту от пули ровно на собственную толщину; в случае же попадания в плечевую кость пуля могла полностью утратить убойную силу или, на худой конец, срикошетить. Тоже вполне логично. Рука согнута в локте,

чтобы… Чтобы – что?.. Ну, например, чтобы ударившая в согнутый локтевой сустав пуля уж точно не дошла до рёбер… Или таким нехитрым способом пистолетом защитить часть лица – нос, глаза… Н-да, тоже вариант – но логичный ли?..

Тогда – что логично? А наиболее логичный вариант – вообще не сгибать руку! По крайней мере, в той дуэли. Где с самого начала было определено негласное правило дуэлянтов. Да-да, было и такое…

Любой поединок изначально имел причину, побудившую к нему: ревность, бесчестный поступок, оскорбление… Иногда опытному бретёру достаточно было выстрелом сбить фуражку с головы противника, чтобы привести того в чувство. Рана в руку могла служить предостережением не садиться за карточный стол с желанием смошенничать. Наиболее же кровавыми и трагичными были дуэли, причиной которых послужила женщина. В таких случаях бились отчаянно, с особым ожесточением и частенько со смертельным исходом. С трёх шагов, «через платок»! Иногда подобные поединки называли убийствами. Бывали случаи, когда погибали оба соперника. И это считалось не самым худшим исходом.

Хуже было другое – оказаться тяжелораненым. И тому имелась существенная причина. Потому как особо отчаянные, зная, что могут погибнуть, не желали оставлять противнику ни шанса. Не дать ни единого шанса выжившему сопернику иметь дело с той, из-за которой двое мужчин сошлись у барьера. И стреляли друг другу… в пах. И так называемые тазовые ранения являлись своего рода визитной карточкой «амурных дуэлей» – когда соперники стреляли «зеркально», в одно и то же место…

Из разряда таких оказался и поединок Пушкина с Дантесом. И первый выстрел, сделанный французом, полностью это подтверждает.

Вернёмся к тому, как стоял, ожидая ответного выстрела, Дантес. Хотя с этим мы вроде как определились; осталось разобраться – с согнутой рукой или всё-таки не с согнутой?

Для начала пробежимся по письмам… Та-ак, что там по этому поводу писал сбежавший секундант д'Аршиак?.. Ничего. Данзас? Тоже пусто. Допросы Дантеса и Данзаса также ничего не проясняют. Следовательно, *мы не знаем, как стоял Жорж Дантес-Геккерен у барьера. Зато его хорошо видел сам Пушкин, когда целился в «негодяя». Вопрос: куда целился? И здесь нам как раз может помочь та самая пуговица, которая, извиняюсь, уже оскомину набила…*

* * *

Выстрелив первым *в таз, Дантес, безусловно, вполне отдавал себе отчёт в том, что он сделал. И ничуть не сомневался, что у раненного им Пушкина теперь к французу имелся особый счёт. И куда тот будет стрелять, гадать не приходилось. Поэтому Жорж Дантес не прикрывал пистолетом голову, а рёбра локтем. Его рука с пистолетом прикрывала пах! И не было никакого согнутого локтя. Рука была выпрямлена вдоль тела, а кисть с зажатым в ней пистолетом находилась как раз напротив того места, куда, как ожидал француз, последует выстрел. (Кто знает, может, даже подстраховывался левой. Как себя вести под дулом пистолета – дело каждого; стоять у барьера – уже само по себе мужество.)*

Так вот, будь рука согнута в локте, пуля, пробив мякоть предплечья, однозначно ударилась бы в грудь. При аналогичном ранении с согнутой рукой Дантес бы погиб. Однако контузия живота подтверждает: рука была выпрямлена. Пуля летела снизу вверх. Куда метил Пушкин – знал только он. Мы же можем только предполагать.

Известно, что пуля, пройдя сквозь мягкие ткани предплечья ниже локтевого сустава, ударилась в пуговицу и, срикошетив, ушла в сторону, не причинив её владельцу никакого вреда. Часть ударной силы пришлась на «правую верхнюю часть брюха». По-видимому, пуговица действительно явилась неким препятствием на пути свинца. Что это была за пуговица – до конца не ясно; она могла быть как от мундира (следовательно, металлической), так и от подтяжек (не исключено, что тоже из металла). Большинство современников склоняются ко второму варианту, им же вторят пушкинисты.

Теперь о понимании того, что же произошло. Поясню: при прочтении нашумевшего бестселлера итальянской писательницы Серены Витале «Пуговица Пушкина» у меня сложилось стойкое убеждение, что автор, при всём к нему уважении, находится в некотором заблуждении. Как результат – введение опять-таки в заблуждение читателей романа.

Что пишет С. Витале: «Пуля прошла по касательной, восходящей траектории, вспоров несколько слоев одежды и пронзив мягкие ткани предплечья той руки, которой противник Пушкина закрыл грудь; это отклонило пулю Пушкина от цели, и она, уже потеряв свою смертоносную силу, закончила полет, столкнувшись с пуговицей мундира, жилета или подтяжек Дантеса» [6].

Так вот, длинноствольные немецкие пистолеты Ульбриха

обладали мощнейшим боем; и такое препятствие, как несколько сантиметров мягких тканей человеческой плоти, практически никак не могло повлиять на траекторию пули. И уж тем более – на её «смертоносную силу». Если же верить С. Витале, пуля якобы на излёте ударилась в пуговицу и, отлетев, контузила живот. После чего, надо думать, горяченькая, в лучшем случае упала куда-то там под ноги (хорошо – не в те же панталоны).

Если бы! Скажу честно, я тоже не баллистик. Только недооценивать пистолеты тех лет не следует – игрушки были серьёзные. К слову, убойную силу оружия значительно усиливал длинный ствол. При попадании в тело пули из такого пистолета она, не встретив серьёзного сопротивления (кость, переплетение сухожилий и т. п.), запросто пробивала человека насквозь (да и медведя тоже!). Так что ни о какой «потере смертоносной силы» при проникновении в мякоть предплечья говорить не приходится. Как и о том, что последующее столкновение с пуговицей явилось конечной точкой пулевой траектории.

Впрочем, понять Серену Витале можно, ведь она наверняка при написании книги ознакомилась с рапортом штаб-лекаря Стефановича, осматривавшего рану Дантеса, где чёрным по белому написано: «Больной… руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вздыхании, хотя наружных знаков контузии незаметно».

Так что какие могут быть претензии к исследовательнице, если всё задокументировано? Отвечу: а их (претензий) и нет. Просто писательница написанное приняла за чистую монету. Если «пуля причинила контузию», значит, так оно и есть.

Так – да не так. Пуля опосредованно причинила контузию. Во-первых, она задела пуговицу по касательной; во-вторых, вполне очевидно, что при столкновении с пуговицей эта самая пуля срикошетила, вследствие чего, резко изменив направление, ушла в сторону. Удар оказался столь мощным, что своей внутренней поверхностью пуговица контузила живот. Именно поэтому пулю, выпущенную Пушкиным, так никто и не нашёл (а как найдёшь, если она отклонилась на десятки метров в сторону? Да, по всей видимости, её никто и не искал).

Таким образом, возможное «отклонение пули Пушкина от цели» произошло не из-за столкновения с мягкими тканями предплечья (как подумалось С. Витале), а именно после соприкосновения с пуговицей, вследствие чего, вероятно, и произошёл рикошет. Контузия живота – следствие удара пуговицы, но никак не пули. Не исключено, что пуговка эта всё-

таки была металлической (не берусь говорить – серебряная; хотя некоторые исследователи настаивают именно на этом).

Так всё-таки куда стрелял Пушкин? С большой долей вероятности можно говорить, что выстрел Александра Сергеевича мог быть «зеркальным». Однако, находясь в тяжёлом состоянии, он целился лёжа, еле удерживая в руке пистолет. Рука дрожала, а с ним – и пистолет. Выстрел производился снизу вверх. В момент нажатия на курок кисть, по-видимому, слегка дрогнула, уведя ствол чуть выше. Пуля ушла в область живота. И не нужно забывать, что Пушкин, в отличие от того же поручика Дантеса, был сугубо штатским человеком, и стрелок из него вряд ли был отменный.

В любом случае, этот поединок – классический пример «амурной дуэли» со всем вытекающим из данного обстоятельства драматизмом. И сомневаться в этом не приходится.

Пуговица Дантеса явилась в судьбе Пушкина своего рода индикатором справедливости. Кто знает, как бы кончил свои дни соперник поэта, не окажись спасительного предмета одежды в нужном месте и в нужное время? В тот день, когда на Чёрной речке Александр Сергеевич получил смертельную рану, он был уверен, что справедливость на его стороне. Однако Фортуна в который раз показала себя строптивой, выразив благосклонность своему французскому баловню…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Николай Федорович Арендт был не только искусный врач, но и добрейший и бескорыстнейший человек. Со многих из своих пациентов, даже достаточно зажиточных, он не брал денег, а лечил и вылечивал их из дружбы.

Один из них писал ему однажды: “В болезнь мою я поручил жене моей передать вам после моей смерти мои Брегетовы часы; но вы умереть мне не дали, и я нахожу гораздо приличнее и приятнее еще заживо просить вас, почтеннейший и любезнейший Николай Федорович, принять их от меня и хранить на память о ваших искусных и дружеских обо мне попечениях и на память о неизменной благодарности телесно и душевно вам преданного и обязанного NN”.

На другой день Арендт приехал к нему, торопливо (как делал он всё) всунул ему в руки часы и просил о дозволении удержать одну записку.

Выздоравливающих он не баловал. “Вам лучше, – говаривал он, – я к вам более ездить не буду: у меня есть другой, опасно больной, который меня теперь гораздо более интересует, чем вы. Прощайте!”…» [7]

В течение целого столетия вопрос о трагических обстоятельствах гибели поэта особо не поднимался. Отрадно, что за этот период имя Пушкина превратилось в некий символ, олицетворяющий национальную гордость. Тем привлекательнее оказалась идея разобраться в том, что же на самом деле произошло в том далёком 1837 году.

Всё началось с того, что в газете «Правда» от 13 декабря 1936 года профессор литературы Б.В. Казанский опубликовал статью «Правда о смерти Пушкина». В ней утверждалось, что великий поэт пал жертвой… врачей. Якобы у постели умирающего поэта находились никудышные доктора.

«Арендт был знаменитым хирургом, о котором с уважением отзываются европейские врачи, – писал профессор. – В 1820-х годах он был, несомненно, на уровне лучших хирургов Европы, и ряд его операций вошёл в историю медицины. Между тем лечили Пушкина из рук вон плохо. Никакой инициативы, никакой активности для спасения жизни поэта проявлено не было. Это тем более странно, что положение Пушкина вовсе не было безнадёжным. Правда, поражение брюшины в то время было опасно, так как ни оперировать, ни предупреждать заражение не умели. Но кишки не были пробиты, а только контужены. Арендт не проявил ни энергии, ни изобретательности, которой славился.

Хуже того, он хладнокровно объявил Пушкину, что рана его смертельна. Он почему-то не распознал раздробления крестца, которое причиняло раненому жесточайшие страдания, чрезвычайно изнурившие его и подорвавшие его сердце. Он позволил себе зондировать рану и допустил закрытие раны, что решительно воспрещалось практикой того времени и что, возможно, и вызвало заражение крови. Он не применил кровопусканий, которые строжайше предписывались хирургической практикой. Можно смело сказать, что если бы Пушкина не лечили вовсе, то у него было бы больше шансов выжить».

К слову, автор этих строк постарался быть объективным, заручившись поддержкой известных советских светил от медицины.

В начале 1937 года, в канун столетия со дня смерти великого поэта, в старом здании Академии наук на Волхонке открылось заседание так называемой Пушкинской комиссии. За столом президиума заняли места ведущие отечественные хирурги того

времени; в зале – поэты, писатели, критики, пушкиноведы, литераторы. В первый ряд пригласили потомков А.С. Пушкина. Председателем комиссии был назначен известный писатель В.В. Вересаев, врач по образованию.

Главные докладчики – академик Н.Н. Бурденко (доклад «Хирургия времени Пушкина. Ранение А.С. Пушкина и его лечение») и известный нейрохирург А.А. Арендт (правнук Н.Ф. Арендта – того самого доктора, лечившего после дуэли Пушкина; доклад «Ранение Пушкина и его лечащий врач Н.Ф. Арендт»).

К сожалению, рукопись выступления академика Бурденко непонятным образом исчезла, и сегодня о его речи можно судить исключительно по заметке без подписи в газете «Известия» от 5 февраля 1937 года: «Рана Пушкина. Доклад профессора Н. Бурденко в Академии наук СССР»:

«…Рана была тяжёлая, кровь шла обильно и промочила одежду. Несмотря на такую серьёзную рану, Пушкина уложили в экипаж и везли домой по очень тряской дороге. Дома раненый поэт сам разделся и надел чистое бельё. Долго не могли найти врача. Сначала появляется второпях найденный акушер, и только потом приезжает хирург.

Пуля, попав в нижнюю часть живота… разорвала важнейшие кровеносные сосуды и разбила крестец. Как показало последующее вскрытие, кишка была только ушиблена в одном месте, на небольшом пространстве…

Хирурги, собравшиеся у постели мучительно страдавшего Пушкина, нерешительно, зондами прощупывали рану, этим только увеличивая мучения поэта. На хирургическое вмешательство Арендт не мог решиться. Он начал его лечить по всем правилам тогдашней науки: сперва он сделал перевязку, чтобы остановить кровь, а когда появились воспалительные процессы, стал давать ему каломель, лавровишневые капли, опий, предложил ставить ему компрессы на живот и делать промывание. Эти меры не могли помочь Пушкину.

Уже на второй день Пушкин потерял веру во врачей. Он начал смотреть на их мероприятия как на новые мучения, но все-таки покорно выполнял все предписания. Когда друг Пушкина врач В. Даль преподнёс поэту ненавистную для него касторку, тот покорно её выпил. Когда Даль предложил поставить пиявки на сильно вздувшийся живот, Пушкин сам их выбирал…

…Даже хирурги средней техники вылечили бы Пушкина. Прежде всего его повезли бы до ближайшего медицинского пункта и здесь сделали перевязку. Потом спокойно отвезли бы в клинику и сделали переливание крови. Это резко восстановило бы силы Пушкина. Только после этого хирурги приступили бы к обработке

раны. Широкое вскрытие брюшной полости помогло бы остановить кровоизлияние и ликвидировать всю инфекцию, занесённую круглой пулей. Рентгеновские снимки показали бы, где застряла пуля и как раздроблен крестец. Все эти мероприятия, несомненно, спасли бы жизнь великого поэта».

Вот такой вердикт. Хотя академик Бурденко, несомненно, Пушкина бы спас. Однако далеко не каждый хирург. Ведь даже в наши дни при такой тяжёлой огнестрельной травме из трёх раненых выживают… двое.

Тем не менее после этого на три десятка лет актуальность вопроса вновь сошла на нет. И вот в 1965 году к руководителю Всесоюзного центра хирургии Академии медицинских наук СССР, Герою Социалистического Труда и лауреату Ленинской и Государственной премий СССР академику Б.В. Петровскому явился… доктор А.А. Арендт (тот самый, что выступал когда-то с Бурденко)[63]*. В беседе с академиком уже немолодой доктор посетовал, что его прадеда до сих пор обвиняют в неправильном лечении знаменитого поэта. Может, стоит, наконец, окончательно разобраться, обратился он к Петровскому.*

Борис Васильевич Петровский к вопросу подошёл серьёзно: стал изучать архивные материалы, специально съездил в Ленинград и Михайловское, встретился с учёными. Результатом скрупулёзных исследований академика стала работа «Дуэль, ранение и смерть А.С. Пушкина с позиций современной хирургии».

Вот что писал Б.В. Петровский:

«Дуэльные пистолеты обладали кучным боем, а пуля диаметром 0,5 дюйма (1,2 см) и весом 17,63 г на 10–12 шагов не растрачивала своей кинетической энергии. Учитывая, что Александр Сергеевич стоял вперед правым боком, вполоборота, пуля, пройдя через одежду, пробила кожу, подкожную клетчатку, мышцу, вошла на 5 см внутрь от передней верхней ости правой подвздошной кости, раздробила её и по передней стенке правой половины таза косо медиально и книзу ударилась в крестец, раздробив его и, вероятно, в деформированном виде застряв в мягких тканях правой или левой половины таза. По-видимому, ранения крупных вен и артерий не произошло, хотя В И. Даль пишет о повреждении бедренной вены… Скопление большого количества крови в брюшной полости и возникший в связи с этим перитонит, несомненно, свидетельствуют о повреждении брюшины…

Таким образом, клиника ранения Пушкина характеризовалась вначале шоком и кровопотерей, которая хотя и была значительной (суммарно около 2 литров крови), но всё же не смертельной.

Вместе с тем шок, кровопотеря, тяжёлое нервно-психическое состояние раненого значительно ослабили силы сопротивления организма к инфекции и, безусловно, отрицательно отразились на дальнейшем развитии осложнений, прежде всего воспаления, гематомы и острого перитонита…» [8]

Таково мнение именитого академика. Я же возьму на себя смелость сказать, что в наши дни неблагополучный исход подобной травмы составляет чуть меньше всё тех же тридцати процентов. Уж слишком серьёзны осложнения такого ранения…

* * *

Теперь, что называется, постараемся «погрузиться в эпоху». И начнём с Бородинского сражения.

Известно, что за время битвы при Бородине русская армия потеряла 42 тысячи человек, французская – 58 тысяч. Данные энциклопедического отчёта.

Русский офицер Фёдор Глинка писал: *«…Сколько потоков крови! Сколько тысяч тел!.. На месте, где перевязывали раны – лужи крови не иссыхали. Никогда не видел я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозженные руки до плеч. Те, которые несли раненых (санитары), облиты были с головы до ног кровью и мозгом своих товарищей…» [9]*

Нечто подобное творилось и в лагере французов. Главный хирург «Великой армии» Жан-Доминик Ларрей во время Бородинской баталии сделал не менее двухсот ампутаций. Мастерство хирурга позволяло ему на каждую операцию тратить в среднем не более 4–5 минут: разрез, лигирование сосудов, отпил, ушивание. Впрочем, последнюю манипуляцию зачастую выполняли ассистенты. О страданиях раненых говорить не приходится. Кто-то дико кричал, кто-то, стараясь не показать слабости, скрипел зубами, кто-то (самый тяжёлый) просто молчал: болевой шок проявляется по-разному. Умирали сотнями…

Из воспоминаний наполеоновского войскового врача де ля Флиза: «Невозможно передать того рева, того скрежета зубов, который исторгает у раненых боль от разбитых ядром членов, тех болезненных криков, когда оператор прорезывает покровы члена, рассекает мышцы его, разрубает нервы, пилит кость».

Для выживших раненых всё только начиналось. Помимо нестерпимой боли, их преследовала серьёзная опасность: «антонов огонь», гангрена. Йод будет открыт двумя годами позже. Для обработки ран и хирургического инструментария пользовались простой водой (далеко не всегда кипячёной), в которую иногда

добавляли соль или известь. Для перевязки использовали так называемую корпию – растереблённую на нити льняную ветошь, достаточно гигроскопичную, – хотя уже была известна и марля. Тем не менее считалось, что повязка должна быть из воздухонепроницаемой ткани, поэтому марлю почти не использовали.

Даже медицинскую помощь оказывали согласно чинопочитанию. Солдат оперировали по показаниям; зато, чтобы ампутировать конечность у офицера или генерала, следовало испросить у того согласия; генеральский состав перевязывали… батистовыми платками; остальных, как уже было сказано, корпией.

К слову, подобная «демократия» зачастую оборачивалась трагедией. Так, 26 сентября 1812 года в деревне Семёновской был ранен командующий 2-й Западной армией генерал от инфантерии Пётр Иванович Багратион. Около полудня, когда генерал, сидя на коне, отдавал распоряжения, «черепок чиненого ядра» раздробил ему левую ногу. Осмотрев раненого, лекарь Литовского полка Яков Говоров написал, что рана «сопряжена была с повреждением берцовой кости». Осколок перебил большеберцовую кость ниже колена.

«Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости, – напишет Багратион Александру I. – Но ни малейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…» [10]

Сейчас при таком ранении сделали бы просто: рану, продезинфицировав, обработали, удалили осколки костей и зафиксировали поражённую конечность. Однако в случае с Багратионом всё было исполнено с точностью до наоборот. Князя на трясучей повозке доставили в Москву и лишь спустя две недели после ранения, наконец-то, сделали операцию. Но упущенное время фатальным образом сказалось на ране. Теперь она представляла собой ужасное зрелище: «гнойной и вонючей материи, с примесью некоторых инородных тел, волокон сукна и холстины, вышло из раны чрезвычайное количество, и рана представилась на взгляд весьма глубокою, с повреждением важных кровеносных сосудов и чувствительных нервов». Это – картина смерти: гангрена.

Отказавшись от ампутации, генерал Багратион скончался у родственников во Владимирской губернии…

Как видим, гангрена являлась бичом военно-полевой хирургии тех лет. Многое зависело от времени. Чем быстрее раненому была

проведена хирургическая операция, тем больше шансов у него оставалось выжить. Однако в условиях боевых действий драгоценного времени не хватало. Приходилось ограничиваться спасительными ампутациями.

Высокая смертность была от другого – от проникающих торакоабдоминальных ранений. То есть от поражений в грудь и живот. Нет необходимости доказывать, что слова «живот», «живо» и «жизнь» – одного поля ягоды: брюшная полость играет жизненно важную функцию. При здоровом брюхе живу быти… К сожалению, по-настоящему хирургическое лечение ранений живота началось лишь во второй половине XIX века, что было связано с развитием асептики и антисептики – науки о стерилизации как рук хирурга и инструментария, так и операционной раны. Всё это снизило летальность (смертность) больных и раненых в разы. Тем не менее смертность от проникающих ранений живота[64] *составляла более девяноста процентов. Умирали девять из десяти! И это – усреднённые данные; на деле же ранение живота означало смерть. И если при проникающих колото-резаных ранах причиной гибели раненого почти стопроцентно являлся перитонит (воспаление брюшины), то при огнестрельных это были посттравматический шок, тот же перитонит и высокая кровопотеря.*

Помните знаменитое суворовское «пуля – дура, штык – молодец»? Для нас, столь далёких от всего этого, не сразу понятно, о чём речь. Старик же Суворов говорил о том, что при ранении пулей в руку ли, ногу, а порой и касательное в голову ещё можно было выкарабкаться; зато скромный с виду штык – опаснейший враг. Он безжалостный убийца. Ушёл на сантиметр-другой поглубже – и для раненого начинался обратный отсчёт. Ткнул – и отбежал. Всего-то. Нам всегда казалось, что преимущество штыка заключалось в некоем временном выведении противника из строя: ранил – и тот уже как бы вне игры. А дальше раненым займутся доктора – а уж они-то своё дело знают, спасут…

Не спасут! По крайней мере, при проникающем ранении живота во время Бородинской битвы, да и всей освободительной кампании 1812–1814 годов, не спасали. Таких раненых, как правило, не оперировали, ограничиваясь консервативной терапией. Солдаты и офицеры с той и другой сторон умирали десятками, сотнями, тысячами… В страданиях и муках. От инфекционных осложнений. В частности, от перитонита. Такая вот проза войны…

Так в чём же причина такого плачевного состояния хирургии? Причина в том, что, как уже было сказано, ранения живота

считались неоперабельными. Нет, не следует думать, что доктора не были способны извлечь пулю или осколок – могли, причём достаточно виртуозно. А вот прогноз при подобных операциях изначально считался плохим. «Счастливой случайностью» оказывалась не гибель, а именно выздоровление пациента. «Оперировать брюхо» и накладывать шов на раненую кишку хирург Ларрей считал «бесполезным занятием»; ничего удивительного, что раненных в живот не торопились транспортировать в операционную. Спасали тех, у кого имелся шанс выжить, ампутируя конечности и давая тем самым шанс выжить вообще. Тому же Ларрею не было смысла тратить время на тяжелораненых с торакоабдоминальными ранениями, поэтому он ампутировал конечности и, таким образом, спасал…

Ситуация долго находилась в тупике. Даже великий Пирогов полагал ушивание кишечной раны нецелесообразным, ибо кишечный шов «раздражает чрезвычайно чувствительные оболочки кишок»; неизбежный некроз вызывал перитонит и гибель оперируемого. Причём Пирогов рассуждал вовсе не о раненой кишке в брюшной полости, а всего лишь о выпавшей наружу простреленной части кишечника. «Ни один защитник шва не полезет в брюхо зашивать кишечные раны», – дословные строки из работ Николая Ивановича Пирогова.

Поэтому ранений в живот страшно боялись. Долгое время брюшная полость в оперативном отношении считалась практически недоступной областью, а её вскрытие – по сути, смертельно опасной операцией. Тактика ведения больных с ранениями живота сводилась к «активной симптоматической и противовоспалительной терапии», которую можно охарактеризовать как «выжидательную». Причём подход к проведению симптоматической терапии заключался в следующем: при болях – опий; при появлении симптомов перитонита – «антифлогоз» в виде приложения пиявок и разного рода «припарок»; при вздутии же живота и отсутствии стула в ход шло всё, что могло «прослабить»…

Судите сами. Первая холецистэктомия (удаление желчного пузыря) была произведена Карлом Лангенбухом (Langenbuch) лишь в 1882 году; успешную тампонаду раны печени (в связи с огнестрельным ранением) немецкий хирург Виктор Брунс (Victor von Bruns) осуществил в 1866 году. В 1883 году светило швейцарской хирургии Теодор Кохер (Kocher) впервые зашил огнестрельную рану желудка; в 1892 году Хойснер (Heusner) ушил прободную язву желудка. Как видим, на рубеже прошлого века торакоабдоминальная хирургия делала лишь первые шажки.

Отсюда – «голодная диета» перед боем, сковородки на «брюхо», умение ходить в штыковые атаки. Самым опасным во время боя считалось схлестнуться в рукопашной, где штык решал исход дела. И тут главным оказывалось не только хорошо владеть холодным оружием, но и самому не налететь на штык. Проникающая колото-резаная рана мгновенно вызывала болевой шок и массивную кровопотерю, спастись от которых на поле боя было чрезвычайно трудно.

Как следствие – различные способы защиты; например кирасы, способные в той или иной мере взять на себя удар штыка, сабли или пики. Другое дело, что эти самые кирасы предназначались разве что для всадников тяжёлой кавалерии – так называемых кирасир. А вот ополченцы, да и партизаны тоже, перед атакой зачастую прикрепляли на животе обычную сковороду. Мужицкая смекалка пришлась ко двору: сковорода оказалась прекрасной защитой от острого штыка. Правда, приходилось рисковать: ведь при попадании пули или осколка в такую «кирасу» она (сковорода) могла разлететься на фрагменты. И вместо штыковой раны оказывалось множественное оскольчатое…

А вот и ещё одно: удаление червеобразного отростка (аппендикса) впервые было выполнено только в 1884 году Мохамедом (Mohomed) в Англии и Рудольфом Ульрихом Кренлайном (Kronlen) в Германии. Запомним этот год: с этого времени в мире стала широко применяться аппендэктомия. А как до этого, спросите. Да как повезёт. Приступ острого аппендицита частенько заканчивался летально. «Везение» заключалось в том, что вокруг воспалённого отростка мог сформироваться так называемый аппендикулярный инфильтрат – хронический спаечный процесс, которому суждено было беспокоить человека всю оставшуюся жизнь. Но бывало, что нагноившийся гангренозный отросток лопался, вызывая острое воспаление брюшины (перитонит), от чего наступала мучительная смерть. Таким образом, человечество долгое время находилось под неким дамокловым мечом, игравшим людскими жизнями в своеобразную «русскую рулетку»…

* * *

Князь П.А. Вяземский (из «Старой записной книжки»):

«Есть люди, которые переплывают жизнь; еще есть люди, которые просто в ней купаются. К этому разряду принадлежат преимущественно дураки. Одним приходится выбирать удобные места для плавания, бороться с волнами, бодро и ловко

действовать мышцами. Другие сидят себе спокойно по уши в глупости своей. Им и горя нет: им всегда свежо» [11].

Вернёмся к Пушкину и его ранению.

С первых же минут после выстрела Дантеса поэт находился в тяжёлом посттравматическом шоке. Из раны обильно текла кровь, пропитывая одежду. Пушкин периодически терял сознание. Случилось самое страшное: один из дуэлянтов оказался тяжело ранен.

Именно с этого момента начинается череда трагических, роковых обстоятельств, приведших в конечном счёте поэта к гибели.

Первое. Стрелялись без присутствия врача. Организованная наспех, дуэль с самого начала не сулила ничего хорошего. Противники не думали о себе; все их мысли были заняты тем, чтобы расправиться с недругом. О срочной медицинской помощи никто не подумал.

На месте не оказалось простейшего перевязочного материала; кровь пытались остановить бельём раненого. Дальше его требовалось дотащить до саней. Опять же – ни носилок, ни подходящей волокуши. Вокруг Пушкина лишь трое растерянных людей, двое из которых (только что раненный Дантес и Данзас с рукой на перевязи) бессильны чем-либо помочь. Тем не менее первую помощь тяжелораненому оказывал именно его секундант, Константин Данзас; д'Аршиак в это время помогал остановить кровотечение своему подопечному.

И это притом, что счёт пошёл на минуты. Температура воздуха минус пятнадцать, сильный холодный ветер (как любил говаривать В. Даль, «замолаживало»). А человек на снегу истекает кровью… Сейчас тяжелораненому неплохо было бы дать глоток-другой вина, на худой конец – спирта. Но и об этом никто не подумал. Головотяпство неслыханное!

Уже минут через десять начинается переохлаждение, Пушкина трясёт. От быстрой смерти поэта отделяют мгновения. В какой-то момент кровь, по-видимому, удаётся остановить. На подмогу вызывают обоих кучеров. Истекающего кровью Пушкина *волокут к саням. Потом переносят на шинель и несут… С трудом затаскивают в сани. (Нет никакого сомнения, что кровотечение в это время усилилось.) Александр Сергеевич поистине стоически переносит все мучения – не жалуется, лишь немного постанывает. Наконец, тронулись по бездорожью.*

Виконт д'Аршиак: «…В санях, сильно потрясаем во время переездки более половины версты, по самой дурной дороге, он мучился, не жалуясь…» [12]

Никто не подумал, что может понадобиться более щадящий транспорт в случае ранения одного из дуэлянтов. Никто! Кроме одного человека – голландского посланника. Именно Геккерен-старший заблаговременно отправил к месту поединка карету. Через полверсты кавалькада наткнулась на эту самую карету, и с разрешения французов перенесли туда тяжелораненого (скрыв от последнего принадлежность повозки).

Теперь представьте следующее. Еле живого поэта с развороченным тазом в карете усаживают на сиденье и в течение часа везут к дому. (Расстояние от Чёрной речки до квартиры на Мойке больше семи вёрст, почти десять километров.) Страшно представить, какие адовы муки пришлось претерпеть Пушкину во время этого пути. Он был очень бледен, вял; сильно мутило. Несколько раз по просьбе пассажиров кучер останавливал лошадей: раненый терял сознание.

Важная ремарка. В первой половине XIX века присутствие на поединке доктора являлось случаем наиредчайшим. И вот почему: «дуэльных лекарей» судили точно так же, как и секундантов. И нужно было постараться (не простыми уговорами, а исключительно звонкой монетой!) зазвать какого-нибудь уважаемого лекаря быть свидетелем при «добровольном убийстве». Приезжал разве какой-нибудь спившийся эскулап; зато вся остальная братия слишком дорожила своим именем, чтобы согласиться на подобную авантюру.

Всё изменилось через восемь лет после дуэли между Пушкиным и Дантесом, когда законодательно (Уложение о наказаниях 1845 г., ст. 1980) была отрегулирована ненаказуемость докторов, приглашаемых для оказания медицинской помощи во время дуэлей: «…врачи, призываемые для помощи раненым, не почитаются свидетелями поединка». С этого времени присутствие доктора на дуэлях стало непременным условием почти каждого поединка…

Второе. Обескровленного, в шоковом состоянии, Пушкина везут *не в госпиталь, а на его квартиру. Понимал ли Данзас, что раненого следовало везти в клинику, а не домой? Безусловно. Но он этого не сделал. Позже многие исследователи будут винить в этом секунданта. Однако понять Данзаса можно. Никто не предполагал подобного исхода, трагедия всех застала врасплох, и Константин Карлович, как и все присутствующие, был сильно растерян. Кроме того, ехать домой настоял сам Пушкин.*

Тем не менее в подобных ситуациях желания умирающего человека не спрашивают, действуя по обстановке. Однако нельзя скидывать со счетов и другое: Данзас видел, что Пушкин тяжёл, поэтому, возможно, в какой-то момент секунданту показалось,

что часы товарища сочтены, и желание поэта попрощаться с родными оказалось важнее всего остального. Данзас вёз Пушкина на Мойку умирать. Потому-то и внял последней просьбе товарища…

Впрочем, эта ошибка повлекла за собою прочие, приведшие к тяжёлым последствиям. Во-первых, на квартире отсутствовали элементарные условия ухода за тяжелораненым. Пушкина уложили на мягкий диван. Хотя в любом стационаре пациента с ранением таза обязательно положили бы на какой-нибудь щит или твёрдую кушетку. Азы военно-полевой хирургии, с которыми были хорошо знакомы госпитальные военные врачи. Лишь одно это помогло бы избежать излишней подвижности отломков тазовых костей, разрушающих при движении окружающие ткани и кровеносные сосуды, раздражающие нервные окончания. Как результат – продолжающееся кровотечение и нестерпимые боли. Всё это усиливало явления шока.

Происходящее – при отсутствии у постели раненого квалифицированного лекаря[65]: секундант, слуга, горничная, жена, дети… Кого только нет – только не доктора!

Данзас срочно летит на поиски медиков. Он буквально мечется из одного дома в другой в тщетной надежде отыскать хоть кого-нибудь. На месте никого не оказывается. Случайно натыкается на акушера Шольца, который, как уверяет, в огнестрельных ранах ничего не смыслит. Зато обещает доставить на Мойку хирурга Задлера.

Доктор медицины Карл Задлер являлся главным лекарем придворного конюшенного госпиталя и имел большой опыт работы хирургом. Многоговорящий факт: до этого доктор Задлер уже успел побывать у раненого Дантеса и оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.

Прибыв на Мойку (через час после того, как туда привезли раненого), хирург осмотрел рану, потом сделал перевязку. Таким образом, от момента ранения до первой квалифицированной перевязки прошло целых два часа. Что было до этого, мы знаем: тяжелораненый истекал кровью, замерзал в снегу, трясся в санях и повозке…

Однако ранение оказалось слишком серьёзным, чтобы ограничиться только перевязкой. Состояние раненого оставалось тяжёлым. Задлер послал за докторами Арендтом и Саломоном…

Третье. После семи вечера на Мойку приезжают лейб-медик Н.Ф. Арендт и домашний доктор семьи Пушкиных И.Т. Спасский. С этого момента именно доктор Арендт будет руководить лечением.

Доктор медицины *Николай Фёдорович Арендт (1786–1859) являлся лейб-медиком Николая I; тайный советник, имевший богатейший опыт лечения раненых во многих сражениях; первым из хирургов выполнил перевязку аневризмы подвздошной артерии. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии.*

После осмотра раны Пушкина Арендтом было диагностировано проникающее ранение брюшной полости в нижней части живота и назначена консервативная терапия. С самого начала вопрос об операции не ставился.

Ну а далее начинается череда нелепых закономерностей (или закономерных нелепостей?), приведших к трагедии.

Итак, вокруг тяжелораненого топчутся растерянные лекари. Об их растерянности говорит хотя бы тот факт, что, кроме перевязки, никто, в общем-то, не может предложить конкретного лечения. Основная тактика – наблюдение за состоянием пациента. При всём уважении к именитым докторам, налицо преступная халатность: лечат больного, не соизволив оформить на него элементарную медицинскую документацию! Так вот, скорбный лист (предтеча современной истории болезни) по факту ранения А.С. Пушкина так никто и не удосужился завести. Чем лечили, какими дозами, динамика состояния здоровья и эффективность лечения – всё исключительно на совести лекарей, толкавшихся у постели умирающего поэта.

Судить о происходящем в те дни в доме на Мойке, 12, можно лишь по сохранившимся запискам докторов Шольца, Спасского и Даля. Другое дело, что это были именно записки, не имевшие ничего общего с настоящим скорбным листом. По сути, беллетристика…

Записка доктора Шольца:

«27-го Января в 6¼ ч., Полковник Данзас приглашал меня к трудно раненому, Александру Сергеевичу Пушкину.

Прибывши к больному с Доктором Задлером, которого я дорогою сыскал, взошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окруженным тремя лицами, супругою, Полковником Данзасом и Г-м Плетневым. – Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: “Плохо со мною”. Мы осматривали рану, и Г-н Задлер уехал за нужными инструментами.

Больной громко и ясно спрашивал меня: “Что вы думаете о моей ране; чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу; дорогою шло много крови – скажите мне

откровенно, как вы рану находили?"

"Не могу Вам скрывать, что рана ваша опасная".

"Скажите мне – смертельна?"

Считаю долгом Вам это не скрывать, – но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано.

"Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi – (при сем рукою потер себе лоб) – il faut que j'arrange ma maison". – Чрез несколько минут сказал: "мне кажется, что много крови идет?"

Я осмотрел рану, – но нашлось, что мало – и наложил новый компресс.

"Не желаете ли Вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?"

"Прощайте, друзья!" (сказал он, глядя на библиотеку).

"Разве Вы думаете, что я часу не проживу?"

"О нет, не потому, но я полагал, что Вам приятнее кого-нибудь из них видеть… Г-н Плетнев здесь…"

"Да – но я бы желал Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит".

Я трогал пульс, нашел руку довольно холодною – пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении; вышел за питьем и чтобы послать за Г-м Жуковским; Полковник Данзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арендт, Саломон – и я оставил печально больного, который добродушно пожал мне руку» [13].

Теперь послушаем доктора Спасского:

«…В 7 часов вечера 27 числа минувшего месяца приехал за мною человек Пушкина. Александр Сергеевич очень болен, приказано просить как можно поскорее. Я не медля отправился. В доме больного я нашел доктора Арендта и Сатлера. С изумлением я узнал об опасном положении Пушкина.

– Что, плохо? – сказал мне Пушкин, подавая руку.

Я старался его успокоить. Он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимал опасность своего положения.

– Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица; вы ее хорошо знаете; она должна все знать. Впрочем, делайте со мною, что вам угодно, я на все согласен и на все готов.

Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. По желанию родных и друзей Пушкина я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тот же час на то согласился.

– За кем прикажете послать? – спросил я.

– Возьмите первого, ближайшего священника, – отвечал Пушкин.

Послали за отцом Петром, что в Конюшенной. Больной вспомнил о Грече.

– Если увидите Греча, – молвил он, – кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере.

В 8 часов вечера возвратился доктор Арендт. Его оставили с больным наедине. В присутствии доктора Арендта прибыл и священник. Он скоро отправил церковную требу: больной исповедался и причастился святых тайн. Когда я к нему вошел, он спросил, что делает жена. Я отвечал, что она несколько спокойнее.

– Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, – возразил он, – не уехал еще Арендт?

Я сказал, что доктор Арендт еще здесь.

– Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат.

Желание Пушкина было передано доктору Арендту и лично самим больным повторено. Доктор Арендт обещал возвратиться к 11-ти часам. Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время. Доктор Арендт приехал в 11 часов. В лечении не последовало перемен. Уезжая, доктор Арендт просил меня тотчас прислать за ним, если я найду то нужным. Я спросил Пушкина, не угодно ли ему сделать какие-либо распоряжения.

– Все жене и детям, – отвечал он. – Позовите Данзаса.

Данзас вошел. Пушкин захотел остаться с ним один. Он объявил Данзасу свои долги. Около четвертого часу боль в животе начала усиливаться и к пяти часам сделалась значительною. Я послал за Арендтом, он не замедлил приехать. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась: взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтоб жена не услышала, чтоб ее не испугать.

– Зачем эти мучения, – сказал он, – без них я бы умер спокойно.

Наконец боль, по-видимому, стала утихать, но лицо еще выражало глубокое страдание, руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен.

– Жену, просите жену, – сказал Пушкин.

Она с воплем горести бросилась к страдальцу. Это зрелище у всех извлекло слезы. Несчастную надобно было отвлечь от одра умирающего.

Таков действительно был Пушкин в то время. Я спросил его, не

хочет ли он видеть своих друзей.

– Зовите их, – отвечал он.

Жуковский, Вьельгорский, Вяземский, Тургенев и Данзас входили один за другим и братски с ним прощались.

– Что сказать от тебя царю? – спросил Жуковский.

– Скажи, жаль, что умираю, весь его бы был, – отвечал Пушкин.

Он спросил, здесь ли Плетнев и Карамзина. Потребовал детей и благословил каждого особенно. Я взял больного за руку и щупал его пульс. Когда я оставил его руку, то он сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, томно, но выразительно взглянул на меня и сказал:

– Смерть идет.

Он не ошибался, смерть летала над ним в это время. Приезда Арендта он ожидал с нетерпением.

– Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно, – промолвил он.

Наконец доктор Арендт приехал. Его приезд, его слова оживили умирающего. В 11-м часу утра я оставил Пушкина на короткое время, простился с ним, не полагая найти его в живых по моем возвращении. Место мое занял другой врач.

По возвращении моем в 12 часов пополудни мне казалось, что больной стал спокойнее. Руки его были теплее, и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо опрашивал о жене и детях. Я нашел у него доктора Даля. Пробыв у больного до четвертого часу, я снова его оставил на попечение доктора Даля и возвратился к нему около семи часов вечера. Я нашел, что у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее и боль в животе ощутительнее. Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Так как эту ночь предложил остаться при больном доктор Даль, то я оставил Пушкина около полуночи.

Рано утром 29 числа я к нему возвратился. Пушкин истаевал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие куски льду и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. Доктор Арендт подтвердил мои и доктора Даля опасения. Около 12 часов больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукою. Он неоднократно приглашал к себе жену. Вообще все входили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос: не угодно ли вам видеть жену или кого-либо из друзей, – он отвечал:

– Я позову.

Незадолго до смерти ему захотелось морошки. Наскоро

послали за этой ягодой. Он с большим нетерпением ее ожидал и несколько раз повторял:

– Морошки, морошки.

Наконец привезли морошку.

– Позовите жену, – сказал Пушкин, – пусть она меня кормит.

Он съел 2–3 ягодки, проглотил несколько ложечек соку морошки, сказал – довольно, и отослал жену. Лицо его выражало спокойствие. Это обмануло несчастную его жену; выходя, она сказала мне: "Вот увидите, что он будет жив, он не умрет".

Но судьба определила иначе. Минут за пять до смерти Пушкин просил повоpотить его на правый бок. Даль, Данзас и я исполнили его волю: слегка повоpотили его и подложили к спине подушку.

– Хорошо, – сказал он и потом несколько погодя промолвил: – Жизнь кончена.

– Да, конечно, – сказал доктор Даль, – мы тебя повоpотили.

– Кончена жизнь, – возразил тихо Пушкин.

Не прошло нескольких мгновений, как Пушкин сказал:

– Теснит дыхание.

То были последние его слова. Оставаясь в том же положении на правом боку, он тихо стал кончаться, и – вдруг его не стало.

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела…» [14]

И это – скорбный лист?!

Четвёртое. Пушкина *никто не спасал. Даже доктора, навещавшие раненого на Мойке. Всё их присутствие ограничилось исключительно ролью констататоров факта. Акушер Штольц с первых же слов дал понять пациенту, что дела его плохи: «Не могу Вам скрывать, что рана ваша опасная». И на вопрос о том, смертельна ли рана, Пушкин получил аналогичный ответ: «Считаю долгом Вам это не скрывать». Доктор Арендт, по сути, оказался столь же бесхитростен, выложив перед тяжелораненым всю безрадостную перспективу: «…Должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды…»*

Даже не верится. Доктор Спасский вместо ободрительных слов (хотя бы это!) спрашивает у раненого, нет ли у того каких-либо распоряжений (надо думать – предсмертных). Ничего удивительного, что моральный дух Пушкина оказался сломлен: надежды на выздоровление не было никаких: «Зачем эти мучения, без них я бы умер спокойно…»

Более детально ход истории болезни Пушкина расписан Владимиром Ивановичем Далем. Но, заметим, лишь ход болезни –

не более. А как же с лечением? И здесь помогла записка Даля. По крайней мере, известно, что умирающему давали слабительные, каломель, опиумные капли; ставили пиявки, делали клизму. Может, измеряли температуру тела – нет. Камфару для поддержания сердечной мышцы – если бы! Складывается впечатление, что при общении с Далем больше пользы разве что от самих бесед, нежели от проводимого «консервативного лечения». А доктор Аренд вообще не оставил какого-либо документального подтверждения о своём присутствии у постели поэта. О его консультациях (впрочем, как и о присутствии рядом д-ров Саломона и Андреевского) узнаём лишь по запискам других врачей да из воспоминаний князя Вяземского. Одним словом, доктора с самого начала заняли – нет, не выжидательную, – а исключительно капитулянтскую позицию. И в этом их несомненная вина.

Самым мужественным из всех оказался сам Пушкин…

* * *

Итак, ход событий в доме княгини Волконской на Мойке с 27 по 29 января 1937 года.

Пушкина привезли с Чёрной речки в шоковом состоянии. Он был сильно возбуждён, ослаблен; мучили жажда и постоянная тошнота. Жаловался на умеренную боль в ране. Доктора отмечали бледность кожных покровов, похолодание конечностей; частый, слабого наполнения пульс. Всё указывало на продолжающееся внутреннее кровотечение.

Вечером 27-го у постели раненого побывали все более-менее именитые столичные доктора. Помимо Шольца и Задлера – Николай Фёдорович Арендт, Христиан Христианович Саломон и Илья Васильевич Буяльский. Причём доктор Арендт в тот вечер навестил Пушкина трижды – в семь, восемь и одиннадцать часов. Дежурить ночью у постели больного остался домашний лекарь семьи Пушкиных Иван Тимофеевич Спасский. (Следует напомнить, что к тому времени доктор Спасский, как и Шольц, являлся больше акушером, нежели практикующим терапевтом.)

К ночи боль в области раны заметно усилилась. Однако из лечения лишь скудное холодное питьё и примочки со льдом к нижней части живота. Предполагалось, что примочки если и не остановят кровотечение, то, по крайней мере, сократят, а заодно и ограничат начавшийся внутренний воспалительный процесс. Всё это время раненый находился в сознании, изредка погружаясь в кратковременное забытье. Где-то ближе к полуночи

кровотечение удалось-таки остановить. Однако до утра Пушкин не сомкнул глаз: низ живота буквально горел, вызывая при малейшем движении нестерпимые боли.

Слова доктора Аренда о безнадёжности состояния не давали поэту покоя. Неужели всё?.. Жил, учился, писал, любил…И вдруг одним махом – раз! – и нет ничего… Как такое может быть? Столько дел! Ещё больше – не дописано… не долюблено… не прожито… Хотелось кричать и плакать. Плакать и кричать… Комок отчаяния сжимал горло, перехватывая дыхание… Вон их сколько, всех этих лекарей, один учёнее другого, а сделать ничегошеньки не могут… Даже унять боль не в силах, эскулапы…

Пушкин попробовал повернуться набок (спина полностью онемела), но внутри вдруг резко ударило, отозвавшись где-то в боку и в правой ноге. Перед глазами поползли круги, дыхание спёрло, а в горле застрял истошный крик… Закричать – значит разбудить всех, показать свою слабость. Чем ему теперь можно помочь – разве дать очередную порцию опия… Нет, не хочу. Не хо-чу!.. Он покосился на бодрствующего поблизости преданного слугу и тихо позвал:

– Ни-ки-та… Никита…

Однако слуга его не услышал.

– Никита! – позвал громче, хотя и этот зов оказался шёпотом. Но Козлов встрепенулся:

– Ась, Лександра Сергеич, тутоньки я… Подать што? Может, подушку поправить?..

– Тс-с… Дай-ка, дружок, вон тот ящик письменного стола, – показал поэт глазами на свой стол.

Никита прошёл к столу, вынул ящик, вернулся к дивану. В столовом ящике в деревянной коробке лежали дуэльные пистолеты. Пушкин протянул руку:

– Подай сюда, Никита…

Тот, не смея ослушаться, достал коробку и протянул её барину.

– Но… как же… – начал было Козлов, но Пушкин остановил слугу взглядом.

Взяв коробку, раненый быстро спрятал её под одеяло. Положил голову на подушку, прикрыл глаза. Ну, вот и всё. Finita la commedia…

– Ступай, дружок, ступай, – устало сказал Никите и облегчённо вздохнул.

Теперь он не даст этой безжалостной боли победить себя. Главное, оказаться выше её! А если станет невтерпёж, то… На какое-то мгновение сделалось спокойно и хорошо. Лишь мёрзли руки и сильно хотелось пить…

– Пить… Никита, голубчик, пить…

В ответ никто не ответил. Он приоткрыл глаза и с удивлением обнаружил, что рядом с ним уже двое – Никита и Костя Данзас. Бдительный слуга разбудил дремавшего в кресле у окна секунданта и всё тому рассказал. Данзас оказался более решителен. Он приподнял край одеяла и вынул оттуда коробку.

– Даже и не думай об этом, Саша, – строго сказал товарищу. – Даже не думай…

Под утро боль приняла жгучий характер. Резко вздуло живот. Находясь в кратковременном забытьи, Пушкин начинает громко стонать. Доктор Спасский не скрывает сильного волнения. Он растерян и не знает, что предпринять. Оставалось одно – дожидаться приезда коллег. Не выдержав, в пять утра лекарь посылает за Николаем Фёдоровичем Арендтом. Прибыв на Мойку, лейб-медик быстро понял, что налицо признаки начинающегося перитонита. Была назначена очистительная клизма.

К слову, клизма являлась общепринятой практикой тех лет. Действительно, «почистить кишки» – разве не правильно? Неправильно. То не было ошибкой доктора Арендта – это являлось ошибкой общепринятой тактики ведения больных с подобными состояниями. Поэтому де-юре оснований для упрёка в адрес лекарей никаких; фактически же происходила самая настоящая пытка с участием этих самых докторов.

Даже при отсутствии рентгеновского снимка в момент осмотра врачи должны были задуматься о наличии у раненого повреждений костей таза. Клиническая картина наверняка указывала на тазовые переломы. Первое (и главное!), что следовало сделать докторам, – переложить раненого на твёрдую постель, исключив при этом всякие движения. Однако всё было выполнено с точностью до наоборот: тяжелораненый по-прежнему лежал на мягком диване, а вот клизма…

Что такое клизма? Это специфическая процедура, для осуществления которой следует произвести кое-какие манипуляции, связанные с определёнными действиями как со стороны медперсонала, так и со стороны пациента. Прежде всего следовало лечь на левый бок. Далее – поджать правую ногу. А потом в толстый кишечник будет поступать определённое количество воды.

Теперь представьте, что происходило с развороченным тазом, когда раненого поворачивали набок? Правильно, смещались костные отломки. (Позже окажется, что это были огнестрельные отломки подвздошной и крестцовой костей.) И вот они-то и

давили на окружающие (уже воспалённые) ткани, а заодно задевали (рвали!) мелкие нервно-сосудистые пучки. На фоне всей этой муки разбухший от клизменной воды толстый кишечник увеличивал давление в малом тазу. В результате – сильнейшие, нестерпимые боли.

Клизму поставили по рекомендации прибывшего ранним утром лейб-медика Арендта. Ещё раз вернёмся к записке И.Т. Спасского: *«…Я послал за Арендтом, он не замедлил приехать. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась: взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку…»*

К чести Пушкина, он сколько мог – терпел. Этот человек оказался на редкость мужественным и хладнокровным. Но «профессорская» клизма заставила поэта кричать! После этого больше клизм не будет – и это говорит о многом…

В течение нового дня состояние раненого всё ухудшалось. Его лицо заострилось и покрылось холодным потом, голова металась по подушке. Ужасная боль обжигала весь низ живота…

– Смерть идёт, – пожаловался он доктору Спасскому, когда они остались одни.

Вздутие живота нарастало, что свидетельствовало об остром перитоните. Слабительные не помогали. Лишь в полдень 28-го доктор Арендт назначил Пушкину обезболивающие опиумные капли. Опий сделал своё дело: пациенту стало значительно лучше; главное же, что интенсивность болей значительно уменьшилась. Относительно нормализовался пульс, потеплели конечности, снизилась потливость, улучшилось настроение. Больной даже смог самостоятельно помочиться…

Пациенту давали касторовое масло, лавровишнёвую воду, экстракт белладонны и каломель; местно прикладывали «мягчительные» припарки… Лечение проводилось на фоне назначения опия. Воду резко ограничили, давая по чайной ложечке.

К вечеру того же дня Пушкина внезапно залихорадило; зачастил пульс. Вновь усилились боли в животе, на который, с одобрения доктора Арендта, поставили более двух десятков медицинских пиявок…

Мы уже рассуждали о клизме – теперь поговорим о пиявках.

Вообще, кровопускание, или так называемая флеботомия, вплоть до минувшего века была чрезвычайно распространена, причём не только в России, но и в Европе. Как в наши дни при

тяжёлых состояниях лечение начинается с «подключения капельницы», так в те далёкие годы одним из первых назначений у постели больного являлось именно кровопускание. И лучше пиявок в этом отношении ничего не было! А заодно – слабительные и рвотные средства. К слову, не следует недооценивать докторов той поры: подобная тактика не была случайной, ибо все эти назначения в той или иной мере снижали интоксикацию.

Проблема заключалась в другом: тогдашняя медицина не владела достаточными знаниями, связанными с трансфузиологией и, следовательно, с восполнением изъятого из организма – солей, крови, воды… «Очищать» более-менее научились, а восполнять – нет.

Так вот, о пиявках. Эти удивительные твари не столь безобидны, как можно думать. И отсасывание крови «донора» – не самый их главный «вклад» в медицину. Главное – совсем в другом: впитываясь в плоть, пиявка в первую очередь впрыскивает в кровь специфическое вещество – гирудин. Это сильнейшее разжижающее вещество, причём с определённым пролонгированным эффектом как минимум на несколько дней.

А теперь вспомним, чем занимались именитые лекари у постели раненого поэта – точнее, что являлось их главной заботой? Если забыли – напомню: они всячески пытались остановить кровотечение. По-настоящему это удалось сделать благодаря блестяще проведённой профессором Арендтом тампонаде раны. И когда кровь была остановлена, все облегчённо вздохнули, празднуя первую маленькую победу.

Однако праздник длился недолго. В какой-то момент в кровь вводится огромное количество гирудина. Якобы – для рассасывания гематомы. На самом же деле произошло разжижение сформировавшихся тромбов, в результате чего следовало ждать очередного кровотечения. Тем не менее доктору Арендту с коллегами хотелось совсем другого: по их мнению, должно было нормализоваться местное воспаление или что-то там ещё. Хотя всё закончилось тем, чем и должно было закончиться, – новым кровотечением. И с чего бы вдруг, ломали голову эскулапы…

Исследователь гибели Пушкина хирург Ш.И. Удерман считал, что до этого момента тяжелораненый уже потерял два литра крови. Несмотря на то что наружное кровотечение из раны докторам удалось-таки остановить, кровь изливалась ещё долгое время – продолжалось так называемое внутреннее кровотечение. 750 мл было потеряно при наружном кровотечении на месте дуэли; остальное – как результат внутриполостного кровотечения.

Назначение пиявок на фоне тяжелейшей анемии привело к

потере ещё 0,5 л крови, увеличив, таким образом, общую кровопотерю с момента ранения до 2,5 литра. При росте 165 см и весе 65–68 кг среднее количество циркулирующей в организме Пушкина крови колебалось в пределах 5 литров. Следовательно, кровопотеря составила половину от общего объёма крови [15]. Потеря, несомненно, достаточно серьёзная, но далеко не смертельная.

Тем не менее временное улучшение быстро сменилось утяжелением общего состояния раненого. Ничего удивительного: Пушкин терял литры крови, получая взамен – несколько чайных ложечек влаги! Лекари, лекари… Нет, они не были беспечны – просто делали всё по отработанному столетиями шаблону. И тем самым… ускоряли гибель поэта.

В ночь на 29 января состояние Пушкина резко ухудшилось. Несмотря на сохранённое сознание, пациент оставался крайне тяжёл. На кушетке лежал умирающий от острого перитонита больной: заострившиеся черты землисто-бледного лица (так называемое «лицо Гиппократа»), лихорадочный блеск глаз, болезненный оскал зубов, обескровленные губы… Пульс скатился к нитевидному, появилась одышка…

Новый день не предвещал ничего хорошего. По крайней мере, доктора понимали: этот день станет последним. Каломель… Лавровишнёвая вода… Опий…

– Скоро ли это кончится? – тоскливо шептал больной. – Какая тоска, сердце изнывает…

От слабости Пушкин даже не может поднять голову. Желание одно – напиться:

– Пить… Кто-нибудь, дайте пить…

Но питьё по-прежнему лишь по капельке из чайной ложечки…

А.И. Тургенев: «29 января 1837 года. Полдень. Арендт сейчас был. Была урина, но надежды нет, хотя и есть облегчение страданиям. Ночью он кричал ужасно; почти упал на пол в конвульсии страдания… Я опять входил к нему; он страдает, повторяя: “Боже мой, боже мой! Что это!”, сжимает кулаки в конвульсии… Арендт думает, что это не протянется до вечера, а ему должно верить: он видел смерть в 34-х битвах» [16].

Утром 29-го консилиум докторов пришёл к единому мнению, что раненый умирает: пульс едва прощупывался, одышка нарастала, конечности стали ледяными… «Пушкин истаивал». Стало ясно, что скоро наступит агония.

За сорок пять минут до смерти Пушкин попросит… морошки. Ароматная на вкус ягода могла на короткое время утолить жажду – или создать иллюзию желаемого. Съев несколько ягодок

из рук жены, он закрыл глаза.

В какой-то момент больного окутала незнакомая доселе приятная нега, после чего он даже не понял, когда наступила агония…

Часы в кабинете показывали 14 часов 45 минут…

Когда всё закончилось, к дивану подошёл доктор Ефим Иванович Андреевский и закрыл умершему глаза…

* * *

Вскрытие тела было проведено в прихожей квартиры на Мойке доктором Спасским (единственный из присутствующих докторов, имевший опыт судебно-медицинской экспертизы). По другой версии, секцию произвёл Владимир Иванович Даль; скорее всего, вскрытие проводилось совместными усилиями.

И вновь натыкаемся на очередной чудовищный ляпсус: отсутствие какого-либо *официального письменного протокола вскрытия. Вскрытие, как и лечение больного, оказалось неформальным. Какое-то необъяснимое чудачество! (К слову, пулю так и не нашли, что опять же говорит о качестве проведённой аутопсии.)*

Результаты вскрытия тела Пушкина, оставленные Владимиром Ивановичем Далем, были написаны им спустя почти четверть века. По памяти! В виде некоего вольного изложения… Но именно этой очередной записке суждено было стать, по сути, официальным протоколом вскрытия поэта. За неимением какой бы то ни было значимой альтернативы.

Тем не менее записка Владимира Ивановича Даля «Вскрытие тела А.С. Пушкина» чрезвычайно познавательна. Ознакомимся с ней:

«По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей.

В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови, вероятно из перебитой бедренной вены.

По окружности большего таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, а наконец и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена.

По направлению пули надобно заключать, что убитый стоял боком, в пол-оборота и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней, передней оконечности чресельной, или подвздошной,

кости (ossis iliaci dextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших розысканий.

Относительно причины смерти – надобно заметить, что здесь воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было ни сывороточных или конечных излияний, ни прирощений, а и того менее общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной; а наконец, и сильное поражение оконечностей становой жилы (caudae equinae) при раздроблении крестцовой кости.

На ½ листе писчей бумаги, сложенной в четвертку. Текст занимает 2¼ страницы» [17].

Итак, вследствие ушиба стенки тонкой кишки пулей (возможно, и фрагментом тазовой кости) в кишечной стенке образовалась небольшая гематома, которая спустя достаточно короткое время подверглась необратимым изменениям, став источником инфекции. Между тем инфекция и без этого свободно проникла в брюшную полость – через дефект брюшины. Раневой канал сам по себе явился воротами проникновения микроорганизмов: пуля, обрывки одежды, осколки костей, излившаяся в малый таз кровь из поврежденных сосудов – всё это, смешавшись, стало прекрасной питательной средой для вредоносных микробов. Перитонита (воспаления брюшины) было не избежать!

Тем не менее, если не считать небольшого гангренозного участка («величиной с грош»), тонкий кишечник практически остался неповреждённым. Впрочем, как и мочевыводящие пути. Почки, мочеточник и мочевой пузырь оказались целыми. Раненый мочился самостоятельно; никакой задержки мочеиспускания не отмечалось.

Но и это не всё. Как пишет В.И. Даль, «…воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было… общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной…».

Так вот, Даль ошибался! Не было никакой перебитой бедренной вены. И это в своё время подтвердил академик Б.В. Петровский.

Не вызывает никакого сомнения, что если бы бедренная вена (не говоря уж об артерии!) оказалась повреждена, двое суток (да ещё при явном пристрастии тогдашних лекарей к гирудотерапии)

раненому никак бы не продержаться. Хотя и без этого кровотечение более мелких сосудов оказалось настолько массивным, что ткани малого таза буквально пропитались кровью. Именно поэтому доктора и решились на назначение сонма пиявок. Но в данном случае кровососы оказали самое что ни на есть пагубное воздействие…

От всего сказанного бросает в дрожь: Пушкин не был безнадёжным больным. Поэта можно было спасти!

* * *

Резюмируя сказанное, подведём итоги.

Начнём с диагноза, который следовало бы поставить раненому дуэлянту. И который, к слову, *официально никто так и не поставил. Пушкин стоял к противнику правым боком. Как писал академик Петровский, пуля Дантеса, «пройдя через одежду, пробила кожу, подкожную клетчатку, мышцу, вошла на 5 см внутрь от передней верхней ости правой подвздошной кости, раздробила её и по передней стенке правой половины таза косо медиально и книзу ударилась в крестец, раздробив его и, вероятно, в деформированном виде застряв в мягких тканях правой или левой половины таза». При этом не были задеты правая почка и петли кишечника.*

В наши дни диагноз ранения А.С. Пушкина звучал бы примерно так: «Огнестрельное проникающее слепое ранение нижней части живота и таза. Огнестрельные многооскольчатые переломы правой подвздошной и крестцовой костей. Посттравматический диффузный перитонит, гематома брюшной полости. Инородное тело (пуля) в области крестца. Травматический шок. Массивная кровопотеря…»

Можно было бы упомянуть гангренозный участок тонкой кишки, сепсис, тяжёлую анемию и острую сердечно-сосудистую и острую дыхательную недостаточность. В любом случае, сегодня ставят на ноги и с таким диагнозом. Но только не в позапрошлом веке, когда пиявка являлась некой спасительной панацеей.

Важно и другое – причина смерти. Факторами, приведшими к гибели знаменитого поэта, стали, вне всякого сомнения, травматогенный перитонит и, как следствие, молниеносный сепсис на фоне тяжёлой постгеморрагической анемии.

И вот мы подошли к главному – к извечным русским вопросам: кто виноват? и что делать? Хотя последний правильнее было бы изменить: что следовало делать?

Когда-то известный советский академик И.А. Кассирский заметил по поводу смерти Пушкина: «Достаточно было бы извлечь

пулю, наложить швы на кишку и ввести в брюшную полость раствор пенициллина, и драгоценная для народа жизнь Пушкина была бы спасена».

При всём уважении к учёному, с пенициллином он переборщил. Ведь это всё равно, что рассуждать об ордах Батыя, которые с лёгкостью были бы разметены русскими князьями, если б у них имелся хотя бы дивизион смертоносных «катюш»; глядишь, и не было бы никакого «монголо-татарского ига»… Но, как говорится, всему своё время.

Тем не менее замечу, все именитые академики – Бурденко, Петровский, Кассирский – оказались правы в главном: Александра Сергеевича Пушкина можно было спасти. Но при единственном условии: в наше время.

Нас же интересует другое: мог ли поэт остаться в живых в далёкие тридцатые годы девятнадцатого столетия? Был ли шанс?

Был. Правда, невелик. Скажем, один на сто. Но он, несомненно, имел место быть.

И чтобы им воспользоваться, следовало раненого госпитализировать, это раз; а во-вторых, срочно прооперировать. Необходимо было провести ревизию органов брюшной полости, извлечь пулю; по возможности – очистить раневой канал, лигировать (перевязать) кровоточащие сосуды, избавиться от видимых костных отломков; после этого – произвести качественное дренирование послеоперационной раны… Без всего этого шансов выжить не было вообще!

Кишечник оказался практически не повреждён, мочевыделительная система функционировала нормально. Потерю крови можно было смело компенсировать если не внутривенным вливанием жидкости (к слову, уже в 1819 году английский хирург-акушер Джеймс Блонделль (James Blondell) успешно перелил кровь от человека человеку), то хотя бы достаточным питьём. Местно – холод. Опиумные капли – пожалуйста… А дальше – куда вывезет. Но реальный шанс выжить имелся. Просто доктора им не воспользовались. Ну а сам поэт мужественно боролся, несмотря на «старания» лекарей…

Вот и всё. Как уже было сказано, ряд роковых обстоятельств привёл к трагедии. Напомню эти обстоятельства:

1. Первая медицинская помощь тяжелораненому на месте дуэли оказана не была. Квалифицированную перевязку А.С. Пушкину произвели лишь спустя два часа после ранения, при осмотре хирургом Задлером. В эти первые часы раненый потерял наибольшее количество крови.

2. Подчинившись указанию самого раненого, секундант Данзас привёз тяжелого больного не в госпиталь (больницу), а домой, где

невозможно было осуществить надлежащую медицинскую помощь. Впрочем, по прибытии именитых докторов на Мойку никто из них даже не предложил госпитализацию.

3. Доктора не стали оперировать раненого Пушкина, ограничившись консервативной терапией в рамках общепринятых норм ведения больных с подобной патологией.

4. Трагичному финалу во многом способствовала «капитулянтская» позиция докторов, столкнувшихся с серьёзным огнестрельным ранением: они просто-напросто не знали, что делать!

Так кто же виноват?

Отчасти доктора. Но, повторюсь, отчасти. И лишь потому, что не решились пойти на операцию. Тактика ведения пациентов с аналогичными ранениями позволяла врачам сделать выбор в пользу как хирургического, так и консервативного лечения. И они этот выбор сделали. Всё остальное уже не имело никакого значения. Консервативные мероприятия, предпринятые докторами, лишь усугубили мучения поэта. Опий и парентеральные (в частности, подкожные) вливания могли существенно облегчить его общее состояние, но не спасти жизнь. Пушкин был обречён. Но об этом знал только доктор Арендт и его окружение…

Хотя – нет. Знал это и сам Пушкин. С самого начала поэт всё понял; даже если бы профессор Арендт ему ничего не сказал. И когда Данзас отнял у отчаявшегося раненого дуэльные пистолеты, со смирением обречённого осознал: уходить будет в мучениях… После этого пришлось терпеть, держаться и скрипеть зубами… Не пристало русскому человеку ныть и плакать. Заплачь – и уже завтра об этом заговорит весь Петербург. А этот мусье… Нет-нет, только не о нём!..

Пушкин лежал и с умилением смотрел на малюсенькую родинку на шее Натали. Об этой родинке знал, пожалуй, только он: её становилось видно, когда жена смотрела чуть в сторону. Вот и сейчас Наталья Николаевна потянулась за ягодой и в награду за его терпение непроизвольно показала эту родинку. После этого поэт с каким-то торжественным благоговением проглотил последнюю кислинку и попросил супругу выйти.

Этот измученный человек понимал, что никогда больше не увидит свою Натали – женщину, которую безумно любил. Ведь где-то рядом, совсем близко уже бродила бесшумная тень – то ли Кот Учёный, то ли Русалка, что на ветвях… Он понемногу начинал узнавать Лукоморье… То самое, невыдуманное.

Когда же радостно протянул к нему руки, вдруг стало

непривычно уютно, тепло и безмятежно. И захотелось побежать к огромному Дубу, у подножия которого среди изумрудной зелени желтело яркое поле морошки…

Москва – Санкт-Петербург —
Михайловское – Ялта (Харакс) —
Москва. 2016 г.

Библиография

Глава I

1. Вяземский П.А… Полное собрание сочинений в 12 томах. СПб.: «Типография М.М. Стасюлевича», 1878–1896. Т. VIII. С. 148–149. (Далее – сокращённо: Вяземский П.А. ПСС.)

2. Пушкин А.С… Полное собрание сочинений в 16 томах. М.; Л., Издательство АН СССР, 1937–1949. Т. I. С. 116. (Далее – сокращённо: Пушкин А.С.ПСС.)

3. Пушкин А.С.ПСС. Т. I. С. 121

4. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: «Наука, 1989. С. 45.

5. Пушкин А.С. ПСС. Т. XVI. С. 162.

6. Щёголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. М.: Книга, 1987. С. 35–36. (Далее – сокращённо: Дуэль и смерть Пушкина.)

7. Дуэль и смерть Пушкина. С. 36.

8. Там же. С. 352.

9. Там же. С. 38.

10. Витале С. Пуговица Пушкина. Калининград: Янтарный сказ, 2001. С. 16.

11. Там же. С. 38.

12. Вяземский П.А… ПСС. Т. VIII. С. 51.

13. Дуэль и смерть Пушкина. С. 41.

14. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: Сб. в 2 т. СПб.: ГУ «Академический проект», 1998. Т. 2. С. 142–143. (Далее – сокращённо: Пушкин в восп.)

15. Пушкин в восп. Т. 2. С. 330–331.

16. Дуэль и смерть Пушкина. С. 40.

17. Там же.

18. Там же. С. 54.

19. Там же.

20. Вяземский П.А. ПСС. Т. VIII. С. 485.

21. Витале С. Пуговица Пушкина. Калининград: Янтарный сказ, 2001. С. 50.

22. Пушкин в восп. Т. 2. С. 143.

23. Абрамович С.Л. «Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 10.

24. Там же. С. 13.

25. Там же. С. 15.

26. Вяземский П.А. ПСС. Т. VIII. С. 72.

27. ЦГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 37.

28. Там же. Л. 49–50.

29. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 47.

30. Витале С. Пуговица Пушкина. Калининград: Янтарный сказ, 2001. С. 189.

31. Выскочков Л.В. Николай I. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 537.

32. Ларинский Н. Пока есть сила, буду перемогаться до конца… // Рязанский медицинский журнал. 2004. № 4. С. 13–15.

33. Пушкин в восп. Т. 2. С. 396–397.

34. Там же. С. 361–362.

35. Там же. С. 143–144.

36. Там же. С. 183.

37. Там же. С. 188–189.

38. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 66.

39. Вяземский П.А.ПСС. Т. VIII. С. 16, 118.

40. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 66.

41. Там же. С. 73.

42. Пушкин в восп. Т. 2. С. 170.

43. Пушкин А.С… ПСС. Т. XVI. С. 190.

44. Пушкин в восп. Т. 2. С. 347.

45. Дуэль и смерть Пушкина. С. 59.

46. Там же. С. 61–62.

47. Пушкин в восп. Т. 2. С. 333–334.

48. Пушкин А.С. ПСС. Т. XVI. С. 394.

Глава II

1. Гордин Я.А. Право на поединок. М.: Советский писатель, 1989. С. 446.

2. Швейковский П.А. Суд общества офицеров и дуэль в войсках Российской армии. СПб.: Типография Э. Аргольда, 1898. С. 128.

3. Там же. С. 131.

4. Там же. С. 141.

5. Вяземский П.А… ПСС. Т. VIII. С. 4.

6. Гордин Я.А. Право на поединок. М.: Советский писатель, 1989. С. 343.

7. Каратыгин П.А. Записки. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1880. С. 138.

8. Гордин Я.А. Право на поединок. М.: Советский писатель,

1989. С. 347.

9. Пушкин в восп. Т. 1. С. 103–104.

10. Гордин Я.А. Право на поединок. М.: Советский писатель, 1989. С. 265, 269.

11. Вяземский П.А. ПСС. Т. VIII. С. 55.

12. Гордин Я.А. Право на поединок. М.: Советский писатель, 1989. С. 377.

13. Там же. С. 259.

14. Там же. С. 261.

15. Там же. С. 378.

16. Девятнадцатый век: ист. сборник, издаваемый Петром Бартеневым. Кн. 1. М., 1872. С. 335.

17. Там же. С. 333–334.

Глава III

1. Выскочков Л.В. Николай I. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 83.

2. Вяземский П.А. ПСС. Т. II. С. 8.

3. Бушков А. Россия, которой не было-4. Блеск и кровь гвардейского столетия. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С. 233–234.

4. Сборник Русского Географического Общества. СПб., 1891. Т. 78. С. 101.

5. Записки декабриста И.И. Горбачевского. М.: Задруга, 1916. С. 53.

6. Вяземский П.А. ПСС. Т. VIII. С. 96.

7. Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии // Восстание декабристов. Документы. Т. XVII. М.: Наука, 1980. С. 131–132.

8. Каратыгин П.А. Записки. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1880. С. 141–142.

9. Там же.

10. Записки декабристов. Лондон: Вольная Русская типография, 1863. сС 146–147.

11. Там же. С. 147–148.

12. Там же. С. 148.

13. Корф М.А. Восшествие на престол императора Николая I; Жизнь графа Сперанского. М.: Статут, 2015. С. 113.

14. Канн П.Я. О числе жертв 14 декабря 1825 года // История СССР. 1970. № 6. С. 115.

15. Журнал генерал-адъютанта графа К.Ф. Толя о декабрьских событиях 1825 года. СПб.: Военная типография (в издании Главного Штаба), 1898. с. 28–29.

16. Вяземский П.А. ПСС. Т. X. С. 231.

17. Выскочков Л.В. Николай I. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 110.

18. Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии // Восстание декабристов. Документы. Т. IV. М.: Наука, 1980. С. 288.

19. Выскочков Л.В. Николай I. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 121.

20. Каратыгин П.А. Записки. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1880. С. 147–148.

21. Журнал генерал-адъютанта графа К.Ф. Толя о декабрьских событиях 1825 года. СПб.: Военная типография (в издании Главного Штаба), 1898. С. 31–32.

22. Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии // Восстание декабристов. Документы. Т. XVII. М.: Наука, 1980. С. 252.

23. Русский архив. 1881. № 2. С. 345.

24. Записки декабриста И.И. Горбачевского. М.: Задруга, 1916. С. 290–291.

25. Мейлах Б.С. Пушкин и его эпоха. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 349.

26. Там же. С. 350.

27. Там же. С. 354.

28. Там же. С. 355.

29. Там же.

30. Там же.

31. Там же. С. 357.

32. Там же. С. 359.

33. Корф М.А. Записки. М.: Захаров, 2003. С. 684.

34. Записки декабриста И.И. Горбачевского. М.: Задруга, 1916. С. 300.

Глава IV

1. Пушкин в восп. Т. 2. С. 334.

2. Вяземский П.А. Старая записная книжка. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. С. 295.

3. Вяземский П.А. ПСС. Т. VIII. С. 481.

4. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 118.

5. Пушкин в восп. Т. 2, с. 372.

6. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 118.

7. Дуэль и смерть Пушкина. С. 84.

8. Вяземский П.А. ПСС. Т. X. С. 191.

9. Пушкин в восп. Т. 2. С. 361–362.

10. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 126.

11. Там же.

12. Пушкин в восп. Т. 2. С. 368.

13. Вяземский П. Старая записная книжка. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. С. 49–50.

14. Пушкин А.С… ПСС. Т. XVI. С. 189.

15. Пушкин в восп. Т. 2. С. 348.

16. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 144–145.

17. Там же. С. 146.

18. Пушкин А.С… ПСС. Т. XVI. С. 232–233 / пер. с франц. (Вся переписка с иностранцами – на французском языке.)

19. Там же. С. 187, 395.

20. Дуэль и смерть Пушкина. С. 88.

21. Там же. С. 87.

22. Там же. С. 89.

23. Данную историю писательница Серена Витале приписывает П. Вяземскому («Старая записная книжка»). См.: Витале С. Пуговица Пушкина. Калининград: Янтарный сказ, 2001. С. 136.

24. Пушкин в восп. Т. 2. С. 335.

25. Пушкин А.С… ПСС. Т. XVI. С. 188, 395–396.

26. Вяземский П.А… ПСС. Т. VIII. С. 137.

27. Каменская М. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1991. С. 179–180.

28. Пушкин А.С… ПСС. Т. XVI. С. 188, 396.

29. Пушкин в восп. Т. 2. С. 348–349.

30. Там же. С. 389–390.

31. Пушкин А.С… ПСС. Т. XVI. С. 186, 395.

32. Там же. С. 191–192, 397–398.

33. ЦГИА. Ф. 516. Оп. 1. Ед. хр. 123. Л. 75 об.

34. См.: Щёголев П.Е. Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли Пушкина // Огонёк. 1928. № 24.

35. Пушкин в восп. Т. 2. С. 168.

36. Там же. С. 379.

Глава V

1. Гордин Я.А. Право на поединок. М.: Советский писатель, 1989. С. 453.

2. Пушкин в восп. Т. 2. С. 371.
3. Там же. С. 145.
4. Там же. С. 170.
5. Там же. С. 398.
6. *Вяземский П.А… ПСС. Т. VIII. С. 17.*
7. Пушкин в восп. Т. 2. С. 144.
8. Там же.
9. Там же. С. 333.
10. Там же. С. 376.
11. Там же. С. 145.
12. Там же. С. 374.
13. Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб.: Типография А.В. Суворина, 1900. С. 92–93. Все письма написаны по-французски. Перевод осуществлён членами военно-судной комиссии. (Далее – сокращённо: Подлинное военно-судное дело 1837 г.)
14. Русский архив. 1873. № 6. Стб. 955.
15. Подлинное военно-судное дело 1837 г. С. 94.
16. Там же. С. 93–94.
17. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 254.
18. Подлинное военно-судное дело 1837 г. С. 94.
19. Там же.
20. Там же. С. 95.
21. Там же. С. 87.
22. Пушкин А.С… ПСС. Т. XVI. С. 185.
23. Витале С. Пуговица Пушкина. Калининград: Янтарный сказ, 2001. С. 300.
24. Пушкин в восп. Т. 2. С. 215.

Глава VI

1. Подлинное военно-судное дело 1837 г. С. 20.
2. Там же.
3. Там же. С. 18.
4. Там же. С. 24.
5. Там же. С. 32.
6. Там же. С. 42–43.
7. Вяземский П.А… ПСС. Т. X. С. 44.
8. Подлинное военно-судное дело 1837 г. С. 46–47.
9. Там же. С. 50.
10. Там же. С. 57–58.
11. Там же. С. 61–62.

12. Там же. С. 62–63.
13. Там же. С. 74–75.
14. Там же.
15. Там же. С. 76.
16. Там же. С. 77–78.
17. Вяземский П.А… ПСС. Т. X. С. 263–264.
18. Подлинное военно-судное дело 1837 г. С. 105–108.
19. Там же. С. 108.
20. Русский архив. 1882. № 1. С. 248.
21. Мнения – см.: Подлинное военно-судное дело 1837 г. С. 6–13.
22. Там же. С. 5.
23. Там же. С. 115.
24. Там же. С. 116.
25. Там же. С. 140–145.
26. Там же. С. 140.

Глава VII

1. Дуэль и смерть Пушкина. С. 181–182.
2. Пушкин в восп. Т. 2. С. 426.
3. Там же. С. 377.
4. Швейковский П.А. Суд общества офицеров и дуэль в войсках Российской армии. СПб.: Типография Э. Арнгольда, 1898. С. 149–150.
5. Вяземский П.А… ПСС. Т. VIII. С. 250–252.
6. Витале С. Пуговица Пушкина. Калининград: Янтарный сказ, 2001. С. 312.
7. Вяземский П.А… ПСС. Т. VIII. С. 241.
8. См.: Петровский Б.В. Человек. Медицина. Жизнь. М.: Наука, 1995. С. 319–320.
9. Глинка Ф.Н. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год. М.: Типография «Русского» на Девичьем поле, 1870. С. 15–16.
10. Бородино. Документы, письма, воспоминания: сборник. Документ № 98. М.: Советская Россия, 1962. С. 109–110.
11. Вяземский П.А… ПСС. Т. VIII. С. 325.
12. Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году (Предыстория одной дуэли). Л.: Наука, 1989. С. 58.
13. Дуэль и смерть Пушкина. С. 174–175.
14. Там же. С. 176–178.
15. Удерман Ш.И. Избранные очерки истории отечественной

хирургии XIX столетия. Л.: Медицина, 1970. С. 237.

16. Пушкин в восп. Т. 2. С. 208.

17. Дуэль и смерть Пушкина. С. 181–182 // Московская медицинская газета. 1860. № 49.

notes

Примечания

1

Впервые (в сокращённом варианте) этюд под названием «Роковая дуэль» опубликован в литературном журнале «Москва» за 2017 г., № 2.

2

Дословно: – Подождите! Я чувствую в себе достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел…

3

Опасения А.С. Пушкина оказались небезосновательны. Увидав поэта в гробу в штатском платье, Бенкендорф с возмущением воскликнет: «Почему положили в гроб не в мундире?!»

4

Вяземский, Пётр Андреевич (1792–1878), князь; камергер. Чиновник канцелярии Н.Н. Новосильцева в Варшаве в 1818–1821 гг., вице-директор Департамента внешней торговли в 1832–1846 гг.; впоследствии товарищ министра народного просвещения. Являлся членом «Арзамаса»; поэт, литературный критик, мемуарист.

5

Нащокин, Павел Воинович (1800–1854). С 1819 года – подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка, с 1821 года – корнет лейб-гвардии Кирасирского Её Императорского Величества полка; с 1823 года в отставке. Был женат на Вере Александровне Нагаевой (1811–1900). Гоголевский прототип Хлобуева, одного из героев второго тома «Мёртвых душ».

6

В некоторых официальных документах написание фамилии иное – «Геккерн».

7

Геккерен-Бевервaард, Якоб Дерк Анне Борхард ван (1791–1884), голландский барон. Его мать – урожденная графиня Нассау. В 1805–1815 гг. служил в военно-морском флоте, позже поступил на дипломатическую службу. Голландский посланник в Петербурге (1826–1837 гг.), посол в Вене (с 1842 г.).

Трубецкой, Александр Васильевич (1813–1889), князь; штабротмистр Кавалергардского полка, впоследствии генерал-майор.

9

По странному стечению обстоятельств, Дантес был освобождён ещё от одного предмета – военного судопроизводства. Кто знает, если бы он имел какое-то понятие о наказании, грозившем ему за дуэльное преступление, возможно, не было бы рокового поединка. Но, главное, Пушкин был бы жив!

10

Отношения между Голландией и Российской империей при Николае I были на пике дружбы. Этому в немалой степени способствовал тот факт, что женой принца Вильгельма Оранского являлась сестра Николая – Анна Павловна, будущая королева Нидерландов.

11

Фикельмон, Доротея (Дарья Фёдоровна, Долли, ур. графиня Тизенгаузен, 1804–1863); дочь Е.М. Хитрово. В 1821 году вышла замуж за Карла Людвига фон Фикельмона, австрийского посланника в Петербурге в 1829–1839 годах.

12

Соллогуб, Владимир Александрович (1813–1882), граф, писатель. Учился в Дерптском университете вместе с братьями Карамзиными. С 1835 года – чиновник по особым поручениям при Министерстве иностранных дел.

13

Мердер, Мария Карловна (1815–1870), фрейлина императрицы Александры Фёдоровны. Дочь Карла Карловича Мердера (1788–1834), наставника наследника престола Александра Николаевича.

14

Смирнов, Николай Михайлович (1808–1870); камер-юнкер, чиновник Министерства иностранных дел. С 1835 по 1837 г. служил при русской миссии в Берлине. Был женат на Смирновой Александре Осиповне (ур. Россет, 1809–1882), фрейлине императрицы Александры Фёдоровны.

15

Consommé (фр. Con-sommer – долго варить) – крепкий, сильно уваренный осветленный мясной (куриный или говяжий) бульон.

16

Дмитриев, Иван Иванович (1760–1837); поэт, баснописец, государственный деятель, член Российской академии наук. Дальний родственник Н.М. Карамзина; был близок с Г. Державиным и Д. Фонвизиным. Способствовал поступлению юного Пушкина в Царскосельский лицей. В 1810–1814 гг. – министр юстиции.

17

Речь об Александре Ивановиче Барятинском (1815–1879), будущем генерал-фельдмаршале. С 1856 года являлся главнокомандующим войсками Отдельного Кавказского корпуса и наместником императора Александра II на Кавказе; руководил завоеванием Западного Кавказа и подавлением национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. Именно под его руководством русские войска сломили сопротивление частей Шамиля, пленив его в 1859 году и, таким образом, закончив многолетнюю войну на Кавказе.

18

На то время Якобу ван Геккерену Бевераарду было всего 45 лет

Ныне г. Белинский Пензенской области.

20

В благодарность доктору царь пожаловал ему дорогой перстень стоимостью 2000 рублей и отблагодарил деньгами – 3000 рублями серебром. Кроме того, 5000 рублей Николай пожертвовал в пользу уездной больницы.

21

Шаромыжник – популярное в те годы прозвище иностранцев, в частности французов. Истоки следует искать в 1812 году, когда «Великая» наполеоновская армия, измученная холодами и партизанами, превратились в толпу обмороженных и голодных оборванцев. Встретив русских крестьян, они просили чего-нибудь поесть, обращаясь к ним «cher ami» («мой дорогой»); на русский лад – «шер ами», откуда и «шаромыжник».

22

Княжна Мария Ивановна Барятинская (1818–1843) вскоре выйдет замуж за князя Михаила Фёдоровича Кочубея, корнета Кавалергардского полка.

23

Жуковский, Василий Андреевич (1783–1852); поэт, наставник великого князя и наследника престола Александра Николаевича Романова (будущего императора Александра II).

24

Наст. Полетыка.

25

Вяземская, Вера Фёдоровна (ур. княжна Гагарина, 1790–1886), княгиня; в 1811 году вышла замуж за П.А. Вяземского.

26

Буквально – княгиня толпёж. Труперда – толстая, ленивая женщина; толпёга – бестолковая, неотёсанная женщина.

27

Хитрово, Елизавета Михайловна (1738–1839), урожденная княжна Кутузова. В первом браке – графиня Тизенгаузен (её муж, флигель-адъютант Фердинанд Тизенгаузен, геройски погиб при Аустерлице; по одной из версий, стал прототипом Андрея Болконского из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»). Мать часто здесь цитируемой Долли Фикельмон.

28

Любовь Викентьевна Борх (умерла в 1866 г.) была родственницей Натальи Николаевны Пушкиной.

29

Специального утверждённого дуэльного кодекса не существовало не только в России, но долгое время и в Европе. Первый подобный кодекс появился в 1836 году во Франции, на которую после революции 1830 года обрушилась настоящая «дуэльная лавина» в виде так называемых журналистских поединков.

30

Кюхельбекер, Вильгельм Карлович (1797–1846); лицейский товарищ Пушкина, поэт. С 1822 года служил на Кавказе чиновником по особым поручениям при генерале А.П. Ермолове. Член «Северного общества»; после восстания декабристов бежал, был арестован в Варшаве и заключён в Петропавловскую крепость. В 1835 году был сослан в Сибирь.

31

Каратыгин, Пётр Андреевич (1805–1879) – русский драматический актёр и драматург, автор многих пьес и водевилей. Младший брат выдающегося актёра-трагика Василия Каратыгина.

32

Муравьёв (Карский), Николай Николаевич (1794–1866), русский военачальник, дипломат и путешественник. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813–1814 гг., русско-персидской и Русско-турецкой войн 1826–1829 гг. В 1854–1856 гг. – наместник Кавказа и главнокомандующий Отдельным кавказским корпусом; член Государственного совета. За взятие Карса во время Крымской войны стал называться «Карский». (К слову, позже Карс будет отдан туркам за возврат союзниками Севастополя.)

33

Корф, Модест Андреевич (1800–1876), барон. Одноклассник Пушкина по Царскосельскому лицею; с мая 1831 года управляющий делами Комитета министров; в дальнейшем – высокопоставленный государственный чиновник, историк, мемуарист.

34

Рылеев, Кондратий Фёдорович (1795–1826); подпоручик, с 1818 года в отставке. Один из руководителей «Северного общества»; активный организатор восстания декабристов 14 декабря 1825 года. Казнён 13 июля 1826 года.

35

Император Павел I в первом браке с Натальей Алексеевной (Вильгельминой Гессенской) детей не имел. От второго брака с Марией Фёдоровной (Доротеей Вюртембергской) у него было четверо сыновей (Александр, Константин, Николай и Михаил) и шесть дочерей (Александра, Елена, Мария, Екатерина, Ольга и Анна).

36

Речь о документе под названием *«Манифест Императора Александра I, утверждающий отречение Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича и утверждающий Наследником Престола Великого Князя Николая Павловича»* от 16 августа 1823 года.

37

В 1831 году великий князь Константин Павлович скончается в Витебске от холеры. В том же году умрёт и пани Грудзинская, светлейшая княгиня Лович

38

В 1845 году полковник А. Майборода покончит с собой в Темир-Хан-Шуре (ныне – Буйнакск).

39

Полковник Стюрлер, будучи тяжело раненным, умер не сразу. Он скончается на следующий день в одном из ближайших домов, принадлежавших князю А. Лобанову-Ростовскому. В знак особой признательности император присвоит офицеру свитское звание флигель-адъютанта.

40

Когда судили декабристов, именно великий князь Михаил Павлович, в которого стрелял Кюхельбекер, упросил царя заменить заговорщику казнь на 15 лет каторги. Через 10 лет, в 1835 году, срок Кюхельбекеру сократили на пять лет – и вновь по ходатайству великого князя Михаила Павловича. Не многовато ли добрых дел для «тирана»?

41

Пистолетные пули зачастую были с «хвостиком» – со специальной насечкой; при проникновении таковой в тело возникали серьёзные повреждения тканей и внутренних органов, вызывая массивные кровотечения. Такие пули являлись своего рода предшественницами современных разрывных.

42

Заключённый в каземат Петропавловской крепости, Александр Булатов в начале 1826 года объявит голодовку, а потом разобьёт себе голову о стену камеры. Скончается в Военно-сухопутном госпитале.

43

Израненный подполковник Гебель был доставлен в Киевский госпиталь, где за его жизнь долго боролись врачи. 9 января 1826 года за отличие по службе Гебель был произведён в полковники, а затем награждён орденом Святого Владимира 3-й степени. В 1828 году офицер был назначен вторым комендантом в Киев. Густав Иванович Гебель умер 1 августа 1856 года.

44

Виселица была изготовлена под надзором гарнизонного военного инженера Матушкина, который, как утверждали некоторые современники, из-за неисправности сооружения был разжалован в солдаты на одиннадцать лет.

45

Россет, Клементий Осипович (1811–1866); брат А.О. Смирновой. В 1828–1830 гг. – прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка; с 1833 года – в Отдельном Кавказском корпусе. С апреля 1836 года – поручик 1-го отделения департамента Генерального штаба.

Карамзина, Софья Николаевна (Софи, 1802–1856). Дочь известного историка Н.М. Карамзина и его первой жены, Елизаветы Ивановны Протасовой; фрейлина императрицы Александры Фёдоровны.

47

Карамзина, Екатерина Андреевна (ур. Колыванова, 1780–1851); вторая супруга известного историка Н.М. Карамзина. Единокровная сестра П.А. Вяземского, внебрачная дочь его отца князя Андрея Ивановича Вяземского и графини Елизаветы Карловны Сиверс. Внучка генерал-аншефа К.Е. Сиверса. Воспитывалась в семье тётки отца – княгини Е.А. Оболенской.

48

Урусова, Софья Александровна (1804–1889); княгиня, фрейлина императрицы Александры Фёдоровны. В начале 1830-х годов являлась фавориткой Николая I. В 1833 году вышла замуж за князя Леона Людвиговича Радзивилла.

49

Скорее всего, речь о графине Анне Владимировне Бобринской (ур. баронессе Унгерн-Штернберг, 1769–1846), жене Алексея Бобринского, внебрачного сына Екатерины Великой.

50

Нессельроде, Карл Васильевич (1780–1862), граф. В 1807–1810 гг. – советник русского посольства в Париже; по возвращении в Россию – советник императора и государственный секретарь. С 1816 года возглавлял Министерство иностранных дел; в 1822–1856 гг. – министр иностранных дел; вице-канцлер и канцлер Российской империи.

51

Бенкендорф, Александр Христофорович (1781 или 1783–1844), граф. С 1826 года – шеф Корпуса жандармов и начальник Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии; генерал-адъютант.

52

Шишков, Александр Ардалионович (Шишков-второй, 1799–1832). Капитан, старший адъютант 7-го пехотного корпуса. Поэт, переводчик. Родной племянник адмирала А.С. Шишкова. Был близок с Пушкиным, который ценил его поэтическое дарование. В 1829 году за нетрезвое поведение и произведённую ссору с отставным офицером предан суду; на следующий год за неприличные офицерскому званию поступки был уволен от службы. Проживал в Твери.

53

То была игра слов: по-французски «cor» («мозоль») и «corp» («тело») звучат одинаково.

54

Вревская, Евпраксия Николаевна (Зизи), урожденная Вульф (1809–1883), баронесса. Дочь П.А. Осиповой от первого брака. Соседка Пушкина по имению и близкий друг поэта. Перед смертью, несмотря на мольбы дочери, Евпраксия Николаевна сожгла все письма Пушкина, адресованные ей.

55

Даль, Владимир Иванович (1801–1872); врач, писатель, лексикограф. Автор ценнейшей книги «Толковый словарь живого великорусского языка», написанной по совету Пушкина (составлялся в течение 53 лет).

Тургенев, Александр Иванович (1784–1854); брат декабриста Николая Ивановича (1789–1871), приговоренного к смерти заочно, и Сергея Ивановича (1792–1827). В 1810–1824 гг. – директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий; после 1825 года подолгу жил за границей; член «Арзамаса», литератор, историк.

57

Данзас, Константин Карлович (1801–1870), лицейский товарищ Пушкина, профессиональный военный. С 1827 года – штабс-капитан Отдельного Кавказского корпуса; на момент дуэли Пушкина с Дантесом – подполковник 3-го резервного саперного батальона, впоследствии генерал-майор. Участник Персидской и Турецкой кампаний российской армии. В мае 1828 года капитан Данзас при осаде турецкой крепости Браилов был *«ранен ружейною пулею в левое плечо выше ключицы навылет с раздроблением нижнего угла лопаточной кости»*. За проявленное мужество был награждён золотой полусаблей с надписью «За храбрость». Рана оказалась тяжёлой и постоянно давала о себе знать, поэтому руку приходилось держать на перевязи.

Ишимова, Александра Осиповна (1804–1881); детская писательница, переводчица. Главный труд писательницы – «История России в рассказах для детей»; в 1841 году второе издание книги было удостоено Демидовской премии. Издавала два ежемесячных детских журнала: «Звёздочка» и «Луч» (первый журнал для девиц). Автор ряда оригинальных рассказов для детей: «Рассказы старушки»; «Священная история в разговорах для маленьких детей»; «Колокольчик», книга для чтения в приютах; «Первое чтение и первые уроки для детей» и «Рассказы из Священной истории для крестьянских детей». А.О. Ишимова много переводила с французского и английского языков: в частности, именно ей принадлежат первые переводы на русский язык приключенческих романов Фенимора Купера.

Здесь и далее стиль, орфография и пунктуация в представленных документах сохранены в соответствии с оригиналом, но с незначительными изменениями.

60

Речь о Фридрихе Вильгельме I (1688–1740), короле Пруссии, курфюрсте Бранденбурга из династии Гогенцоллернов. Известен как отпетый солдафон.

61

Речь о письмах д’Аршиаку от 17 ноября 1836 г. и барону Геккерену-старшему от 26 января 1837 г. Хотя именуемое везде «письмом к д’Аршиаку» правильнее его было бы назвать «письмом к Соллогубу», так как оно являлось ответом на письмо Владимира Соллогуба, который на момент написания должен был стать секундантом поэта. Пушкин писал Соллогубу – но для д’Аршиака; ведь переговоры об условиях поединка велись между секундантами.

62

Нессельроде, Мария Дмитриевна (ур. Гурьева, 1786–1849), жена К В. Нессельроде.

63

Основоположник советской детской нейрохирургии Андрей Андреевич Арендт (1890–1965) умер 3 мая 1965 года от рака желудка. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Вкратце, проникающее ранение живота – ранение с повреждением брюшины, внутренней оболочки брюшной полости.

65

Специальным указом императора Павла I слово «врач» было упразднено; вместо него доктора в описываемое время следовало именовать «лекарь».